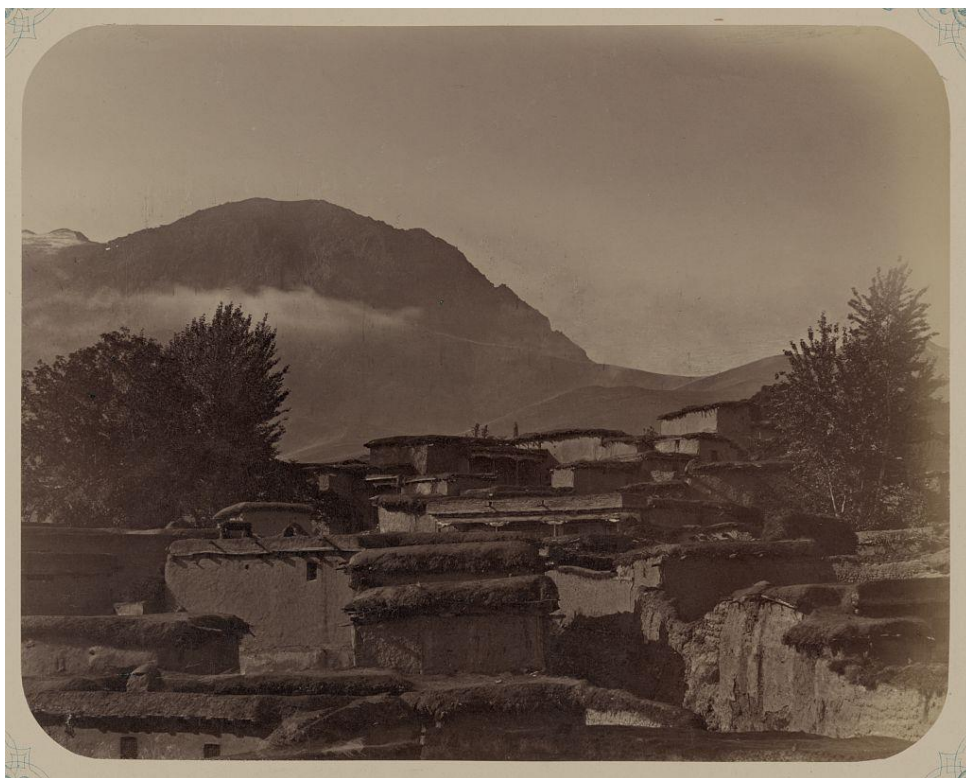


Н. Н. Каразин.

ТУРКЕСТАНСКИЕ РАССКАЗЫ

ОГЛАВЛЕНИЕ	Стр.
1. Богатый купец бай Мирза-Кудлай	2
2. Докторша	43
3. Джигитская честь	71
4. Старый Кашкара	85
5. Юнуска-головорез.....	95
6. Наурусова яма	104
7. Атлар	111
8. Таук	165

Богатый купец бай Мирза-Кудлай



Город Ургуч. Начало 1870-х

I. Шакалы ждут.

Город был взят.

Выстрелы, слышанные до сих пор почти непрерывно, то громче, то тише, то одиночные, то вдруг разражающиеся перекатною дробью, то сухие, отрывистые, то глухо гудящие, подхваченные эхом, - совершенно прекратились. Даже там, где за массами зелени виднелся серый угол цитадельной башни, и там все стихло.

Белые волнистые облака порохового дыма тянулись над городом. Где-то левее, у подножья обвалившейся зубчатой стены, словно облизывая ее шероховатую поверхность, змеились красные языки пламени. С центральных базаров доносился треск разбиваемых дверей и ворот, смутный говор, оклики. Несколько барабанов и труб изо всей силы отхватывали сбор; на гребнях цитадели мелькали цветные тряпки ротных значков.

По дорогам, ведущим в город, по тем самым таинственным, грязным тропинкам, по которым, часа три тому назад, тревожно всматриваясь вдаль, тронулись штурмовые колонны, - теперь беспечно рыскали одиноко люди, конные и пешие. Те, которые направлялись в город, те торопливо спешили: пешие бегом, спотыкаясь о камни и обгорелые бревна баррикад, конные вскачь, без разбора дороги, без жалости нахлестывая своих поджарых скакунов. Обезображенные трупы, попадавшиеся на каждом шагу, нисколько не останавливали их

внимания. Дело привычное! Только разве когда между цветных халатов и красных шитых золотом курток забелеет окровавленная русская рубаха, - ну, тогда, пожалуй, на секунду натянутся задерживающие поводья, наклонится всадник к погибшему, осведомится:

- Эге, наш линейец, второй роты, никак...

- А там казаков трое валяется и один обозный, - сообщил другой всадник. - Понаклали и нашим в загривок!

И оба еще прытче понесутся вперед, словно наверстывая лишними ударами плети потерянное время.

Всякому интересно узнать и увидеть своими глазами, что и как, а пуще всего - что творится на центральном городском базаре.

Те же, которые идут из города в лагерь, составляют полнейшую противоположность с первыми.

Тихо, шаг за шагом, тащутся навьюченные всяким добром верблюды, ослы и лошади. Еле бредут, спотыкаясь, не меньше того навьюченные люди.

Сомневаться в том, что штурм города окончился, и окончился благополучно, было невозможно. Все признаки удачного дела были налицо, и глаза, и уши наблюдающих убеждались в этом все более и более. Все так и рвались из лагеря; всякому хотелось поскорее *туда*, да не всякий мог идти согласно своему влечению: кого удерживал на месте долг службы, кого болезнь и перевязки, кого другие, побочные причины.

И не в одном лагере находились такие несчастливцы. В скалистой рытвине, шагах в двухстах от крайних повозок вагенбурга, съездившись и притаившись на самом ее дне, лежали три живых существа.

Эти существа приглядывались, прислушивались и ждали - ждали терпеливо, по крайней мере настолько, насколько терпеливо ждет собака, скоро ли доест свой кусок ее хозяин и, насытившись, бросит в ее распоряжение обглоданную начисто кость.

Эти существа были одеты во что-то очень рваное, грязное, неопределенное; впрочем, их тряпки мало прикрывали собою исхудалые, покрытые рубцами и ссадинами тела; на двух бритых головах, словно вплотную наклеенные, виднелись маленькие тюбетейки, на третьей трепался и свешивался на бок старый малахай киргизского покроя.

Все трое дрожали от нетерпения, а может быть, и от холода, потому что, несмотря на жаркий день, в этих предгорных полосах стоят довольно холодные, росистые ночи, а время склонялось уже к вечеру, и солнечный диск, спустившись за темно-синюю гряду гор, словно растопленным золотом заливал отдельные, более возвышенные вершины, а понизу все гуще и гуще расплзался сумрачный мрак и белелись колеблющиеся полосы росистого тумана.

Все трое были очень голодны. В последний раз они поели еще вчера, около полудня, и поели не совсем сытно. На походе спотыкнулся от усталости и упал верблюд с солдатскими сухарями

и придавил один мешок своим падением. Верблюда подняли, сухари подобрали, - подобрали, да не совсем дочиста. Отряд прошел. На рассыпанные сухари налетели птицы. Птиц прогнали те, которые, вероятно, считали себя более законными обладателями всего брошенного по пути.

И они были совершенно правы. Что такое птицы? Птицы - и больше ничего! А они...

Когда лев идет на добычу, он глухо рычит особым призывным рычанием; на этот могучей оклик со всех сторон сбегаются мелкие бродяги - вору-шакалы. Они бредут в почтительном отдалении за крупным разбойником, и все, что остается после его роскошного стола, принадлежит им, - именно только им одним, иначе зачем же было льву созывать их своим рычанием?

Три существа на дне рытвины были те же шакалы. Хотя они и похожи были немного на людей, но это только так казалось с первого взгляда. Их положительно никто не признавал людьми. Они даже не имели имен человеческих, а только простые клички. Одного звали Сары-Таук (что значит Желтая Курица), другого - Кызыл-Псяк (Красный Ножик), а третьего - просто Кудлай, и потому только, что в одной из рот отряда была косматая собака Кудлай. Солдаты заметили как-то раз сходство между своим псом и отрядным шакалом и наделили последнего этою кличкою. Было это давно уже, да так с тех пор и осталось. Даже сам Кудлай забыл уже, что у него было когда-то другое имя.

Итак, этих несчастных, проголодавшихся, прозябших бродяг никто не считал за людей. Согласны ли они сами были с этим мнением или же считали его почему-либо несколько пристрастным - об этом никто не заботился.

Шакалы между собою перешептывались и сопровождали это перешептывание толчками локтей в исхудалые бока один другого. Если кому-нибудь и приходила фантазия издать какое-либо более громкое восклицание, то двое других тотчас же произносили успокаивающее:

- Не ори!

- Э, да пойдем, пора! - тоскливо говорил Кызыл-Псяк.

- Пойдем! - нерешительно соглашался Кудлай.

- погоди до ночи... Скоро ведь, недолго ждать! Вот стемнеет... эти из города повыберутся. Там ночевать не станут. Мы тогда и пойдем! - резонно замечал Сары-Таук.

- Тогда ургутцы вернутся... Как русские выйдут, они сейчас и вернутся по домам-то...

- Нынешнюю ночь не вернутся: они со страха, может, и не один день еще просидят на горах... Видишь, вон в тумане огоньки мигают - то они сидят...

И Сары-Таук кивнул в ту сторону, где на полускате горного хребта, действительно, мало-помалу начали загораться светлые точки огней, разложенных несчастными беглецами из Ургута, с высоты своих печальных бивуаков наблюдающими, что за погром творится в их родных жилищах, в их до сих пор сильном, неприступном городе.

- Вот так-то... Кугай-Балта не дождался времени, пошел... - стал припоминать Кудлай.

- Ну и сдох! - подсказал Кызыл-Псяк.
- Не сдох. Голову проломил прикладом и под мосток запихали, а не то что сам по себе сдох!
- Меня вчера собаками травили. Вот тут прокусили, проклятые, и тут... Теперь ходить больно!
- ощупывал свои израненные ноги Сары-Таук.

- Не ходи к солдатским котлам!
- Пожрать хотелось!
- Пожрать! - повторил Кызыл-Псяк.
- Пожрать! - вздохнул Кудлай.

И все трое на минуту замолкли и задумались.

- Много, должно быть, ихнего народу побили, - начал Кудлай. - Наших мало... наших всегда мало... Отчего это наших всегда мало?

- Мултук (ружье) хорош, и черт помогает... Его шайтаново дело!

Наивные шакалы называли "нашими" солдат русского отряда, по следам которого бродили. Они как бы чувствовали себя несколько солидарными с этими белыми рубахами, у которых мултук хорош, и которым шайтан помогает.

- Уже совсем стемнело!
- Погоди, еще немного погоди! Вон скоро последние выйдут. Погоди!
- Да мы ползком, стороною, вон за теми стенками, а там вброд через воду!
- Лежи смирно!

Терпеливо, с истинным терпением своих четвероногих собратьев, выжидали двуногие шакалы своей поры.

А лев тем временем, действительно, уже начал обнаруживать намерение оставить им на расхищение свою роскошную добычу.

Ярко загорелось пожарное зарево над городом, словно раскаленные, нависли над ним волны багрового тумана. Из темных садов потянулись вереницами белые рубахи. Звеня коваными копытами по кремнистому руслу ручья, врассыпную рыскали казаки. Глухо гремели или звякали пушечные колеса. И все это из всех городских выходов стягивалось к освещенному бивуачными огнями русскому лагерю.

Словно замирающий звук струны, словно слабый крик какой-то заоблачной птицы, оттуда, действительно, с заоблачных горных вершин, неслись заунывные, протяжные вопли. Собаки в русском лагере, слышав их, подняли свое ответное вытье. Дежурный барабан зарокотал "на молитву".

- Пора! - тронулся ползком Кудлай.
- Пора! - оживился Сары-Таук.

Далее всем телом задрожал Кызыл-Псяк и не утерпел, чтобы не оглянуться, - так уж хорошо пахло оттуда, где на красных массах раскаленных углей чернелись закопченные, облитые салом и пеною солдатские котлы.

II. Шакалы за работой.

Выползли шакалы из своего убежища. Кругом темно. Сзади, в лагере - говор, крики. У маркитантских палаток волнуются толпами белые рубахи. Конные рыщут меж пеших; все никак угомониться не могут. Мерно прошагал патруль мимо костров, заслонил их черными тенями и скрылся во мраке. Еще засверкали штыки другого патруля. В темноте, где-то неподалеку, перешептываются часовые. Собака рычит и сторожит подозрительную темь. А впереди - тихо, безлюдно; пылают горящие кварталы, красное пламя сквозит сквозь черную листву деревьев. Слышен треск сухого дерева, глухой гул обваливающихся стен и сводов. Жалобно блеет забытая коза и мечется меж горящими саклями, путаясь в узких, загроможденных всяким хламом улицах.

Мельничные колеса гудят и пенят воду горного ручья: Бог весть, кто пустил их в ход, а остановить некому. Куры с тревожным кудахтаньем перелетают с одной плоской крыши на другую.

А вон еще кто-то ползет. Идти на ногах он не может: мертво, словно тряпки какие-то, волочатся по земле раздавленные члены и бороздят глубокую пыль, оставляя кровавые следы; седая борода метет дорогу, усталые руки судорожно цепляются за всякий встречный камень, за всякий уступ, чтобы только, хотя на один шаг, подтянуть искалеченное тело поближе к воде. Мучит, жжет его предсмертная жажда. Аллах, Аллах, скоро ли?

И завистливо, с злостью, косятся потухающие глаза в ту сторону, где неподвижными сплетшимися группами лежат уже мертвые счастливы!

- Тс! - остановился Кызыл-Псяк и плашмя растянулся меж камнями.

- Тс! - присел Сары-Таук.

- Правее, правее, лезь в самую воду. Не бойся! - ободрительно шепчет сзади Кудлай и тащит за собой переднего, ухватив его за оборванную полу халата.

- ... Сидит это она, братцы мои, за семью замками, и кажинный замок припечатан семью печатями... - сказочным тоном слышится русский шепот.

- Для прочности, значит! - поддакивает другой.

- Вот, братцы мои, это он сейчас по первому звонку хлысть!

- Кто?

- Да он самый.

- Васюк, не перебивай! Валяй дальше...

- Замок-это на две стороны, - пожалуйста, значит, с нашим почтением... Молчи, дурак! чего рычишь... Поглядывай, Матвейч!

- Ладно! - раздается голос чуть не над самым ухом переднего шакала.

Так все трое и замерли. Еле дух перевели. Поползли дальше.

- Это они, по-своему, секрет поставили... я знаю! - объяснил своим товарищам Кудлай, когда миновала опасность.

- Теперь уже прямо!

- В тени только держись; не лезь на свет, пока в сакли не заберемся. Эко светло как, эко светло... Ведь этак, пожалуй, к утру половина города выгорит!

- Много народу побито, много... - Что тащишь?

- Халат, новый совсем, только сбоку штыком пропорот...

- Берегись, идет кто-то... Тс!..

И все трое прижались к какой-то высокой стене, - прижались так сильно, что вот-вот, казалось, продавят ее своими костлявыми спинами. Но крепка была глинобитная стена; а сверху через нее низко-низко свесились серые, дышащие свежестью древесные ветви и прикрыли собою шакалов от всякого опасного взгляда.

Тихо, робко ползут вдоль противоположной стены еще какие-то тени, доползли до угла, страшно! - Ярko освещена пожаром широкая площадка, прямо посреди нее лежит красный, весь зашитый золотом халат, никак еще рукою шевелит немного - ожил, должно быть.

- Наши, - шепнул Кудлай и легонько окликнул: - Джантак, Курлубай, черти!..

Словно кошки от неожиданного "брысь!", разом метнулась и Джантак, и Курлубай, и еще кто-то с ними, да так и сгнули.

- Нам же лучше, - решил Кудлай и, кивнув на красный халат, добавил: - этого пока не трогай!

- Меня было раз так ухватил за руку один! - говорил опытный шакал. - Я думал, сдох, а он вдруг и ожил... Это бывает!.. Чего жуешь?

- Чурек (хлеб), у меня немножко, сейчас нашел!

- Дай и мне!

- Немножко только... половинка! - попятился Сары-Таук, а сам за пазуху что-то поскорее задвинул.

- Эй, Кызыл-Псяк, да где же ты?

- Ушел в сторону... О, жадная собака!

- А что кучею делать-то?

- Верно!

Разбрелись и эти двое. Сары-Таук полез в какую-то темную калитку, сорванную с петель и валявшуюся на пороге. Кудлай ухватился за ближайший сук и полез на стену.

Бегом, неслышно, совсем уже по-кошачьи, перебежала площадку другая шайка шакалов; зади всех ковылял хромой, высокий Курлубай, совсем уже голый, только обмотанный каким-то тряпьем вокруг бедер. Остановился на секунду около красного халата, нагнулся было и отпрыгнул назад. Уж очень страшно зашевелились крючковатые пальцы. Подозрительно дрогнул конец заостренного, помертвелого носа.

Перелез Кудлай через стену; оборвался прямо в колючий терновник; выбрался - пусто.

С той стороны в стене большой пролом был, и пожарный свет проникал через этот пролом, захватывая большую половину двора.

Вон сундук, большой такой, цветами расписанный и золотом. Дно проломлено, бока тоже разворочены. Кувшин глиняный стоит наклонившись; тоже дно выбито. Масло кунжутное черными лужами расползлось по плитному полу и все заглушает своею вонью. Словно серый улей для пчел, виднеется в дальнем углу небольшое куполовидное возвышение. Знает хорошо Кудлай, что это такое, - печка это хлебная. Часто бывает, что напекут лепешек и опять сложат их в печку, когда она совсем остынет, так что она, кстати, заменяет и кладовую.

В два прыжка подскочил к ней Кудлай, засунул одну руку, засунул другую - пусто! Сам залез до пояса, все уголки вынюхал - и пошел дальше голодный шакал, еще кислее поглядывая по сторонам, ощупывая на ходу все, что только попадалось под руку.

- Не везет! - ворчал он и своротил в другой дворик.

Сюда можно было попасть или через улицу, или прямо, проползя в узкую дыру водосточного арыка, что подрит был под стену. Шакал избрал второй путь - безопаснее.

Прямо из дверей торчат окоченелые ноги, сами ноги босы, а штаны новые, кожаные, желтые, и шелками вышиты. Нащупал Кудлай, где на поясе ремень стянут, распустил и поволок.

- Ну, теперь я в штанах! да еще в каких! у самого курбаши самаркандского такие... Только бы не отняли! - прибодрился Кудлай.

- Рису сколько просыпано, урюку сушеного! Эге, да тут, должно быть, лавка была. Вот его здесь в капы насыпали... Нет ли где сала курдючного?

Набил себе Кудлай полон рот урюком, набил, сколько влезло, за пазуху, так, в горсть, набрал; оглядывается...

Из-за стены жадно глядит Курлубаева голова; так и бегают желтые белки, так вот и щелкают голодные зубы.

- Подсоби, - хрипит он, - нога больная, не перелезу! - и костлявыми пальцами за гребень стены хватается.

- Ладно, - ухмыляется Кудлай, - ищи, где по зубам тебе лучше придется!.. Го-го-го! махан-бар-мясо! И как это его не забрали, тут оставили?

- Поделись! - хрипит за стеной.

- Так вот сейчас! - обхватывает баранью тушу Кудлай! - Ой, оставь... Дьяволы, брось!..

Две тени мелькнули из-за угла, навалились на Кудлая, душат.

- Что, что, что?.. - надсаживается Курлубай и уже до половины поднялся над гребнем забора.

Свирепо отбивался голодный Кудлай, защищая свою добычу; свирепо нападали на него не менее голодные шакалы.

"Их двое, я - один. Аллах всегда за сильного!"

Так, по крайней мере, утешал себя разобиженный шакал, уступая врагам и место, и добычу.

- Что, что, что! - скалит за стеною зубы хромоногий.

- На же, вот тебе! - совсем уже озлился Кудлай, сгреб камень потяжелее и махнул им прямо в эти оскаленные, клыкастые зубы.

Пыль поднялась над стеною, во все стороны брызнули кремнистые осколки, исчезла жадная голова Курлубая.

Полез Кудлай в третий двор - и там уже занято.

- А ну-ка! - сообразил шакал и приставил глаза к расщелинам Бог весть почему уцелевшей двери.

Хитрый Кызыл-Псяк раньше других своротил в сторону и оставил своих товарищей. Уже не одну саклю осмотрел он, и поесть успел вплотную, так что даже боль чувствовал в не привыкшем к чересчур обильному столу брюхе. Он уже и базар миновал - место, более всего пострадавшее от дневного штурма - и теперь уж так прогуливался, больше из любознательности, копаясь только в тех местах, где почему-либо рассчитывал найти более ценную добычу.

Теперь его и узнать-то можно было нескоро: вместо прежнего тряпья на плечах у него был хороший, совсем новый верблюжий халат - какая нужда, что весь бок его был забрызган кровью, уже совершенно присохшей и изменившей своей красный цвет на буровато-черный; на ногах его, из-под разрезов новых шаровар, виднелись желтые сапоги с острыми каблуками; только на голове шакала трепался все тот же малахай - постоянный предмет зависти остальных его двух товарищей.

Многого набирать шакалам вообще не приходится - таскать на себе неудобно, а на какую-нибудь вьючную скотину и не рассчитывай. Та другим тоже требуется, и если бежавшие жители и оставят впопыхах десятка два ишаков, то эти длинноухие в руки шакалам не попадают. Разве-разве когда, ну да это уж совсем особая милость Аллаха. Вот если бы ценность какая-нибудь: деньги бы или вещи какие дорогие, сбруя конская, - так и это все такое, что либо жители с собою прежде всего уносят, либо тоже попадает к тем, которые наведываются первые на разгромленное пепелище.

Вот на основании таких-то соображений всякий шакал и считает себя вполне удовлетворенным, если напнется досыта, заберет себе дня на три - на четыре, про запас, съестного, да сменит свое тряпье на новую одежду.

А всего этого шакал Кызыл-Псяк достиг в совершенстве.

Правда, он насобирал поштучно пригоршню медных чек перед дверью разбитой чайной лавочки, да и то не рад был этой находке, потому что предательски чеки то и дело позвякивали в его широком кармане, а это звяканье ему крайне не нравилось. Он, по крайней мере, имел весьма основательные причины бояться этого подозрительного звука.

Он видел и свалку из-за бараньей туши, но отнесся к ней с полным равнодушием, хотя и узнал в слабой стороне своего товарища. Другое дело, если б он сам был голоден, а то...

Посидел Кызыл-Псяк, отдохнул, помял себе желудок кулаками и побрел дальше.

- Вот опять лазить надо, устал!.. не хотелось бы, - остановился шакал. - Разве сюда?..

Перешагнул Кызыл-Псяк через обгорелое бревно, попридержал рукою урюковые ветви, да так и замер, сосредоточившись весь на одной точке.

Шакал уставился глазами - как собака, заведшая между сырых кочек сухой болотины притаившегося зайца.

В центр одного и того же двора, с двух противоположных концов, глядели Кызыл-Псяк и Кудлай, и оба было крайне заинтересованы тем, что делается посреди этого дворника, у самого того места, где раскладывают огонь под общим котлом, - места, обыкновенно выложенного плитняком и сделанного в виде четырехугольного углубления.

Там было два человека: один лежал совсем навзничь, раскинув руки и ноги, другой сидел на корточках и дрожащими руками обматывал вокруг своего тела длинную чалму, очень старую, очень полинялую и потертую, но, кажется, очень тяжелую, потому что свободный конец ее как-то неловко волочился по земле и даже постукивал по плитам четырехугольника.

Вероятно, сидящий наматывал на свою поясницу то, что снял с поясницы лежащего; иначе зачем бы последнему быть в таком совершенно истерзанном, полуобнаженном виде?

А Сары-Таук сильно торопился подпоясаться этою странною чалмою. Оттого, что он так торопился, и тянулось дело дольше, чем бы следовало. Дрожащие руки не слушались, конец чалмы все задевал и путался; то, что было намотано, опять сползало с бедер и разматывалось.

Лихорадочным блеском сверкали глаза шакала. Злость видна была в этих узких, прищуренных глазах, и панический ужас туманил их при каждом звуке со стороны, при всяком шуме, им же самим произведенном.

- Дай я помогу! - произнес с одной стороны голос Кызыл-Псяка.

- А не помочь ли? - словно сговорившись, одновременно произнес Кудлай.

Как громом пораженный, еще ниже присел Сары-Таук; обе руки у него опустились; чалма, звякнув, упала на плиты.

- Ошалел совсем с хорошей добычи! - полез сквозь урюковую чашу Кызыл-Псяк.

- Непривычное дело! - произнес Кудлай, высаживая плечом кое-как прилаженную, ветхую, расщелявшуюся дверь.

- Не трогай! оставь!.. - зашипел Сары-Таук и нож из-за шароваров вытащил. - Не тронь! своей дорогой иди... Кой...

- Мы сами с ножами. А ты не дури, будем делиться!

- Будем делиться! - согласился Кызыл-Псяк.

А Сары-Таук ничего не отвечал: язык у него во рту присох и не ворочался. Он только поглядывал бессмысленно то на одного, то на другого и даже не поднимал с земли этой чалмы, обладавшей таким приманивающим свойством.

Люди проезжие, путешествующие купцы, не желая возбуждать алчности у встречных на пути, не всегда возят свое золото в переметных коржумах или сумках; часто они зашивают его в чалму, раскладывая монеты поштучно, рядами, и простегивая между рядами нитками, и, свернув эту чалму вдвое, опоясывают ею нижнее платье. Вот такая-то драгоценная чалма и попала в руки шакалу Сары-Тауку.

III. Между двух огней.

Чуть забрезжил рассвет на вершинах Кашгар-Давана, как со стороны гор, в густом тумане, стали появляться неопределенные тени. Эти тени то сгруппировывались в сплошные массы, то разделялись на меньшие группы, еще мельче дробились, отделяя от себя маленькие точки, и все спускались ниже и ниже, подвигаясь к разгромленному городу.

Это возвращались из своих горных убежищ ургутцы, не решаясь еще совсем спуститься вниз, не решаясь прямо взглянуть на вражьи следы, и робко толпились они на полускатах соседних холмов, прислушиваясь к неопределенному шуму и возне на их пепелищах и к далекому грохоту русских барабанов, выбивающих в лагере "утреннюю зорю".

Были смельчаки, которые подползали к самым стенкам пригородных садов. Они видели, что город пуст; видели, что русские так и не ночевали в их домах, еще с вечера выбравшись на свои бивуаки, видели также, как бродили по исковерканным улицам какие-то тени.

- Эх, хоть бы на этих собаках выместить! - шептали они один другому. - Вот тех двух можно поймать. Уж обработали бы мы их! А ну-ка!

А бродяги шакалы и не подозревали, какая гроза скопляется над их головами.

"Э! еще рано, еще успеем пошарить! жители разве с восходом солнца вернутся! - думал каждый из них. - Поспеем удрать! поспеем!"

Хромой Курлубай завязал обрывком рубахи свою разбитую камнем голову; как опьянелый, идет, покачиваясь, руками за стенку хватается, звон стоит в ушах, зелено перед глазами, мутит с голоду; злая лихорадка треплет и корчит всю его согнутую фигуру, и не слышит он, как спереди двое других загородили дорогу.

- Затягивай горло... к тому дереву тащи... волоки... волоки!

И без борьбы, без всякой попытки к сопротивлению падает старый шакал. Даже выражение его оцепенелого, старческого лица нисколько не меняется, словно не его, а чье-нибудь чужое горло стягивает волосяной аркан, словно не по его отошальным ребрам гуляют, надсаживаются озлобленные, беспощадные кулаки ургутцев.

В другом месте, где-то за садом, слышится отчаянный вопль; еще откуда-то несутся раздражающие, предсмертные крики.

Без памяти, без оглядки шарахнулись шакалы из города. Скорее, поближе к русскому лагерю, под защитой которого, где-нибудь в овраге, за кустами, можно свободно осмотреться и поделить свою ночную добычу.

Солнце взошло и осветило ярко-зеленое ожерелье ургутских садов, осветило эти белые каменные стены, осветило черные остовы пожарищ, зазелелись в зелени садов и в грязи улиц красные куртки и полосатые халаты убитых во вчерашнем бою, а на высокой стене большой мечети, словно нарисованная, отчетливо, резко протянулась длинная, вытянутая в струну тень повешенного Курлубая.

Звонко ржали лошади в лагере, чужая утренняя торбы с ячменем, зазвенели колеса арб вытягивающегося на дорогу обоза. Белые рубахи строились рядами; рожки сигнальные так и резали чистый утренний воздух.

А наши три шакала давно уже выбрались из Ургута и сидели теперь в своей прежней ложине, поджидая, когда тронется лев обратно в свою берлогу, чтоб и им самим, по его следам, пробраться в более безопасное, спокойное место.

Вот и тронулись.

Вперед пошли конные и с ними пеших немного - значка три, не больше. Потом пушки повезли. Так и сверкали на солнце их медные, гладко отполированные тела, особенно на повороте, при крутом спуске в поперечную балку. За пушками опять белые рубахи, за рубахами арбы двухколесные со всяким добром и припасами, боевыми и дорожными. Верблюды вьючные, ишаки, разный сброд! А сзади всего опять белые рубахи, и с ними еще одна пушка да полсотни человек конных.

Долго все это вытягивалось на дорогу. Версты полторы сплошь заняли. Передние стали поджидать, пока хвост вытянется. Тронулись все разом.

Шакалы на все это смотрели с нетерпением. Ближко-то они подходить не решались, а эдак издали. Пошел отряд, пошли и они полегоньку.

День стоял хороший. К полудню жар большой обещало чистое, безоблачное небо. Спешили до самого сильного припека дойти до места первого привала на Джугар-дан-арыке.

Все пока шло хорошо, и наши шакалы чувствовали себя в самом веселом, безмятежном настроении духа.

Они теперь были сыты.

Они даже подшучивали друг над другом. Кудлай на ходу приплясывать пустился, да скоро перестал из боязни, что ротные собаки обратят на него свое внимание, заметив издали запахивающиеся полы его нового халата; а это могло для всех троих иметь самые неприятные последствия.

- Вот еще немного поприоденусь, мултук заведу, лошадь где-нибудь украду - пойду к русским в джигиты! - мечтал вслух Кызыл-Псяк.

- А в сарбазы? - осведомился Кудлай и присел на землю вынуть из-под ногтя на ноге засевшую туда занозу-колючку.

- В сарбазы не пойду. Те все пешком ходят, пешком не люблю!

А Сары-Таук ничего не говорил. Уж очень его разобидела вчерашняя дележка. Шел он все время молча, в землю потупившись, и ничто его не занимало. Не занимали его даже солдатские походные песни, долетавшие из облаков дорожной пыли.

Прошли еще с версту. Вдруг над головами шакалов тонко-тонко просвистало что-то в воздухе, да близко так: каждому показалось даже, что это свистнуло у него над самым ухом. Вслед за этим звуком долетел по ветру короткий стук отдаленного выстрела. Еще стукнуло, еще! Закопошились белые рубахи в отряде, особенно те, что шли сзади. Конных человека три выскакали на ближний курганчик, в трубки двуглазые посмотрели, поговорили между собою немного, руками помахали и назад понеслись к отряду.

А со стороны Ургута, из-за цепи пройденных уже холмов, словно муравьи высыпали красные халаты; за клубились дымки чаще и чаще, завизжали пульки. Скверно! совсем "дело - яман" пришлось нашим шакалам.

И в отряд бежать страшно, и к *тем* совсем уже плохо, а посредине оставаться и того хуже.

Вот и белые рубашки отвечать начали.

Хохот поднялся в русской цепи, глядя, как заметались по рытвинам Кудлай и его товарищи. Ближе и ближе подъезжали красные халаты. Один батырь чуть-чуть не поддал пикою Сары-Таука, да тот вывернулся. По всему видно было, что проводы предполагались жаркие!

А тут, через дорогу, узбеки, друзья ургутцев, воду из своих арыков выпустили. Грязь и топь болотистая стали на том месте, где прежде пыль столбом кружилась. Одна за другою начали вязнуть и останавливаться русские повозки, стали падать тяжело навьюченные верблюды.

Заметил это более опытный Кудлай - дело свое сообразил тотчас.

- Беги все за мною скорее, беги за мною. Пропадешь совсем иначе! - кричал он Сары-Тауку и Кызыл-Псяку... Сам с головою накрылся полою халата и, ничего не разбирая, не замечая даже собак, злых врагов шакала, очертя голову, ринулся, мимо белых рубах, мимо снявшихся с передков пушек, прямо к обозу.

Да и не они одни. С разных сторон, из-за каждого куста, из-за каждого камня, из всякой ямы и рытвины высыпали шакалы. Под обозные колеса лезут, грязь руками из-под колес завязших отгребают, к лошадям припрягаются, подсаживают, подталкивают, из кожи лезут, усердствуют, надрываются.

И смягчились этим зрелищем сердца под белыми рубашками.

- Эк их! эк их! Ишь, татарва, волчье мясо, надсаживается! - не без ласки поглядывали на них русские солдаты.

- Валяй, ребята, валяй... Подсобляй, подсобляй! - покрикивают обозные унтера.

- Не трогай, братцы, не замай их! пусть себе со страха покуражатся!

- Валекта, Шарик! шалишь, брось!

И, виляя хвостами, недоумевали ротные собаки, отчего же это, дескать, им теперь трепать не дозволяется этих оборванцев?

И при виде этих нечеловеческих усилий, при виде этих покрытых потом и грязью, побагровевших от напряжения смуглых лиц, при виде этих суетливых фигур, шныряющих лапо;брысь! между колесами тяжелых арб, ни у одного солдата не могло вырваться злой насмешки, не могло явиться желания подразнить несчастных шакалов, натравить на них, для потехи, своих на диво выдрессированных псов.

Выбрался обоз из топи. Вышел отряд на вольное место, успокоился; затихла перестрелка; отстали враги. Миновала страдная пора и для шакалов.

Вон Джугар-дан-арык тянется между зеленых берегов светлою полосой. Пришли; стали биваком. И тени много, и вода свежая под боком - приволье!

Кудлай, Сары-Таук и Кызыл-Псяк тоже нашли себе удобное место и пластами лежали на боку, еле переводя дух от чрезмерной усталости.



Самарканд. Сарай - склад для оптовой торговли. Начало 1870-х

IV. Сны как у людей, только концы шакальи.

К ночи еще переход сделали. Еще засветло пришли на новую стоянку, раскинулись теперь уже лагерь, там и сям палатки поставили, ужин варить принялись из некупленного мяса.

Развели и шакалы себе небольшой огонек в укромном местечке; сели вокруг, руки греют, и никак не могут одолеть тяжелой, неотвязной дремоты.

Вот Кудлай носом клюнул, чуть-чуть не прямо в уголья, назад откинулся и руками за землю ухватился; Сары-Таук в дугу согнулся и сопит так, что за полверсты слышно, Кылыл-Псяк тоже заморгал глазами чаще, чем следует, и его рот беззубый до ушей зевота растягивает.

Спать так спать! - порешили все сообща; ощупали свои пояса, все ли обстоит благополучно, покосились немного друг на друга, не то чтобы совсем ласково, а эдак, как и следует, по-шакальи, еще раз пояса пощупали и прилегли на землю - головами врозь, ногами к потухающему костру, на котором, корчась и извиваясь, потрескивала последняя горсть сухого бурьяна.

Тихо стало кругом, прохладно. Все успокоилось, только на самой вершине высокого старого тополя все еще возилась и похлопывала крыльями какая-то неугомонная большая птица.

Крепко спит усталый шакал Кызыл-Псяк, и сон такой уж очень хороший видит.

Саклю он себе купил новую; строена с деревом, не из одной глины, как у байгушей [*байгуш* - бедняк]. И стоит эта сакля сейчас же подле города, на выезде. Двор при этой сакле огорожен просторный; с одной стороны навес, с другой - насыпь сделана глинобитная повыше, глиною с рубленным саманом ровно смазана, и на ней ковер большой, пестрый, настоящий кызыл-тырнак хивинский разостлан. Над ковром карагач стоит, кудрявый такой, тенистый, и на этом ковре кызыл-тырнаке, в прохладной тени карагача, сам Кызыл-Псяк прохлаждается.

Под навесом четыре ишака стоят, лопухи жуют да репейник. Хорошие такие ишаки, крупные, сытые, самой хорошей породы. На этих четырех ишаках Кызыл-Псяк бурьян из степи возит в город продавать на топливо. Привезет - продаст; опять в степь поедет, нарежет бурьяну этого много-много, благо не сеянный, - и опять привезет, продаст. И столько он денег за этот самый бурьян зарабатывает, что и на дыни хватает, и на виноград, и на чай, и на плов по пятницам, и на обнову к базарному дню для себя и для своей бабы.

А бабу он себе купил в жены славную: жирную такую, краснощекую. И уж что за житье такое Кызыл-Псяку с его новокупленной бабою!

Только вот скверно: коли с четырьмя ишаками столько наработаешь, что же, если прикупить пятого? А где денег взять на него? Мало, мало того, что по дележу на его долю досталось. Вот если бы и те две части - ну, тогда бы другое дело! А то мало, мало! А что, если?..

И рука сонного шакала инстинктивно потянулась к поясу, только уж не затем, зачем прежде, а немного пониже, где висел его нож-тёзка, хотя и тупой, ржавый, поганый ножик, а все еще годный для того, чтобы смаху перехватить горло, кому это понадобится...

Крепко спит Сары-Таук и тоже недурной сон видит.

Купил себе Сары-Таук разом четыре бабы. На четыре калыма денег хватило и на прокорм еще осталось.

Свадьбы все четыре отпраздновал зараз, и теперь лежит себе да прохлаждается, с бабами потешается.

Одна жена ему плов варит с бараниной, с кониной, с верблюжатиной, и еще курицу поймала, ошипала и тоже в котел сует, для сытости и вкуса. Другая жена штаны ему широкие шелками цветными и золотом вышивает, песни поет длинные, голосом таким тонким-распретонким. Третья жена ему кальян высокий из желтой тыквы, с серебряною насечкою и сеткою, раздувает. Табаку настоящего бухарского, по кокану фунт, целую пригоршню засыпала и расписной, камышовый чубук к самому его рылу подносит. Важно! кури себе, знай покуривай... тяни хотя до одышки, пока в горле не заскребнут кошки!..

Четвертая жена, самая хорошая, сидит с ним рядом, вплотную прижалась и руками его по бритой голове поскребывает. А пальцы у нее скребут так ласково, щекотно. Ногти на этих пальцах в сурике с охрою окрашены. Кольцы бирюзовые от самых ногтей идут вплоть по корням.

"Вот тут бы с другого бока пятую бабу, - думает во сне Сары-Таук, - да капиталов не хватает на пятый калым. Мало досталось при дележе-то! Вот если бы все три части! Ведь мои они. Я нашел, никто другой - ну, значит, мое счастье, а те отняли, собаки проклятые, ограбили..."

Вот разве теперь, пока спят!.."

И у этого шакала сонная рука потянулась куда ей следует.

И шакал Кудлай спит крепко и такой сон видит, что лучшего ему и не требуется.

Купил себе Кудлай четырех вьючных верблюдов, не тех киргизских, двугорбых, а настоящих наров из Андкуи. Верблюды эти высокие, шерстью темные, почти что черные; на головах у них узды индейские, с кистями и амулетами, промеж ушей шишки из шелку с перьями качаются, бубенцы под шеями подвязаны, и гул от них подобран - от тонкого к самому басистому.

Навьючил он этих верблюдов разным товаром: ситцы русские, шали и канаусы бухарские, кисея индейская для чалм, одеяла стеганые цветные, халаты золотом шитые, - много всяких хороших вещей понавьючил. Сам на переднем верблюде едет, два работника сзади пешком идут.

Ведет Кудлай свой караван мимо городов и кишлаков разных. Всяк спрашивает: что за купец такой новый, богатый, должно быть? а работники за него отвечают: сам мирза Кудлай, в дальний город товар везет на продажу и мену.

И всюду почет богатому купцу мирзе Кудлаю, всюду поклон, большой кулдук и за дастарханом первое место.

И вот приводит Кудлай свой караван в дальний город, раскинулся базаром, по людям клич торговый крикнул и пошел торговать, да как! Что купил сам на месте за кокан серебряный - здесь, в дальнем городе, продает за тилля золотое. Живо весь товар распродал и самому хану послал хорошие подарки.

Зовет к себе хан купца богатого мирзу Кудлая. Пришел мирза Кудлай, в пояс согнулся, руки сложил, как следует, почтительно, на брюхе, большой кулдук отвесил, ждет, что хан скажет.

- А отчего ты... - Тут хан сказал очень нехорошее слово. - Отчего ты только четырех верблюдов привел с товаром, а не пять, не шесть, не больше, а? отчего это? ну-ка, говори!

И не знает, как отвечать хану мирза Кудлай. То есть он и знает, да как сказать? соврать - пожалуй, беда будет, а сказать правду, так, мол, и так, - пожалуй, еще хуже.

Молчит стоит мирза Кудлай, и только про себя думает, лезет ему в голову такая дума:

"Отчего? известно, отчего, все от дележа этого проклятого. Вот если б не этот дележ, а все бы сразу одному мне, тогда бы можно и пять верблюдов товаром навьючить, и шесть, и семь, и больше, а то мало... да, мало..."

"А чего я жду, ишак я эдакой? Вот пока эти дрыхнут двое, встать поскорее да обоих..."

И поднялся на локоть Кудлай-шакал, смотрит: и Кызыл-Псяк поднялся, и Сары-Таук тоже, поглядывают друг на друга, и очень хорошо знают, зачем каждый из них, словно по одному знаку, разом приподнялся на локте.

- А-а! - зевнул Кызыл-Псяк первый.

- О-ох! - затынул Сары-Таук.

Глубоко вздохнул Кудлай.

И все трое снова повалились на землю и заснули так, что уже больше никаких снов не видели.

V. Шакал Кудлай всех трех частей обладатель.

Таджик Палаут, самый опытный табачный огородник по всему предместью Джюгуд-хане, давно уже привык к русским и нисколько не тревожился, когда их отряды проходили мимо самых его засевок и огородов. У него даже много приятелей-тамыров было между "белыми рубашками", даже между их старшими, чего же ему было бояться?

Вот и теперь он спокойно обошел с вечера свои новые сеянцы, посмотрел, не довольно ли держать воду между грядами, решил, что пусть их еще часа четыре помокнут, и с этим решением пошел спать в себе в саклю, прислушиваясь в дремоте к замирающим отголоскам русских песен.

Спустя часа два по полуночи проснулся таджик Палаут и опять пошел по своим огородам.

- Эге, довольно! - сообразил он, ощупав руками влажную, разрыхленную землю своих на диво вскопанных грядок, взял китмень в руки и несколькими ударами запрудил входную ветвь арыка, потом прошел на другой конец и принялся разрывать входную дыру, чтобы выпустить из огорода застоявшуюся, позеленелую воду.

Минуты через три грязная струя запенилась, забурлила и пошла прокладывать себе дорогу по своему старому, высохшему руслу.

Потекла струя мимо гряд соседа Палаутова, обогнула мечеть старую загородную, перебралась в приземистый виноградник, взбудоражила всех маленьких лягушек, притаившихся у его расплзшихся, перепутанных корней, спугнула ящериц, бегавших взапуски под глиняными стенками, и дальше поползла, захватывая на своем пути сухие былинки, павшие листочки, пауков земляных вместе с их паутиною, - одним словом, все то, что было ей под силу.

Таджик Палаут кончил свое дело и снова пошел досыпать в свою саклю. Ему и в голову не могло придти, каких дел могла наделать эта струя, с виду такая невинная, такая невзрачная.

Целый час прошел уже с тех пор, как ее выпустили из Палаутова сада, и в это время струя успела добраться и до того места, где спали наши шакалы.

Здесь струя приостановилась: ее задержали кучи сухого бурьяна, сложенные у самой стенки. Потом вода сладила и с этим препятствием и, ничего не разбирая, потекла прямо под спину мертвым сном спящего шакала Кудлая.

Как ни крепок был шакалий сон, но прикосновение холодной воды, разом промочившей его от пят до затылка, подняло его на ноги.

Не понял сразу шакал, в чем дело, да потом сообразил и принялся стаскивать с себя намокшую одежду.

- Эж ее, хоть выжми! - покачивал он головою. - Ведь вот тем счастье, те на сухом месте остались!

Тут шакал Кудлай пристально посмотрел на Сары-Таука и Кызыл-Псяка, посмотрел и на свою часть дорогого пояса, и перестал раздеваться, не обращая уже более внимания на то неприятное чувство холода, которое ощущал он от воды, забравшейся даже за его кожаные шаровары.

Притих шакал Кудлай, совсем притаился, и его косые глаза забегали то к Сары-Тауку, то к Кызыл-Псяку, то так, по сторонам, словно осматривая, не видать ли где-нибудь постороннего глаза.

Но ничего подозрительного не видели глаза Кудлая, ничего тревожного не слышали его настороженные уши.

И Кызыл-Псяк, и Сары-Таук спали крепко, так крепко, что уже больше и не просыпались.

Ведь посчастливилось же им попасть на сухое место!

VI. Караван-сарай муллы Саид-Басмана.

Не доезжая до Намангана версты полторы, у самой торговой большой дороги, стоял громадный караван-сарай муллы Саид-Басмана, притон всех караванов, идущих на Кокан и Кашгар из Ташкента и других мест, занятых в последнее время русскими.

Просторные дворы этого караван-сарая, обнесенные высокими глиняными стенами, могли вмещать одновременно по несколько сот верблюдов. Под навесами могли свободно поместиться как товарные вьюки, так и вся прислуга караванная - лаучи (верблюдовожатые) и караван-баши... В стороне, у самых стен, закопченных черным дымом, устроены были очаги с вмазанными в печи плоскими котлами, в которых проезжие варили свой плов и шурпу. Арык с проточною водою проходил как раз серединою двора, и вырытый посреди небольшой прудик (хауз) собирал в себе такое значительное количество воды, что все верблюды могли быть напоены вдосталь, не выходя для этого из караван-сарая.

Для того, чтобы попасть в эти дворы, надо было пройти через довольно широкие крытые ворота, на ночь запирающиеся толстыми поперечными жердями с цепным замком, а по бокам этих ворот, с обеих сторон, устроены были помещения для самих хозяев, богатых купцов, а

также находилось жилище хозяина караван-сарая, ученого, достопочтенного муллы Саид-Басмана, одного из самых чтимых и известных по всему округу узбеков.

На самом видном месте расположено было чай-хане караван-сарая. Это была просторная, возвышенная площадка, устланная сплошь мягкими циновками и поверх их - коврами. Громадные, развесистые карагачи бросали густую, прохладную тень на эту площадку, и солнечные лучи даже сбоку не могли пробраться туда и потревожить усталых гостей, наслаждающихся кальяном, зеленым чаем, умною беседою муллы Саид-Басмана и веселой болтовнею батчей - бойкоглазых мальчиков в красных халатиках, прислуживавших в чай-хане.

Тут же находилась и небольшая лавочка, где можно было за дешевую цену, немного только дороже, чем в городе, купить все необходимое: рис, баранину, сало, ячмень для лошадей, клевер сушеный, в снопах, саман для верблюдов, а также ремни и веревки для починки пострадавшей в дороге вьючной сбруи.

Все более известные в окрестности купцы знали хорошо муллу Саид-Басмана и никогда не миновали его караван-сарая. Зачем было им находить другие места отдыха, когда здесь они положительно чувствовали себя как дома, и, кроме всего необходимого, вдобавок еще узнавали от словоохотливого хозяина все могущие их более или менее заинтересовать новости?

А это последнее обстоятельство значило даже более, чем первое: азиаты народ вообще крайне интересующийся всем, что делается кругом, особенно в области политики, и сведущий мулла, зная до тонкости свое дело, ни разу не мог пожаловаться на малочисленность слушателей в своем чайхане, и старался, насколько только можно, удовлетворить любознательность каждого посетителя.

В окрестностях Намангана, особенно близ главной кокандской дороги, были и другие караван-сарайи, кроме караван-сарая муллы Саид-Басмана, но большинство путешественников все-таки предпочитали последний всем остальным. Сам же мулла, зная себе цену, весьма равнодушно относился к своим конкурентам - настолько равнодушно, что когда, в прошлом еще году, Мухамед-Гул, купец из Андижана, приобрел себе участок земли как раз напротив него и затеял строить новый караван-сарай, то мулла даже помог ему, незнакомому еще с окрестными жителями, выгодно нанять рабочих, землекопов и плотников для сооружения новых построек.

Мухамед-Гул строил, а мулла Саид посматривал сквозь дым своего кальяна, добродушно улыбался и награждал нового соседа дельными советами.

- Да ведь он тебя, смотри, подорвет... - нашептывали мулле его приятели. - А не подорвет совсем, все-таки большой куш барышей к себе перетянет!

- Значит, такова воля Аллаха! - смиренно пожимал плечами мулла Саид-Басман. - Всякому есть хочется, каждому Бог даль и зубы, и живот, и никто никому хлеб добывать мешать не должен!

- Так-то так, да ведь своя рубашка ближе к телу, - приставали приятели.

- Гм! - не без намека, самым двусмысленным образом ухмылялся мулла Саид-Басман и прекращал всегда подобные разговоры.

Он был уверен в том, что новый конкурент и четырех лун не продержится с своим караван-сараем и ему же самому продаст все свои постройки за полцены, лишь бы выручить хотя половину своего капитала, затраченного на плохо рассчитанное дело.

Расчет муллы Саида был верен - настолько верен, что даже ранее предположенного срока Мухамед-Гул приходил к нему и довольно ясно намекал ему, что он бы, пожалуй, и не прочь бросить свое дело, лишь бы покупатель нашелся подходящий, чтобы уже очень ценою не обидно было.

Да, дела достопочтенного муллы Саид-Басмана были прочны, так прочны, что скоро никакому Мухамед-Гулу не приходила уже в голову мысль пытаться "резать от того куска, за который мулла зубами ухватился".

Дело было к вечеру. Густая пыль на большой дороге, поднятая незадолго проходившим наманганским стадом, мало-помалу улеглась, и далеко-далеко видна была гладкая, широкая дорога, окаймленная тузовыми деревьями и стройными тополями придорожных садов.

Румяный свет вечерней зари все слабел и слабел. Давно уже он боролся с светом костра, разложенного под таганом, и эта борьба заметно склонялась уже на сторону последнего.

Со двора гудели и звякали разнообразные бубенцы верблюдов, согнанных к хаузу для вечернего водооя, и слышались хриплые крики черномазых лаучей и плескание воды, выливаемой из кожаных черпаков в глинобитные корыта. В дальнем углу двора десятка три длинноухих ишаков дико завывали; это они исполняли свою обычную песню заходящему солнцу. Несколько поджарых жеребцов, оседланных полным вьюком, покрытых вплоть до ушей теплыми попонами, грызлись и лягались под навесом на своих привязях. Большая, совсем одичалая, полосатая кошка неслышно пробиралась по жерди, под самую крышу, добираясь до безмятежно дремлющих там кур и голубей хозяйских.

Мулла Саид-Басман не рассчитывал уже больше на новых гостей и распорядился, чтоб запирали ворота, то есть, попросту, задвинули их толстыми жердями.

Громадный самовар, ведер в пять вместимостью, так вот и лез в глаза своими сверкавшими, медными боками; он сопел, пыхтел, высвистывал и выпускал из всех своих отверстий густые клубы белого пара. Мальчишки-прислужники бойко шныряли между гостями, разнося чашки и кунганчики с зеленым чаем и бесцеремонно шагая через ноги и даже головы дремлющих под говор и бряцанье сааза посетителей.

Зажгли большой, шестигранный фонарь из белой промасленной бумаги и повесили его на косом шесте, повыше. Этот фонарь осветил группы красных, голубых, зеленых, желтых и полосатых халатов, живописно расположившихся на коврах и циновках просторного чай-хане.

Мулла Саид ровным, солидным голосом объяснял внимательным слушателям, какая хитрая-прехитрая бестия этот Музофар, эмир бухарский, высланный к русским навстречу посольство свое для переговоров, чтобы только позатянуть дело и выиграть время для своих приготовлений к войне, так неожиданно обрушившейся на его лживую голову.

- Так это он все хитри-и-ил?! - удивлялся один из гостей, купец из окрестностей Ташкента, тот, что вез табак и кошмы в Кокан для продажи или же для промена их на шелк-сырец и шали тамошнего производства.

- Ну, понятно, пока русские будут стоять да слушать этого старого говоруна, у него все там сейчас и того... живо дело обработают! Понятное дело, понятное, - затараторил вертлявый караван-баш Насыр, протискиваясь в передние ряды собеседников.

- Э-эх! - крикнул, должно быть, по какому-нибудь сочувствию совсем белый старичок в дорогом кашемировом халате.

- Чаю еще подай, - маленький кунган, вон тот, что стоит с краю.

- Так вот их на этот крюк и поймают, как же! Травленные волки! - решил рыжий купец из Чимкента, аксакал с бронзовою медалью на халате.

- Прежде ловили! - заметил, словно про себя, кто-то из дальних.

- И не один раз! - подтвердил кто-то другой, из того же угла.

- А теперь - шабаш!

- Ничего не шабаш; он...

- Не перебивай! Ну, так наш-то хан теперь что будет делать?

- Худояр-то? - пожал плечом мулла Саид. - Тот, как только получил письмо Музофара, посмотрел, совет собрал и на этом-то совете порешили...

Тут голос рассказчика несколько понизился; слушатели сдвинулись плотнее.

- Тише вы там, у самовара; не брякай посудую, ты, козленок глазастый!

- Тс! подвинься немножко!

- А тебе тесно?

- И решили на этом совете, чтобы печатей с этого письма не снимать и отослать его так как есть обратно, без всякого ответа. "Потому, - говорит хан, - что мне с русскими нет никакого расчета ссориться - значит, и всяких подговорных писем читать не следует, потому что там не добро написано". Так-то вот!

- А что же там написано? - любопытствовал купец из Ташкента.

- А я читал? - поднял голову мулла Саид и начал прислушиваться. - Кто-то едет, никак! - произнес он.

- Правда ли это теперь, - начал кто-то из того же темного угла, - правда ли, что когда русские еще за Арыс не переходили, на небе, над самую Бухарою, красные волки бегали?

- А ты от кого это слышал?

- Говорили в ту пору. Мне один из тамошних сказывал!

- Ха-ха-ха!

- Зря народ болтает, по людям много всяких глупых разговоров ходит, много. Вот как и теперь!

- Да мне-то что? Я от других слышал, не свое говорю...

- А кто-то и взаправду едет!

.....

- Подать новую на железный товар наложили и танапный сбор на одну седьмую часть прибавили! - вздохнул местный купец, сосед муллы Саида, да так вздохнул, что даже зола разлетелась из-под самовара.

- К нам, сюда! - решил мулла Саид и велел одному из мальчиков отодвинуть запорные жерди.

- Верблюды идут, верблюды... я вижу, - засуетился караван-баш Насыр, - вон чернеют около самой стенки; отсюда вот хорошо видно! раз, два, три, четыре, пять... нет, пятого нет, только четыре.

- А колоколов-то сколько навешено, страсть! - заметил купец из Чимкента; - эго гудят, эго гудят! Идет всего-навсего четыре верблюда, а звону делают, словно целый караван сотенный!

Действительно, маленький караван давал-таки довольно шумно знать о своем приближении. Тут гудели самые разнообразные звонки, подвешенные на шеях и головах верблюдов, их, должно быть, было по нескольку на каждом животном, и это обстоятельство показалось довольно странным для всех, привыкших уже к обыкновению вешать звонки только по одному, и то через четыре верблюда на пятого.

Этот звонкий караванчик приблизился уже настолько, что можно было различить толстую фигуру в необъятной чалме, раскачивающуюся на вершине вьюка переднего верблюда. Можно было также различить и трех человек пеших, бредущих усталую поступью по сторонам маленького каравана.

Проезжие обнаружили явное намерение остановиться на ночлег именно в караван-сарай муллы Саида и свернули с большой дороги, огибая осторожно широкую, топкую лужу черной, вонючей грязи.

- Не знаю! - словно про себя недоумевал мулла Саид. - Мне ли не знать всех купцов ханства, а не узнаю. И кто бы это такой мог быть?

- Аман! будет место для моего каравана? - послышался голос с вершины переднего верблюда.

- Аллах благословил твой путь, благословит и отдых. Входи! - ответил мулла Саид.

- Тохта! (остановись) - решил голос сверху.

Прибывшие верблюды остановились как раз против ворот караван-сарая.

VII. Мирза Кудлай-бай, богатый купец, удивляется, как это его еще никто не знает.

Послышался обычный хрипящий звук, каким обыкновенно, с помощью подергивания за повод, кладут на землю верблюдов. Высокое животное мотнуло косматую голову и тяжело опустилось на передние колена. Колыхнулись громадные вьюки, колыхнулась и клюнула носом толстая фигура на их вершине и неловко полезла вниз, еле ворочаясь в своих шести халатах, одетых один на другой.

- Ого, сколько народу! - важно произнес прибывший; - не будет ли для нас тесно? Я ведь люблю, чтобы было просторно! Слышишь, ты, хозяин! Алай, Базарга, Чахлым, люди! проводи караван во двор, раскладывайтесь живо. Фу-ух! А я-таки немного устал!..

- Эка важная птица!

- Покрикивает что твой курбаша.

- Кто такой? Откуда?

Послышались сдержанные замечания и вопросы в толпе гостей муллы Саид-Басмана. Да и сам хозяин немного растерялся от такого шумного начала; он не привык к этому, а главное, его смущало то обстоятельство, что перед ним, перед все и всех знающим, стояло совершенно незнакомое лицо, надменно поглядывающее вокруг из-под своей чалмы таких размеров, что если бы ее разрезать на куски, то ее хватило бы по крайней мере на десять мусульманских голов, и еще с небольшим остатком.

- Крыша моего дома будет над твоею головою, - начал мулла Саид. - А ты скажи мне, кого это судьба привела под мою крышу в такое позднее время?

- А ты посмотри хорошенько! - надменно произнес обладатель гигантской чалмы. - Посмотри-ка, может, и узнаешь!

И прибывший стал в самом центре чай-хане, в том месте, где сходилась свет от четырех бумажных фонарей, так что каждый мог вдосталь налюбоваться его верхним халатом, зеленым с ярко-оранжевыми полосами, лоснящимся и шелестящим при каждом движении своего обладателя.

Тут все заметили, что тучность и сановитость незнакомца были только кажущимися. Вольно же было натянуть столько одежды! Заметили, наконец, в тени чалмы и лицо его, немного сморщенное, надменно улыбающееся, щурящееся по сторонам своими покрасневшими от пыли, свиными глазками; заметили и жидкую бородку, какую-то бляху медную под эту бороду: заметили и пояс, на котором чего-то только не было навешано, - и все-таки никто из присутствующих не мог припомнить, где и когда видел он эту смешную фигуру, да и видел ли еще ее хоть когда-нибудь. Новоприбывшее лицо оказалось совершенно незнакомое.

- Не узнаю! - пожал плечами мулла Саид-Басман.

- Ха-ха-ха! - натянуто усмехнулся приезжий. - Так ты и не слыхал обо мне? Не слыхал?

- Да кто ты такой? - повторил вопрос хозяин, которого начинал уже сердить нахальный вид и ломанье маленького человека под огромной чалмой и закутанного в шести халатах.

- Я? кто я? ну слушай же! Я - мирза Кудлай-бай, из самых богатых купцов по всем землям, что отошли под Белого царя в последнее время. Вот кто я!..

И мирза Кудлай-бай начал поглядывать на ковры, где бы ему удобнее опуститься, чтобы и покойно было, и для других заметно, не так вот, как там, у стенок, где впотьмах не видно даже, что за халаты надеты на человеке.

- Не слыхал про такого! - сказал мулла Саид.

- Не слыхали и мы. А ты не слыхал?

- Нет, не довелось...

- Впервой вижу, а слышать тоже не приводилось!

Пошел говор в толпе.

- Ха-ха-ха-ха!.. - раскатился самый богатый купец. - И где только твои глаза были, что меня не видели, где уши твои были, до которых не дошло мое имя? Эй вы, люди! Алай, Базарга, Чахлым! смотрите на этих наманганцев, которые ничего не видят, не слышат, и ни о чем не знают. И в какую только землю мы заехали?! Ну народ...

- Дурак какой-то! - слышалось в толпе.

- Шут полосатый!..

- Дивона (юродивый), - решил как бы про себя, однако довольно громко, мулла Саид-Басман.

- Видна птица по полету!

- Слушай, надо его того, порасспросить немного! - шепнул купец из Чимкента Насыру, караван-башу.

- Начнем, погоди, дай уgomониться, - подтолкнул его локтем Насыр. - Я теперь припоминаю: кое-что слышал на ташкентском базаре, на прошлой неделе. Эй ты, юркий, тащи сюда еще кунган чаю!

- Кальян! - произнес мирза Кудлай, протянул руку и нетерпеливо зашевелил в воздухе своими крючковатыми, грязными пальцами. - Да, так вот, - выпустил он изо рта клуб дыму. - Так вот, как это пройдешь с караваном ташей десять, так оно и приятно отдохнуть, хотя бы даже и в этом скверном чай-хане. Что у вас тут такой воздух нехороший?..

- А это вот от твоих халатов, должно быть! - заметил кто-то; - до твоего проезда дышать хорошо было!

- Ишак! - лаконически огрызнулся мирза Кудлай.

- Тебе не сродни!

- А кто это там говорит?

- Не надо ссоры, не надо! - предупредил схватку хозяин; - видимое дело - в голове у него угар; что с ним связываться!

Слышал ли или нет это замечание мирза Кудлай, но он, по крайней мере, сделал вид, что хозяйская любезность не коснулась его уха.

- А откуда дорога твоя идет, мирза? - полюбопытствовал караван-баш Насыр.

- Откуда? А-а-а! - зевнул мирза. - А с разных мест; теперь вот из Ташкента, не того поганого Ташкента, что прежде был, а из настоящего, русского Ташкента, из того, что на весь Салар раскинулся. Вот откуда!

- Хорошее место, богатое; я знаю...

- Да ты разве там был? Сдается мне, что тебя туда бы не пустили. Там ведь только особо знаменитые и богатые купцы бывают!

- Нет, случалось и мне!

- Ну, твое счастье!

- Куда же теперь едешь? в Кокан, что ли?

- И в Кокан. А оттуда, может, куда и подальше. Торговать - так торговать как следует, с целым светом; не то что вы, мелкота!

- Где уже нам! - смиренно согласился Насыр, караван-баш.

- Томаша (зрелище, комедия)! - слышался шепот в толпе.

- С каким товаром? - спросил опять Насыр.

- Да уж не такая дрянь, как ваш. Ситцы русские, красные кумачи, сахар, зеркала, румяна, духи разные. Тысяч на двести коканов товару везу. Да, пожалуй что, и побольше!

- Это на четырех-то верблюдах? Должно быть, товар твой легок или уж очень верблюды сильные. Где покупал таких?

- Как на четырех? - смутился немного мирза Кудлай-бай. - Это того... это только передние четыре. Легконосы портальные, а за ними еще пятьдесят голов идет, а потом, через день, еще пятьдесят, а там еще сто, а там...

- Ого! - крикнуло несколько голосов разом.

А люди богатого купца уже убрали своих верблюдов, все трое подошли к чай-хане и слышали, как бахвалился их хозяин.

- Это что же он врет-то? - толкнул локтем Алай Чахлыма.

- Пусть поврет! - толкнул Чахлым Базаргу.

- На свою только голову беду накликает! - шепнул Базарга.

- Да вы не верите, что ли? - вскипятился мирза Кудлай. - Так вот у людей моих спросите. Эй, вы, мои люди, где вы там? Сколько наших верблюдов идет сзади?

- Говори! - толкнул опять Алай Чахлыма.

- Говори сам! - попятился тот.

- Мы что, мы люди темные, - произнес Базарга. - Мы такого и счету не знаем; тебе, хозяину, это лучше знать!

- Ну вот видите; что? - самодовольно потянулся мирза Кудлай, обладатель такого бесконечного каравана. - Эй ты, убери свои ноги: видришь, я прилечь хочу поудобнее!

- Для всех места хватит! - недовольно огрызнулся тот, к кому относилось это замечание, однако убрал-таки свои ноги и отодвинулся.

- Проходили мы тут одним кишлаком, - рассказывал мирза Кудлай: - вышли ко мне навстречу все старшины, дастархан разложили, кланяются. Только задержали даром! Дал я им по халату - сейчас в ноги. Сказал я им, что русский губернатор ими очень доволен, и дальше поехал!

- А ты видал ли русского губернатора?

- Кто, я? Тамыры с ним. Он у меня в кибитке бывал, я у него. Хороший человек русский губернатор. Я им очень доволен!

- Вот так мягкий язык - во все стороны так и гнется. Ну, послал Аллах человека на нашу потеху! - шепнул седой старик мулле Саиду.

- Что дальше будет, погоди. Что это у тебя на шее повешено? - спросил он у мирзы Кудлая.

- Ты этого не знаешь; это медаль, от самого Белого царя медаль; больше этой медали нет: эта самая из всех важная!

- А ну покажи!

- Гляди, коли есть охота!

И мирза небрежно раздвинул пальцами свою щетинистую бородку и открыл какой-то овальный медный кружок, повешенный на красной тесемке под самым горлом.

- Что же это такое за медаль, я такой еще и не видал ни разу!

- Мало ли чего ты не видал!

- Нет, вот тут есть одна. Эй, приятель, покажи свою! - обратился мулла Саид к купцу из Ташкента.

Тот показал.

- Гм! - несколько смутился Кудлай. - Да ну, это маленькая медаль, эдакую всякий иметь может. У нас и лаучам простым дают такие...

- Есть в русских товарах, - говорил вполголоса купец из Чимкента своему соседу, - такие ящички из жести, и в них, плотно-плотно, маленькие рыбки наложены; маслом они залиты, а чтобы это масло не вытекло, ящички по краям оловом запаяны. И на этих самых ящичках все вот такие точно медали понаклеены!

- Ну! - фыркнул сосед.

Пошли смешки и пофыркивания по всей толпе, вызванные объяснением купца из Чимкента.

- Ишаки безмозглые! - опять выругался мирза Кудлай-бай, ободренный безнаказанностью первой своей выходки.

- А вот мы тебе дадим "ишаки"! Что за шайтан такой, право, злоречивый!..

- Плюнь ему в бороду, да и на его медаль также!

- Ну-ну, ну-ну, - поспешил успокоить гостей мулла Саид. - Что с него взять? оставь уж его, пускай!...

Мальчик-прислужник принес дымящееся блюдо с пловом и поставил его перед сановным, богатым купцом мирзою Кудлаем; тот плеснул из чашки воды себе на руки и вытер их об полы своего халата.

- Кушайте и вы, - благосклонно произнес он и запустил в жирный, горячий рис все свои десять пальцев.

Светлая полоса протянулась на востоке, запели петухи; во всем Намангане там и сям стали подниматься и потягиваться спросонья спавшие на своих плоских крышах горожане. Ночные сторожа собирали свои погребушки и сторожевые бубны и думали уже расходиться по домам; у хлебопеков дымовые дыры задымились и замигало красноватое пламя в их приземистых глинобитных печках; закопошился народ и в караван-сараях муллы Саида.

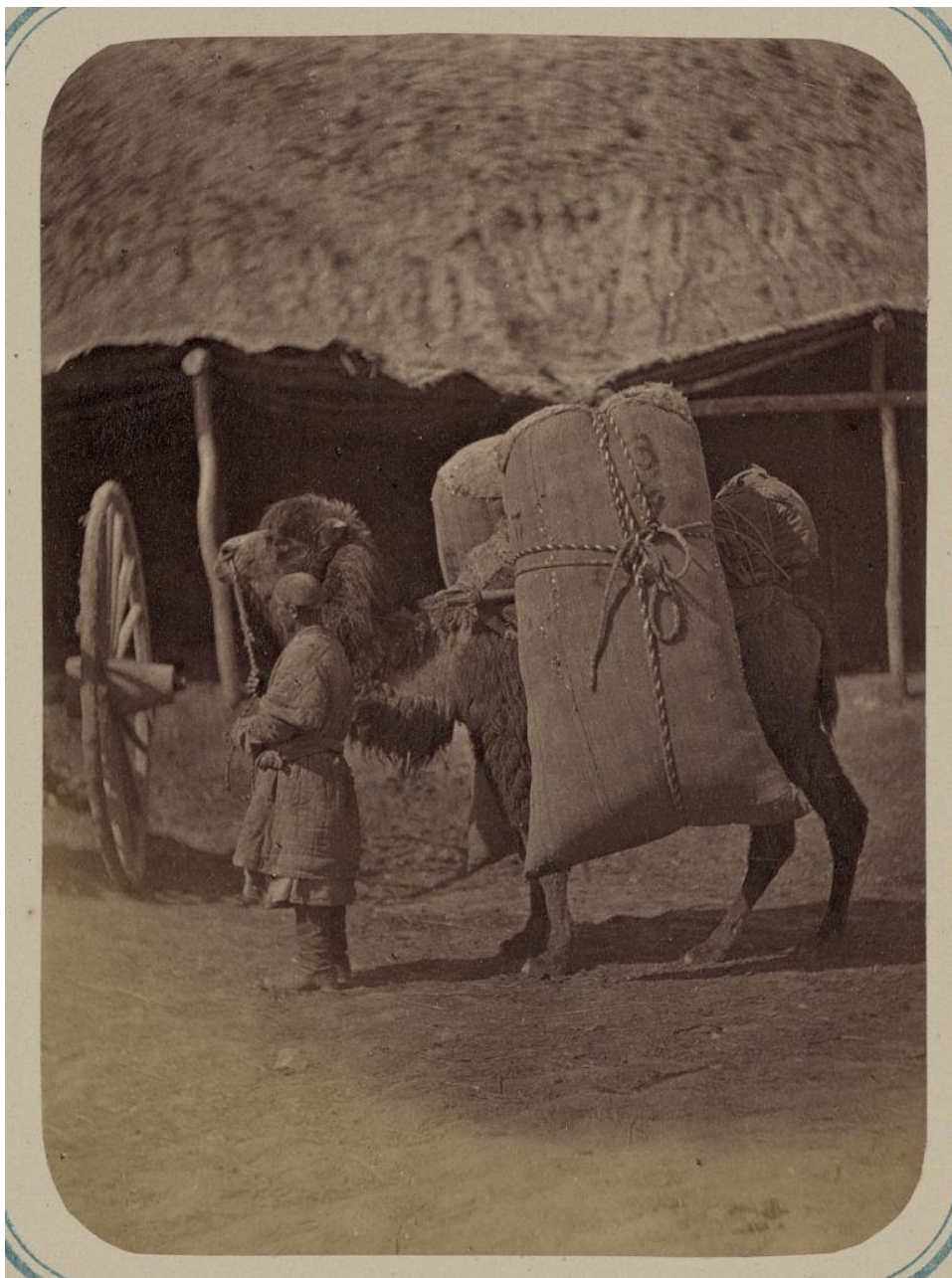
Верблюдов поили, вьючили и укладывали рядами, чтобы потом поднять всех разом и вереницами вывести их на дорогу. Лошади под навесом фыркали и звучно жевали ячмень в торбах. На все лады храпел и сопел мирза Кудлай-бай, купец богатый, развалившись на целой горе ковров и стеганых одеял, в своей, особо для него отведенной, сакле.

Ярче и ярче разгоралась утренняя заря, уже озолотились вершины тополей и карагачей, вспыхнул зубчатый гребень стены городской цитадели. Золотистыми крестами потянулись в воздухе взлетевшие с своих гнезд длинноногие аисты, а мирза Кудлай-бай, купец богатый, все еще сопел и храпел, только на другой бок повернулся.

Вот мало-помалу стали вытягиваться на дорогу торговые караваны; пошел и Насыр, караван-баш, пошел и седой купец, и чимкентец уже садился верхом на своего пегого аргамака; мулла Саид уже из мечети вернулся. Солнце поднялось из-за садов.

- Буди поди его; что он, в самом деле, до полудня дрыхнуть, что ли, будет? - говорил Алай, вытягивая на веревке кожаное ведро из хауза. - Всегда вот так, после всех людей с ночлега поднимаемся!

- Ну, пожалуй, разбудим! - решили в один голос Базарга и Чахлым и пошли к дверям, откуда слышался храп их хозяина.



Навьюченный верблюд. Начало 1870-х

VIII. Первая коканская таможня.

Пройдя за Наманган версты две, дорога суживается между двух скалистых обрывов, и это ущелье тянется шагов на триста, разом расширяясь в обширную площадь, с которой и разветвляются караванные пути на север, на восток и на юг, в горные полукочевые аулы. Миновать эту лощину невозможно, особенно с тяжело навьюченными верблюдами или арбами, а потому коканский хан и устроил на площади-перекрестке свою первую таможню, удачно воспользовавшись словно нарочно с этою целью приготовленным природою местом.

Вся площадь была обнесена невысокою стеною. У широких ворот, между двух круглых башен с зубчатыми гребнями, в просторных саклях, открытых с одной стороны, сидели ханские чиновники, зякетчи, таможенные сборщики, и находился небольшой военный караул из десятка черномазых сарбазов в красных куртках с высокими зелеными воротниками, босых и вооруженных ружьями самого жалкого вида. Несколько человек конных ханских джигитов тоже расположились неподалеку и, сидя у стены, дремали в самых живописных позах, яркими, блестящими пятнами рисуясь на светлом фоне стены.

Маленький базар с фруктами, дынями, арбузами тянулся вдоль левой стороны зякетного двора; желтые зонтики из циновок, распяленных на тонких жердях, словно громадные грибы, виднелись над лавочкою хлебника и пельменщика, где, кроме своего обычного товара, на больших железных листах жарилась рыба, распластанная, обсыпанная перцем, шипящая и ворочающаяся в кипящем кунжутном масле.

Верблюды с ночи еще пришедших караванов лежали как попало в ожидании своей очереди осмотра; лаучи толпились у лавок; хозяева караванные, в почтительных, полусогнутых позах, сидели полукругом перед главным сборщиком и вели переговоры; два джигита с самым спокойным, невозмутимым видом вязали руки назад какому-то желтому халату, боязливо поглядывающему кругом, словно волк, захваченный капканом.

- Выше руки держи, вязать неловко! - говорил один джигит.

- Влево подай, стисни крепче! - говорил другой.

И выше подымал, и влево подавал, и стискивал крепче свои руки желтый халат, и только кряхтел, когда уже слишком плохо приходилось ему от этого подлого волосяного аркана, так и врезывающегося в его вывороченные за спину руки.

Рядом двум верблюдам кровь пускали, и по земле ползли и извивались целые потоки темно-красной жидкости, всасываясь и пенясь в навозной пыли и золе прежних, уже потухших костров.

В дальнем угле в суматохе бегало несколько лаучей; они размахивали руками, кричали друг на друга, звали кого-то, и кончили тем, что угомонились наконец и, столпившись в тесный кружок, молча уже смотрели все в одно место, покачивая головами и делая друг другу различные замечания. Там, весь почернелый, с закатившимися желтыми белками глаз, корчился и скрипел зубами один из их товарищей - лауча, которого вдруг разом схватил припадок злейшей холеры.

Новые караваны прибывали со стороны Намангана. Становилось тесно, и купцы ворчали, с недовольным видом поглядывая на сановитые чалмы сборщиков; а те, с самым полным равнодушием, еле процеживали сквозь зубы короткие фразы, часто даже вовсе не относящиеся к их настоящему делу.

- Так что же? отпускайте, что ли... Я, пожалуй, по чеке на каждый кокан надбавлю! - решается произнести один из купцов.

- ...А тот орешник, что посреди моего двора рос, я велел срубить, - говорил один сборщик другому.

- Жаль: хорошее дерево, - заметил тот.

- Сыро от него было... Что дочь твоя? выздоровела? - ...А две не дашь?

- По одной чеке; помилуй, и то много выйдет, ты сосчитай!

- Считать умеем - это наше дело; недаром седьмой год в зякетчах служим... Так две?

- Э-эх!

- Посмотри уж моих верблюдов: мне до полудня выбраться надо. Я и так здесь со вчерашнего дня сижу. Сделай такую милость!

- Поспеешь. Куда торопишься? время терпит!

- Да, для тебя - пожалуй, а не для нас!

- Поворчи еще... видишь?

Зякетчи кивнул на желтый халат, с которым уже покончили операцию скручивания рук назад, и который теперь сидит один у кола, на самом солнцепеке.

- Слышь! Поди сюда!

Зякетчи обернулся. За ним стоял Насыр-караван-баш и пальцем кивал ему.

- А, и ты приехал? Аман, друг, здорово! что нового?

- Вон мои семнадцать голов подходят. Красные узды. Вели писать пропуск. Да поди сюда - слово есть.

- Говори, что?

- Да погодите тут, я сейчас! - поднялся ханский сборщик.

- А вот и наш мирза Кудлай прибыл, - указал купец из Чимкента на громадную чалму, кивавшую из-за верблюдов.

- Кто здесь сборы берет, а? где они тут? Мне некогда. Чтоб сейчас!.. Эй, люди: Алай, Базарга, Чахлым! - ведите караван к воротам. Здесь, что ли? - на весь зякетный двор кричал мирза Кудлай и поглядывал кругом: каков, мол, эффект произвел он своим появлением.

- А вот погоди - замажут тебе рот, заткнуть крикливую глотку! - усмехнулись купцы, ночевавшие в караван-сараях муллы Саид-Басмана.

- Веди моих наперед, веди наперед! Эй, Базарга! у тебя моя бумага от приятеля моего, русского губернатора? - кричал, надрываясь, Кудлай.

- О какой бумаге он спрашивает? - недоумевал лауча Базарга.

- Которые верблюды с красным товаром - тех сюда; с сахаром - сюда! Эй, отпирай ворота!.. Вы, ханские сарбазы! мне дальше идти надо!

Даже все невозмутимые зякетчи подняли головы и с нескрываемым любопытством смотрели на чудака, поднявшего такой необычный гвалт в их таможне. Джигиты взяли плети в руки; они инстинктивно готовились исполнить начальническое приказание. Они никак не могли себе представить, чтобы не последовало этого приказания тотчас же вслед за выходками неизвестного купца-крикуна, сидящего на вершине верблюжьего вьюка.

Однако этого приказания не последовало.

Старший зякетчи вышел из сакли вместе с Насыром-караван-башем, видимо, только что оправившимся от припадка самого веселого смеха, и, обращаясь к новоприбывшему купцу, вежливо произнес:

- Добро пожаловать!

Крякнули все от такой неожиданности. Сам мирза Кудлай вытаращил глаза и заморгал учащенно. Кубарем скатился он с своего верблюда и, путаясь в халатах, зашагал к таможенному навесу.

- Мир да будет над твоей головой! - приветствовал его старший зякетчи.

- Это я уже рассказал ему, кто ты такой; оттого и почет тебе такой оказывают! - шепнул на ухо Кудлаю Насыр-караван-баш. - Смотри же, не ударь лицом в грязь!

- Сумеет! - самодовольно усмехнулся тот и важно протянул ханскому чиновнику свою руку.

- Как гладок путь твой был от русского губернатора, из русского города, здоров ли сам ярым-падша и стоит ли благоденствие над его домом?

- Он вами всеми доволен и благодарит, - бухнул мирза Кудлай. - Хорошая сегодня погода!

- Милостью Аллаха!.. Сколько верблюдов в твоём караване?

- В моем-то? теперь - пока четыре, а там еще пятьдесят, и еще пятьдесят!

- Сто, значит?.. Эй, записывайте там!

- А может, и больше! - самодовольно пожал плечами мирза Кудлай. Он, кажется, сам начинал верить, что у него еще есть верблюды кроме тех, которые идут с ним. - Может, и больше, ха-ха! Стоит с какой-нибудь сотней верблюдов торговлю начинать!

- Сколько же? - спросил зякетчи и покосился на Насыра-караван-баша.

- За ними еще сто; те подальше будут!

- Значит, двести; двести, да этих четыре - записывай: двести четыре!

Те, кто не знал сидящего на ковре богатого купца, стали на него глядеть с особым уважением. Улыбки, вызванные сначала комичностью фигуры в большой чалме и его выходками, стали мало-помалу сглаживаться на их лицах. Только вчерашние гости муллы Саида подталкивали друг друга локтями и переглядывались, догадываясь об исходе разыгрывающейся перед ними сцены.

- А может, и больше! - словно про себя, еще раз произнес мирза Кудлай.

- Сколько же? - поднял голову ханский чиновник.

- Довольно с него, а то ведь у него и конца не будет! - шепнул ему Насыр-караван-баш.
- Что же, на все двести четыре верблюда разом кагас (бумагу) выдать? - спросил зякетчи.
- Давай на все разом! - решил богатый купец, обладатель такого длинного каравана.
- Сделай расчет!
- Готово!

Один из писцов вытащил из-за пазухи продолговатый футляр с письменными принадлежностями, попробовал у себя на ногте камышовое перо без расщепления, поправил его зубами и обмакнул в густую, черную массу, разведенную в роговой кругленькой чашечке.

На небольшом кусочке проклеенной, прозрачной бумаги скоро появилось несколько узорных знаков, расположенных столбцами. Взглянув на эти каракули, Насыр-караван-баш прикрыл рот рукавом своего халата.

-Ике мин кокан [*две тысячи коканов*], - произнес старший зякетчи, - а за приложение печатей особо!

- Как?

У мирзы Кудлая все лицо вытянулось и лихорадочно затрясся его щетинистый подбородок.

- Вот расчет, сейчас и платить надо! - протянул ему бумагу зякетчи и стал перебирать связку своих сердцеобразных, квадратных и круглых печатей.

- Это за четырех верблюдов ике мин кокан?! - коснеющим языком пролепетал мирза.

- За двести четыре, - поправил его зякетчи; - за этих вот и за тех, что идут сзади: за всех разом!

Насыр-караван-баш не выдержал наконец, фыркнул на всю саклю и пошел куда-то за угол.

Там и сям тоже слышались пофыркивания. Прочие переглядывались с выражением полного недоумения.

- Вой-вой! это не надо! зачем так много! не надо так много! - попытался было протестовать мирза Кудлай. - Я только за этих четырех плачу, а те, что сзади идут, - те пускай сами за себя платят!

- Да ведь ты же настоящий хозяин; ведь то все твой же товар идет, тебе и платить за него следует!

- Все мой товар... зачем мой товар?... - лепетал мирза.

- Общий тебе кагас выдадим, - пояснял ему ханский чиновник. - Ты себе пойдешь своею дорогою, а уж тех верблюдов, что сзади идут, мы и осматривать не станем - так, без всякой задержки, пропустим. Ну, вынимай деньги!

- Не хочу! Не буду платить! - попятился богатый купец и ухватился руками за пояс.

- А не хочешь, так на это у нас тоже есть особый закон. Эй, подите вы сюда!

Джигиты, которые так усердно крутили руки желтому халату, стали проталкиваться сквозь толпу. По всему двору пошли оживленные толки и переговоры.

- Пстой, пстой! Ну, хороший человек! пстой, пожалуйста! Зачем джигитов? Не надо джигитов!

- Будешь платить?

- Ох, ох!

- Ну!

- Да у меня и денег таких нет... У меня мало денег...

- Все равно! товаром возьмем. Тут, на этих четырех верблюдах, хватит на всю уплату с излишком!

- Аллах, Аллах! - вздохнул мирза Кудлай-бай, купец богатый, да так тяжело вздохнул, что даже самому Насыру стало его жалко.

А старик-купец из Чимкента, тот усиленно высморкался и произнес вслух:

- И пошлет же Аллах человеку, на его же собственную голову, такой язык мягкий!

IX. Особая, вольная таможня.

Далеко сзади осталась наманганская таможня, а в ушах злополучного хвастуна все еще раздавались насмешки и злые шутки, со всех сторон сыпавшиеся на него, когда он с своим караваном выходил из зякетного двора. Насупился мирза Кудлай, нос повесил и совсем ушел в свои халаты; казалось, что прямо из-под громадной чалмы тянутся желтые и зеленые полосы его одежды.

Толпа рабочих землекопов, полуголых, босых, с тяжелыми китменями в руках, попалась навстречу нашему каравану.

- Смотри, смотри! Это просто дыня какая-то лежит там, между двумя тюками, а не человек! - заметил один рабочий другому.

- Совсем арбуз! - согласился тот.

- Подавиться бы тебе этим арбузом, - огрызнулся богатый купец.

- Ну-ну! я вот тебя сшибу оттуда камнем; полетишь торчком, рассыплешься! - пригрозил широкоплечий детина.

- Яу (разбойник)! - пустил себе под нос мирза Кудлай.

Родила моя жена семерых девок,

Бил я ее за это семью плетями... -

тянул и подсвистывал лауча Алай.

...семью плетя-ями!.. -

подтягивал ему Базарга.

А Чахлым сломил по дороге большую ветку тутовника, прикрылся ею, как зонтиком, и знает только чавкает, обгладывая сочные белые ягоды, сплошь усеявшие сорванную ветку.

Всем трем работникам мирзы Кудлая-бая, купца богатого, было почему-то очень весело, гораздо веселее, чем в первые дни их дороги до Намангана. Теперь они, по крайней мере, все трое ехали на верблюдах, благодаря таможенному окладу, значительно облегчившему их вьюки. Два верблюда - так те совсем шли без вьюков; только так, для виду, качались на их горбах ковровые коржумы и висели свернутые в пучки вьючные арканы, теперь уже оказавшиеся совершенно излишними.

- Чего разорались? обрадовались, собаки! - буркнул им через плечо мирза Кудлай.

- А тебе, хозяин, что до этого? Разве мы тебе мешаем? - прервал свою песню Алай.

- Осердился очень, - заметил вполголоса Базарга. - А кто виноват? расквакался, словно жаба перед дождем. Ну, те и рады придраться. "Не пеняй на других, баран, коли сам волку в зубы лезешь".

Бил я ее за это семью плетя-ями!

- Эй, купцы, куда верблюдов гоните? - крикнул таджик в красной тюбетейке, выглядывая из пролома огородной стенки, за которой виднелись правильные полосы табачных грядок, а дальше, за ними, частая щетина виноградных рогаток.

- Не верблюдов гоним, а караван ведем! - возразил Базарга и важно кулаком подбоченился, не хуже самого хозяина.

- Караван ведем! - встрепенулся мирза Кудлай и тоже подбоченился, да тотчас же опомнился, вздрогнул, съежился и назад оглянулся: не идут ли за ними лихие обидчики.

Но никого не было сзади. Ровною, гладкою, пепельно-серою полосой тянулась совершенно пустая дорога. Чуть-чуть, словно в тумане, виднелись вдали высокие башни зякетного двора, да и те скоро скрылись за садами, когда дорога свернула влево и пошла под гору, к дребезжащему жидкому мостику, у которого шумела и бурлила, хотя и маленькая, но зато чрезвычайно бойкая мельница.

Два-три легких облачка, словно клочки ваты, бежали по серовато-синему знойному небу; вместе сбежались, слились в небольшую плотную тучку и заслонили на несколько минут жгучий диск солнца. Тень пробежала по дороге; темнее стали листья на деревьях, почернели кудрявые карагачи. Все кругом словно нахмурилось, но подул из горного ущелья ветер и разнес, разметал скопившуюся тучу. И опять все засверкало кругом, опять все обдало ярким, ослепительным светом, заставившим Алая ниже, на самые глаза, надвинуть свою войлочную

шапку, а Базаргу прищуриться и прикрыться рукою, когда тому вздумалось присмотреться в даль: что это там за дымки вьются синими столбиками почти что под самыми горами?

Так и тоскливое настроение мирзы Кудлая рассеялось мало-помалу, должно быть, тоже под влиянием горного ветра, и он стал веселее поглядывать кругом и даже прикрикнул на своих людей, чтобы они не слишком растягивались по дороге, а то, мол, присматривать за таким караваном трудно.

- Ну, другой раз не проврусь! - решил богатый купец мирза Кудлай. - Разве насчет губернатора и прочего... ну, это еще, пожалуй... а насчет числа верблюдов - нет, уж это баста. Довольно! А то, пожалуй, все без торга по таможням проторгуешь.

И с этим решением мирза с своим маленьким караваном стал подниматься в гору, чтобы, перевалившись через нее, вступить в горную область, волнистою, ломаною линией расстилающуюся перед глазами путешественников.

Как ни близко казались горы, а добраться до них пришлось только к ночи. Пусто, безлюдно было кругом. Отчетливо шлепали по кремнистой твердой дороге мозолистые ступни верблюдов, звонко гудели колокольчики на их шеях, и этот звон далеко разносился по ущелью, подхваченный горным эхом.

Стемнело. Верблюды притомились, хозяина и его рабочих стала одолевать дремота; никакого жилья, никакой загороди не виднелось кругом, ниоткуда не слышался приветливый лай дворовой собаки.

- Здесь, хозяин, ночевать будем. Вот тут, в сторонке, - окрикнул Алай (он уже хаживал по этой дороге прежде, с другими караванами, и взял на себя обязанность чего-то вроде путеводителя). - Мне здесь знакомо хорошее место: тут вот сейчас, за этою горою, ключи будут, мы тут и станем.

- Сворачивай! - крикнул мирза Кудлай.

- Сворачивай, Базарга! - передал Алай дремавшему товарищу хозяйское приказание.

Свернули.

Небольшое, гладко утрамбованное пространство, защищенное со всех сторон скалистыми уступами, расстилалось перед ними, все усеянное высохшим верблюжьим и конским пометом. На одной скале, отвесною стеною поднимающейся с ветреной стороны, виднелись закопченные пятна, и около них кучи золы и обгорелого хвороста; кое-где разбросаны были почерневшие от огня и дыма камни, видимо, служившие таганами под походными котлами и кунганами. Обрывки веревок, лоскутки бумаги и разного тряпья тоже виднелись на темно-красном фоне гранита, - все эти предметы ясно свидетельствовали, что это место давно уже служило приютом для запоздалых путешественников.

- А вот тут сейчас и ключ... хорошая вода, холодная! - указал на расщелину Алай. - Давай ведра, Чахлым, я принесу сейчас, а уж вы с верблюдами возжайтесь.

- Сними меня, эй, люди! - крикнул мирза Кудлай; - расстилай кошмы и огня разложите, живо!
- Очнулся! - произнес Базарга и снова затянул:

И бил я ее семью плетями!

Живо расположились на покой привычные лаучи. Для хозяина разложены были кошмы, а поверх них большой ковер. Огонь весело затрещал, и красное пламя принялось лизать скалистый выступ, накладывая новые слои копоти; кунганы с водою поставлены были в самый жар и уже начинали шипеть и брызгаться; Чахлым уже налил в чашку воды, положил туда горсти две рису и принялся его промывать, пропуская сквозь пальцы. Базарга вытряхивал семена из торбы и сыпал прямо под морды положенных рядом верблюдов.

- Кальян! - важно, совсем по-хозяйски, покрикивал мирза Кудлай, потягиваясь на мягком, узорном ковре и расправляя свои заочневшие от долгого сиденья ноги.

- Смотри, тут нельзя всем дрыхнуть: один кто-нибудь пусть на стороже стоит, - говорил Алай, раздувая кальян. - В прошлом году этак заснули все разом, к утру проснулись, а двух скотин как и не бывало - вместе с вьюками угнали. Тут это живо!

- Вор народ! - произнес Базарга.

- Пускай сунутся! - пожал плечом мирза Кудлай. - Раз мы с русским губернатором...

- Да уже ты лучше молчи, - оборвал его Алай. - Ведь свои все, чужих нету, кого морочишь хочешь?

И замолчал хозяин мирза Кудлай, потому вспомнил, что, действительно, все свои и морочить некого.

Поели, чаю напились, спать залегли. Чахлыма сторожить заставили.

- Эй вы, купцы, вставайте! чего разоспались!.. - разом поднял всех на ноги громкий окрик.

Вскочил Алай, поднялся Базарга, встрепенулся и дремавший сторож Чахлым. Сам хозяин мирза Кудлай тоже очнулся, сел и кругом озирается заспанными, ошалелыми глазами.

Совсем рассвело, и все бы видно было кругом, если бы не этот беловатый, жиденский туман, пеленою заставший все окрестности. Человек шесть конных окружили караван и вьюки пересматривают. Были тут и кольчуги, и верблюжьи халаты горных каракиргизов; даже красный халат был один, тот самый, что всех на ноги поднял своим богатырским криком. У всех клынчи были за поясами, мултуки за спинами, а у одного даже пика длинная, с повязанною на конце белою тряпкою.

Не сразу поняли, в чем дело, растерявшиеся лаучи, а хозяин мирза даже и слова не мог вымолвить; сидит да во все стороны поглядывает.

- Кто такие, куда идете и откуда? - спросил красный халат.

- А тебе что? - отозвался наконец прежде всех опомнившийся Алай.

- Кто хозяин? ты, что ли? - допрашивал красный халат и начал слезать с своей пегой лошади.

- Отстань! Не я хозяин, - отшатнулся Алай. - Вон, видишь, хозяин сидит; а мы простые работники!

И он указал на мирзу Кудлая, тоже поднявшегося на ноги.

- А, ты? ну, отвечай! Эй, там, не трогайте тюков пока, до времени!

- Откуда?

- Из Ташкента, вот откуда! - решился наконец вымолвить слово Кудлай.

- Какой товар?

- Разный.

- Красная мата есть?

- Есть!

- Давай на каждого красной маты на халат и сахару по тычку на человека [тычком называют сахарные головы маленького формата]. На шесть человек; живо отпускаяй, не задерживай! Нам некогда!

- За что я давать буду? Ничего не дам. Кто ты сам такой? говори! чего на людей по ночам нападаешь? - расхрабрился мирза Кудлай.

- И деньгами по четыре кокана на человека, ну, скорее! - продолжал красный халат, не обращая никакого внимания на возражение несчастного купца-хозяина.

- Да за что ты это берешь?.. За что?..

- Ты куда идешь?

- За горы!

- Ну, так здесь настоящая таможня и есть. Это с тебя зякет берут; нельзя же без зякета. Где ты слышал, чтобы без зякета кому торговать позволялось?

- Платил я, все заплатил... Много заплатил! у меня и кагас есть из наманганского зякетного двора; от самого старшего зякетчи кагас есть...

И мирза Кудлай стал торопливо рыться за пазухой, отыскивая выданную ему квитанцию.

"Хорошо, что я ее взял! - думал Кудлай. - Вот я ее сейчас покажу и замажу рот этому горластому дьяволу. А вот она, вот!"

И он с важным видом протянул тщательно сложенную, припечатанную зеленым воском бумагу.

- Покажи! - протянул руку красный халат. - Эй ты, Байтан, ты разбираешь писанное. Ну-ка, посмотри.

Одна из кольчуг тоже слезла с лошади и, прихрамывая, подошла к мирзе Кудлаю.

Долго ворочала кольчуга Кудлаеву квитанцию, заглядывала и на другую сторону, и наконец возвратила ее по принадлежности, сказав:

- А шайтан знает, что тут написано!

- То-то вот! - ободрился Кудлай, - а тоже сборщиками называетесь... дайте разве уж я сам вам прочту...

И он, важно откашлявшись, стал водить пальцем по бумаге.

- Да ты когда же читать-то научился? - покосился на него Алай: - брось!

- А вот слушай, слушайте и вы! Гм, гм... "Высокоименитый купец, мирза Кудлай, самый богатый во всем Ташкенте, нет ему равного по всем землям, что отошли..." гм... гм... - фантазировал Кудлай.

- Э-эх, совсем заврался! - махнул рукою Алай и отошел в сторону.

"...По всем землям, что отошли к Белому царю, - вошел окончательно в роль несчастный Кудлай, - ведет в Кашгар и дальше большой караван, и счетом этот караван в двести четыре головы. Все пошлины зякетные он заплатил сполна, и никто его трогать больше не должен, потому что, если кто его тронет, то тому и от главного зякетчи, и от хана кокандского Худояра, и от русского губернатора, и от самого Аллаха такая беда будет, что..."

Мирза Кудлай окончательно заврался и не знал, что и сказать больше. Он поднял голову и с торжествующим видом посмотрел кругом.

Одного его верблюда совсем развьючили и товар из тюков вытащили; Алай, Базарга и Чахлым отошли в сторону, сели на корточки и смотрят издали, чем все это кончится. Красный халат стоит перед ним и пристально его с ног до головы оглядывает.

- Кончил? - произнес он.

- Кончил.

- Так двести четыре верблюда? где же остальные?

- Сзади! Эй-эй, там! Зачем трогают? Вы, воры, оставьте!

- Слушай! - остановил его за плечо красный халат. - Нам твоих караванов дожидаться некогда, ты уже теперь за всех плати. Понял?

Тут уже Алай не выдержал, подошел к красному халату и начал:

- Знаю я вашего брата, что ты тут за сборщик такой. Грех обижать людей мирных. Получил по халату, сахар и без того весь забрали, чего же тебе! Ну и ступай своею дорогою, других таких же ищи, а то с одного барана семь шкур драть не приходится.

- Верно! - произнес красный халат, во весь рот осклабился и хлопнул по плечу смелого лауча.

- Эй! собирайся в дорогу! - крикнул он своей шайке. - А верблюдов двух все-таки заберите, потому они им теперь совсем лишние! - отдал он совершенно уже неожиданное распоряжение.

- Эка шельма ненасытная! - выругался Алай и тотчас же получил по затылку кожаными ножнами от шашки.

- Не трогай! - вцепился обеими руками мирза Кудлай за повод и турманом отлетел в сторону, и покатился по земле, разметав своим халатом остатки ночного костра.

Живо распорядились сборщики и погнали по дороге, оставив нашего купца с двумя только верблюдами и с разодранными, приведенными в совершенный беспорядок товарными тюками.

Солнце поднялось над горами. Ослепительно блистали вечные льды далекого края. Туман рассеялся, и долго еще мог видеть Кудлай с своими лаучами удаляющуюся шайку, в которой между лошадьми раскачивались и переваливались со стороны на сторону две большие бурые массы, подгоняемые усердными нагайками удиравших без оглядки "яу".

Х. Мирза Кудлай покончил свою торговлю.

Долго возились лаучи, пока уладили и привели все в порядок. Мало добра осталось у Кудлая, просто и везти не стоит; и решили назад в Наманган возвратиться, чтобы продать там остатки, продать верблюдов и покончить неудачно начатое торговое дело.

"Если продать все, - думал Кудлай, - выручить можно тыщонку коканов; заберу деньги, вернусь домой, другую торговлю затею. Лавку найму, кунганы заведу, самовар и чай-хане на русском базаре открою; пушу подешевле, покупатели ко мне повалят со всех сторон; у всех других перебью торговлю, а у себя еще открою. Прислуги наберу человек двадцать, не то что теперь - каких-нибудь трое оборвышей. Русские вот арак пить любят, я и арак продавать буду. Музыкантов найму, томаша каждую ночь будет, и все "тюра" будут ко мне съезжаться. Разбогатею живо, дом большой куплю в самом городе, у базара. Нет, лучше на большой улице, у самого губернаторского дома. Русскую повозку куплю, такую, что на четырех колесах ходит, и железные качалки внизу подстроены, и по их каменной дороге целый день ездить буду. Джигиты впереди, джигиты сзади, джигиты по бокам; все в красных халатах, и пушки медные с ними. Народ повалит смотреть, все ничком лягут, а я их в плети, а я их в плети... Го-го!.. Бац, бац, бац!.."

- Ты чего это? Ошалел на радостях? - окликнул его Алай.

- А? - опомнился размечтавшийся мирза Кудлай и сразу, словно в воду, окунулся в грустную действительность.

- А в Намангане все знают, все меня видели - как я теперь покажусь? Мимо караван-сарая муллы Саида идти придется! Засмеют! оплюют всего. О, Аллах, Аллах! целый турсук горя и бед вылил ты на мою несчастную голову. Поворачивай верблюдов опять по прежней дороге - эй вы, люди! Не поеду я назад в Наманган. Там, за горами, я продам свой товар выгоднее... Ну, заворачивай.

- Ну? - поглядел Алай на Базаргу.

- Ну? - поглядел Базарга на Алая.

- Да нам-то что за дело! Как знает, так пускай и делает, а нам все равно! - решил за всех Чахлым.

И верблюдов завернули опять к горам, и опять поплелись по той же знакомой, кремнистой дороге, приведшей их на место злополучного ночлега.

Прошли мимо то проклятое место; к полудню еще к одним родникам успели, отдохнули и тронулись дальше.

- Впереди народ! - оглянулся шедший в голове Алай.

- Так что же? - спросил мирза Кудлай, и душа у него ушла куда-то далеко-далеко, почти что в самые концы его острых каблуков, упершихся в косматую верблюжью шею.

- Красный шайтан опять с ними! - сказал Алай.

- Ну, так не тронут! - заметил Базарга.

- Эти больше не тронут! - согласился Чахлым.

- Не тронут! - машинально повторил за ними мирза Кудлай.

- Аллах благословил путь ваш, - приветствовал своих знакомых красный халат, подъезжая к каравану. - Вот вы и до второго зякета благополучно доехали... с каким товаром?

- Знаешь ведь! - угрюмо произнес Алай.

- Знаю, да это так, для порядку, спрашивается! - усмехнулся халат.

- Взял с нас, пропускай!

- Так вот, сейчас; разве без зякету торговать можно?

- Дьявол ты эдакий, ведь взял уже на ключах с нас, за что же теперь трогать? эдак, кроме тебя, еще много охотников до зякету найдется!

- Кроме меня нету! я здесь по всем горам первый сборщик!

- Яу ты, простой яу, больше ничего! *Кола* тебе мало за твои сборы!

- Гляжу я на тебя, - пристально посмотрел на Алая красный халат, - и дивлюсь только: борода с проседью, а совсем дурак! Сколько нас, гляди! а сколько вас? Что же ты артачишься? Видишь, сам хозяин умнее тебя: сидит, знай, молча, и глазами хлопает. Эй, мирза, слезай скорее, что ли!

- И впрямь дурак я! - согласился совершенно спокойно Алай и сел на ближайший камень.

Только одного верблюда оставили сборщики мирзе Кудлаю и его людям; все разобрали до последней нитки, сняли даже чалму его необъятную и его халат полосатый.

- Что же, хозяин, как же теперь? - подперся в бок Алай.

Молчал богатый купец, уперся в землю, и по бороде его что-то заструилось и капнуло на камень.

- Как же мы теперь? Нас трое, нанял ты нас, денег нам еще не платил и платить не будешь, потому их нет; с чем же мы теперь останемся? Ну, говори. Стой, стой, стой! куда вы, черти?

Смотрит Алай, а Базарга с Чахлым вдвоем на остальном верблюде дуют себе назад по наманганской дороге. Они сразу порешили, что делать. Не стали, как Алай, хозяина спрашивать.

- Нет уж, этого не будет! - решил Алай. - Делиться верблюдом, так уж всем трем, не на две только части.

И, ничего не сказав хозяину на прощанье, пустился лауча бегом догонять своих товарищей.

Один-одинешенек остался на камне мирза Кудлай-бай, купец богатый, и не утирал даже слез своих, щекотавших у него под носом, пробиравшихся по бороде и с тихим звуком падавших на кремнистую дорогу.

Вплоть до самой ночи сидел так мирза Кудлай. Вот стемнело кругом. Холодно стало без чалмы и халата. Продрог купец. Чу! прислушивается.

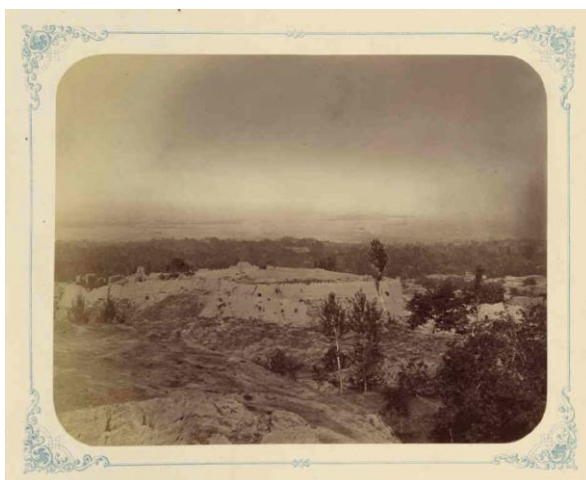
- Хи-хи-хи! - тихо смеется кто-то справа.

- Хи-хи-хи! - так же тихо и зло подсмеивается слева.

Поднял голову Кудлай, поглядел - и сразу пожелтел весь от ужаса. Зубы у него застучали, ноги подкашиваться начали, морозом насквозь всего прохватило.

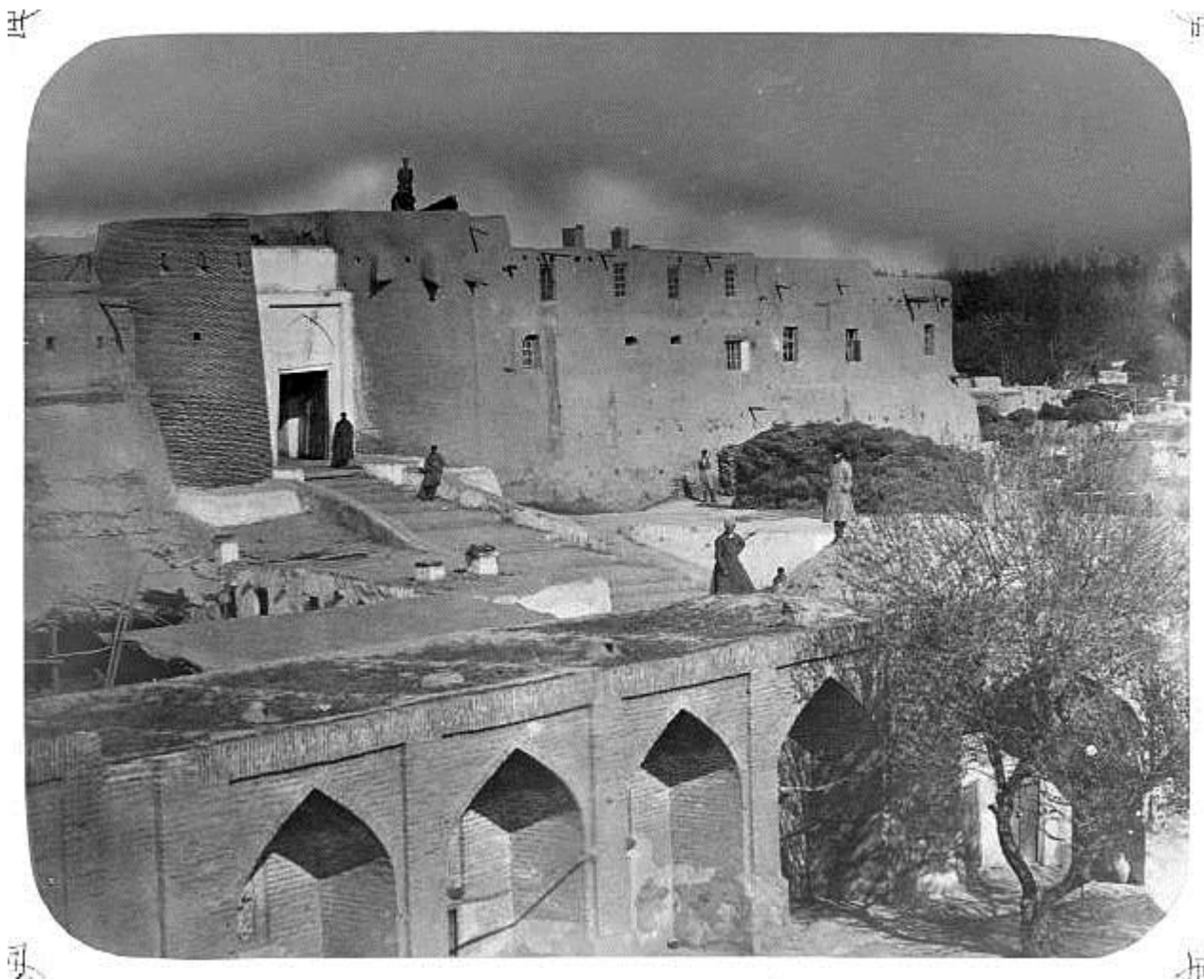
Справа сидит на карточках Сары-Таук, слева Кизыл-Псяк; одной рукою на горла свои перерезанные показывают, другою кулаком ему грозятся, и оба длинные-предлинные языки высовывают.

Вскочил на ноги несчастный шакал, дико на все горы вскрикнул - и понесся этот нечеловеческий вопль по ущельям, будя заснувших там орлов, поднимая на ноги встревоженных необычайным звуком горных баранов.



Вид Ургутской цитадели во второй половине XIX века

Докторша



Цитадель города Кятты-Кургана. 1871-1872

Это случилось в 1868 году в Катта-Кургане.

Мы только месяца три, не больше, как заняли этот, прежде бухарский, город, но по привычке успели уже основательно в нем устроиться и завести знакомство с главнейшими представителями его обитателей. Один из них стал даже большим моим приятелем; почему мы с ним особенно сошлись, трудно сказать - просто, должно быть, по душе пришлись друг другу.

Но должности он был сборщик податей, значит, по-здешнему, сяркер, а звали его Годдай-Агаллык.

Это был человек лет тридцати, высокого роста, статный, с бородою длиною, черною и курчавою, с большими, очень выразительными глазами и характерною особенностью в очертании бровей: - две правильные черные дуги - вплотную сходились над его крупным, но правильным носом, придавая всему выражению лица вид необыкновенно решительный и энергичный, хотя мягкая, добродушная улыбка почти не сходила с его уст и говорила скорее в пользу совершенно противоположных свойств истинной души их обладателя.

Сяркер был, по местным понятиям, человеком очень образованным и даже начитанным. Он знал хорошо коран, и шариат в особенности, помнил наизусть множество стихов из персидской поэзии и любил их цитировать, готовился в духовные лица в первой молодости, но судьба устроила его иначе.

Лет в двадцать он был уже известен эмиру Мозофару, служил при его дворе, потом что-то там случилось неприятное, имевшее своим, еще, слава Богу, счастливым, последствием перевод его в Катта-Курган; здесь он болтался некоторое время без дела, наконец, пройдя ряд повышений, достиг довольно высокого сана - сборщика податей, в каковом и состоял до завоевания города русскими. Многие из местных сановников бежали при нашем появлении, Годдай остался и явился к нашему генералу во главе покорной депутации от Катта-Кургана, вынесшей навстречу победителей хлеб-соль и ключи от городских ворот.

Мы его оставили в его должности, расширив только ее права и обязанности. Сяркер был очень доволен нами - мы им. А так как бежавшие власти, после окончательного разгрома бухарских войск под Зарабулаком, увидав, что дела их не повернулись особенно к худшему, возвратились обратно, то по ходатайству Годдая-Агаллыка тоже получили свои прежние назначения, так что в порядке управления покоренным народом в сущности пока ничего не переменялось.

Народ был избавлен ото всех воинских повинностей, чему, конечно, был очень рад, подати с него немного облегчились, самый сбор упорядочился, в духовную сторону жизни народной завоеватели и не думали вводить ничего нового: семья и все связанные с нею отношения остались в ведении духовных судей, каззы и мулл, по-прежнему, только смертная казнь была изъята из ведения этих судей и назначалась только за очень серьезные, чисто уголовные преступления, - русским военным судом, - одним словом, побежденные очень скоро поняли, что дело вовсе не так худо, как их пугали, и перестали, наконец, верить нелепым рассказам фанатиков из духовных, говорящим, что *белые рубахи* пришли не по воле Господней, а от дьявола, дабы, ослепив правоверных временною ласкою и терпимостью, мало-помалу подготовить насильственный перевод их из лона истинной веры Магомета в свою поганую веру.

Пробовали и так еще пугать, что, будто бы, русские непременно откроют все двери их гаремов и отберут всех жен молодых и красивых, а оставят им только старых, никуда уже не годных.

Этому поверить было легче, потому что и сами правоверные так бы поступили со своими побежденными, но и эта попытка отклонить народ от более тесного сближения с гяурами не удалась также, опять-таки потому, что мы ничем не обнаружили таких именно завоевательных наклонностей.

Город скоро зажил своею обыденною, мирною жизнью, базары закипели народом, лавки поткрывались, стало даже как будто люднее, во всяком случае, оживленнее, чем прежде.

Богатые туземцы устраивали нашим офицерам вечера, томашу с местной музыкой, достарханом, фокусниками и плясками батчей. Мы тоже, в свою очередь, устраивали для туземцев скачки на призы, и в дни рамазана ваши пушки салютовали с крепостных барбетов мусульманским празднествам...

Все шло очень хорошо, пока одно обстоятельство чуть было не нагнало тучку на ясное небо нашего взаимного доверия и сыграло очень печальную роль в жизни моего приятеля, сяркера Годдай-Агаллыка.

К нашему доктору неожиданно, с одной из почтовых оказий, приехала его жена, Нина Леонтьевна, красивая, полная блондинка, бойкая, развязная, а что самое главное, первая русская женщина, с открытым лицом появившаяся в Катта-Кургане.

Докторша была родом уральская казачка, воспитывалась в уральском пансионе и прекрасно говорила по-киргизски, а от этого языка недалеко и до татарского. С помощью этих лингвистических познаний, Нина Леонтьевна могла свободно понимать все, что говорили ей туземцы, и быть, в свою очередь, для тех вполне понятною, одним словом, объясняться со всеми без переводчика.

Годдай-Агаллык первый познакомился с этою дамой, зайдя ко мне на вечерний стакан чая и застав у меня доктора с супругою.

- Какой он страшный! - вскрикнула Нина Леонтьевна при первом представлении.

- Он, однако, очень интересен, - томно заключила она при расставании, в конце вечера.

Сам Годдай сначала был смущен до крайней степени видом этого веселого женского лица, без застенчивости смеющегося прямо ему в глаза, и красотой ее полного стана... (докторша, по случаю жары, была одета очень легко и даже значительно декольтирована), а мой приятель немного хворал, почему позволял добавлять в свой стакан лекарство, в виде коньяка (вино ведь строго запрещено кораном, а лечиться дозволяется), и в конце вечера тоже развязно разговорился с дамою, выразительно скользя своим взглядом по ее формам. Он даже рискнул осторожно прикоснуться пальцем немного повыше локтя Нины Леонтьевны и, приложив этот палец к своим губам, произнес, причмокнув:

- Чистый сахар!..

И доктор, и я, а пуще всех сама соблазнительница, хохотали от души... Всем было очень весело.

- А сколько у вас жен? - так-таки прямо и спросила у Годдая Нина Леонтьевна.

Такого щекотливого вопроса, признаться сказать, я, приятель его, до сих пор не решался задавать, да и в голову мне не приходило удовлетворить в этом направлении свое любопытство. Я посмотрел на Годдая даже с некоторым испугом.

- Штук двадцать, я думаю, - вмешался сам доктор.

- Неужели так много?.. - протянула Нина Леонтьевна. - Ах, какой вы нехороший... Ай-ай, как не стыдно!..

Но Годдай-Агаллык недаром получил при дворе эмира светское воспитание; он смутился, правда, немного, но оправился и отвечал:

- Сколько бы их ни было, а все-таки все они не стоят одного ноготка от такой ручки...

При этом он снова сделал попытку повторить свое первое прикосновение...

- Он, право, очень мил, - улыбнулась докторша, но эти слова произнесла уже по-русски...

- Вы их запираете, бьете?.. Вы, говорят, очень нехорошо относитесь к своим женам? - заговорила опять дама, по-моему, так даже не особенно прилично, так что мне опять стало неловко.

- Да не говори, Нина, глупостей! - остановил ее и доктор.

Но собеседница наша разошлась вовсю и не унималась. Она настояла-таки на своем и добилась от Годдая, что тот пригласил нас всех на другой же день к себе и пообещал ей пустить ее в гарем, но одну, конечно, без мужа, где она может вполне убедиться в полной неосновательности слухов о гаремной жизни.

- Увидите сами, - говорил сяркер, - как я их одеваю, как кормлю на убой, и сами спросите, часто ли наказываю за малости... что же им еще больше.

Уехали гости.

На другой день рано утром приехал ко мне Годдай просить заехать к нему посмотреть, хорошо ли он все приготовил для приема гостей.

- Кого просил? - спрашиваю.

- Полковника, - говорит, - того, что пушками заведует, адъютанта, доктора с его бабой, так что с тобою русских будет шестеро, а из своих четырех аксакалов (старшин), пятого самого каззы. Не хотел было ехать, узнав, что русская женщина будет, да я уговорил. Сам шестой, вот и равное число, попарно.

Поседлали мне коня, поехали мы с Годдаем осматривать все устройство. Хорошо, очень хорошо украсил сяркер свое жилище.

На ворота ковер повесил, дорогу через первый дворик, где навесы для лошадей, войлоками устлал и по ним канаусовую дорожку проложил; второй, приемный двор с открытыми саклями для гостей, тоже сплошь убрал коврами и цветным канаусом, посреди двора этого большой развесистый карагач рос, на всю площадку густую тень бросал, тут было огорожено фонарями место для музыкантов и приглашенных батчей-плясунов; на глинобитном широком возвышении, на узорных скатертях, чего-чего не было наставлено, пока еще кроме горячих блюд, одни лакомства, даже сахар лежал целыми головами, в синих бумажных обертках. А из этого дворика узенькая и низкая калитка вела на третий двор, где сакли для жен были расположены; из-за стенки, в которой эта калитка была пробита, виднелась плоская крыша

самой гаремной сакли, тоже вся в тени от окружающих ее деревьев, и на стене стояла, растянутая на веревках, перегородка из палаточных боковин, и перегородка вся эта колыхалась, потому что во все ее щели искрились любопытные глазки затворниц, для постороннего ока недоступных; я кивнул было в ту сторону, как бы спрашивая хозяина:

- Ловко ли?

- Что ж делать! - пожал тот смиренно плечами, - всю ночь спать не давали, упрашивали... Ничего, пускай посмотрят!

Одобрив все заботы сяркера, я было хотеть ехать назад, но хозяин задержал меня и повел в саклю поговорить пока что и покурить кальяна.

Пошли и уютно засели за чай и табак.

Долго собирался сказать мне что-то Годдай-Агаллык, даже кругом посматривал, одни ли мы глаз на глаз, наконец, прорвался.

- Слушай, - говорит, - ты мне друг?

- Ну, друг, - отвечаю.

- Сколько доктор возьмет за свою бабу? Я дам хорошую цену!

Я так и покатился от смеха. Годдай обиделся и говорит:

- Чего же ты смеешься?

- Да у нас разве так продают, что ты это! Сколько же раз я тебе рассказывал, как у нас делается, знать бы должен.

Задумался мой хозяин, долго молчал, тяжело затягиваясь дымом кальяна, а потом заговорил, словно про себя.

- Продают... гм... Все продается, лишь бы цена была подходящая... за сто не продаст, продаст за тысячу, за тысячу не продаст, отдаст за десять... Все продается... Все купить можно, были бы деньги... Что бабу, пустяки! Душу самую продают другие... Ты спроси и доктора... я все, все продам, все в деньги обращу. Очень мне уже баба его эта светлая понравилась...

- И не говори глупостей, - успокаивал я его, - только меня, своего друга, осрамишь при других такими речами.

Годдай разгорячился.

- Ты вот говоришь, не продают жен, не продают, да? А как же мне говорили, что один из ваших генералов у своего чиновника жену купил, да еще не за деньги, а за два чина и орден?.. Не было, скажешь?

Тут я и сам опешил. Ну как я ему объясню, как это и что это, и в чем тут разница. Начал было я путать, да и договорился:

- Это, - говорю, - потому так случилось, что жена чиновничья очень генерала полюбила и ушла к нему от мужа, - а, мол, чины и прочее - вроде как бы утешения для мужа были доставлены, чтобы не убивался очень...

- Гм... - посмотрел на меня выразительно Годдай... - Теперь понимаю. Ну вот, скоро и гости приедут. Ты сиди здесь, спрашивай чаю, чего хочешь. Не я теперь - ты хозяин, а я пойду за ворота встречать.

- Едут! - вбежал, запыхавшись, один из хозяйских джигитов.

- Подъехали! - прибежал второй.

- Ну вот, как раз в пору! - кивнул мне Годдай-Агаллык и, оправив свой роскошный парчовый халат, затканый розами, подпоясанный дорогим поясом, солидно и степенно пошел гостям навстречу.

Приехали наши, действительно.

Доктор с докторшей в таранасике, полковник с артиллеристом и адъютантом Бобковым верхом, и конвой для почета казачий с ними. Все в чистых кителях и с орденами, а докторша, Бог ей прости, так вырядилась, такое декольте благоустроила, что даже джигиты все выпучили глаза, как бараны на новые ворота.

- Матушка, Нина Леонтьевна, да вы бы... - заметил было я шепотом.

А она:

- А много вы понимаете!

Уселись по местам, вокруг досторхана, подушками шелковыми обложились. Так, прямо посредине, на почетном месте, Нина Леонтьевна с полковником рядом, а с другой стороны у докторши сел артиллерист Мюндельберг, будто бы назло прозевавшему позицию Бобкову, рядом с полковником место хозяину оставили, а около я с доктором. Вслед за нашими и аксакалы вошли во главе с самим каззы, дряхлым стариком, очень злобного и ехидного вида. Эти давно уже за воротами оставались, да не входили, чтобы оказать почет полковнику.

Сели, помолчали минуты две, Нина Леонтьевна потянулась за фисташками, лукаво улыбаясь Годдай-Агаллыку.

- Ну-с, - начал полковник ласковым и вместе строго покровительственным тоном, - вот я и у тебя, почтеннейший Годдай-Агаллык... Я должен тебе сказать, что генерал тобою очень доволен. Эти персики из твоего сада?

Я перевел это начальственное вступление, заменив, конечно, ты словом вы, как здесь принято, и сообщение, вымышленное, конечно, о довольстве генерала все-таки облек в более подходящую форму.

- Не имею слов выразить мою признательность, - отвечал, отвесив низкий поклон, сяркер. - Когда сердце переполнено, уста грубое орудие для выражения его ощущений.

Перевел и это я по-русски, позаботившись тоже, чтобы полковник понял всю тонкость ответа.

- Да, доволен! - кивнул головою тот.

- Что стоит ваш прелестный халат? - спросила хозяина Нина Леонтьевна.

Годдай вздрогнул, встал и быстро исчез за ковром, скрывавшим внутренности сакли.

- Что с ним? - удивленно взглянула на меня докторша.

- А вот увидите сами, какую вы неловкость сделали, милая барынька, - укоризненно покачал я головой. - Ну разве так можно? Вы хоть бы меня спросили.

- Да что ж такое?

Но в эту минуту появился вновь хозяин, извиняясь за невольное отсутствие. На Годдае теперь был надет другой халат, куда лучше первого, голубой бархатный, весь сплошь залитый персидским золотым узором.

- Вы переоделись? - вскрикнула было Нина Леонтьевна, но я ее вовремя остановил... и слава Богу!

- Тот халат отослан к вам на дом, - сообщил сяркер, - я так счастлив, что моя одежда удостоится, быть может, послужить вам ковром для ног.

- Как это мило... - сконфузилась наша барыня и потом добавила: - ну, Годдай-Агаллык, так, кажется, вас зовут, я не знала, какой вы - теперь сами виноваты! Я ничего не буду хвалить у вас в доме, ничего, - сами виноваты.

- Что ты, душечка, пролопотала там по-татарски? - переспросил ее муж.

- Ничего, не твое дело.

- То есть, позволь, однако, мой ангел.

- Супруга ваша очень умно ответила на любезность любезностью, - вошел я опять в роль дипломата-переводчика.

- Очень, очень доволен! - покрутил усы полковник.

- Как все это дико! - вымолвил, наконец, слово и капитан Мюндельберг.

- Батчей ведут! - первый заметил Бобков приближение труппы танцоров.

- Наше угощение скромное, и забавы, которые мы можем предложить дорогим и высоко сановным гостям, также скромные, прошу извинить и не гневаться на нашу нищету - произнес Годдай-Агаллык и, обратись к безбородому старику, хозяину труппы, сказал:

- Начинай, Мусса, свое представление!

Начали батчи.

И пели они, и плясали, и кувыркались, и разные штуки представляли. Чалмоносные гости были очень довольны и смотрели даже с жадностью, Нина Леонтьевна сначала заинтересовалась немного, потом ей это надоело. Бобков все ловил крайнего батчу за ногу, а тот ловко увертывался, Мюндельберг что-то стал в книжку записывать, а полковник тщательно оберегал свое величие, но ему ужасно мешали его ноги в ботфортах: - на ковре сидеть неудобно было в геройской позе, сразу как будто бы и хорошо, а потом затекают - и так и хочется их вытянуть запросто, или под себя подвернуть калачиком.

Доктор, должно быть, замечал пристальные, даже немножко особенные взгляды своей супруги, которыми та по временам дарила Годдай-Агаллыка, и начинал сердиться.

- А что же вы меня обещали с своими милыми женами познакомить? Я ведь, главное, за этим и приехала, - встрепенулась наша дама и настойчиво повторила свое требование.

- Что она говорит? - также обращаясь ко мне, встрепенулся и ее супруг.

На этот раз я не удостоил его своим переводом.

Но лицу хозяина пробежала тень.

- Если русская женщина захочет удостоить своим посещением мое низкое родом семейство, она может войти.

- Отлично, идемте!

Нина Леонтьевна стремительно встала, довольно высоко подняла свою юбочку, чтобы, совсем бесцеремонно, перешагнуть через блюда с лакомствами, и спросила:

- А куда же идти? Сюда?

Она очень догадливо указала именно то направление, куда следует, да и немудрено: палаточные полы на крыше внутреннего двора так энергично заходили, что сразу обнаружили помещение невидимых зрительниц нашего пиршества.

- А вам, господа, нельзя! - засмеялась бойкая барыня по нашему адресу.

Годдай проводил ее до ковра, приподнял его полу, крикнул что-то повелительное, и тяжелый ковер снова опустился на свое место, проглотив пикантную фигурку нашей красавицы.

- Ну, теперь дам нет, - засуетился Бобков... - Попросите этих батчей показать нам что-нибудь эдакое повольнее, а помните, как...

Но желанию адъютанта не суждено было исполниться; батчи и их ментор, безбородый Мусса, отказались наотрез от этой дополнительной программы, робко подмигнув в сторону, где сидела поистине страшная, молчаливая и злобная фигура старого каззы.

Принесли блюда с горячим пловом из цыплят, с пупочками и печеночками, очень вкусно приготовленным, а так как мы уже нагуляли легкий аппетит, то и принялись за угощение; хотя и трудновато было с непривычки управляться без ложек, но так как я лично давно уже приспособился в этом направлении, то и не обращал особенного внимания на затруднительность положения моих товарищей по оружию.

- Горячо как, однако, - заметил полковник, обтирая пальцы о края шелковой скатерти.

Для чалмоносных гостей поставили особое блюдо, за которое и принялись они не только что с аппетитом, а даже с каким-то остервенением, кроме самого каззы, который, с нескрываемою злобою, даже отвращением, не спускал глаз с занавеса гарема.

Годдай-Агаллык сидел задумавшись, прислушиваясь к шуму голосов и даже криков, доносившихся с третьего двора, изредка покрываемых звонким, серебристым смехом знакомого нам голоса Нины Леонтьевны.

Так прошло еще минут двадцать, а может быть и более.

Вдруг голоса стали приближаться, ковер стремительно распахнулся, и к нам вбежала сартянка, с закрытым толстою волосяною сеткой лицом и в халате с длинными, узкими рукавами, позади накинута на голову.

Я, конечно, сразу узнал за костюмированную докторшу, но все остальные, особенно Годдай-Агаллык, немного растерялись от такого сюрприза.

Проскользнув на свое прежнее место и сбросив сетку с лица, Нина Леонтьевна, вся покрасневшая, пропахнувшая мускусом и розовым маслом, едва переводила дух...

- Ах, какие они смешные!.. Ах, какие обезьяны! - говорила она - хорошо хоть по-русски догадалась. - Они меня всю общипали. Они даже все шпильки из головы повиытаскивали...

И в доказательство полнейшего разгрома своей прически, докторша спустила с головы халат и предстала вся залитая густыми роскошными волнами своих золотисто-пепельных волос.

Вышло настолько красиво, что каззы не выдержал, кряхтя поднялся с места и, повернувшись к нам бесцеремонно спиной, удалился куда-то в темный угол.

- Однако пора и ехать! - первый высказался доктор.

- Пожалуй, пора! - согласился полковник.

Нина Леонтьевна стала заплетать свои косы и пока справлялась с этим многотрудным занятием, все поглядывала из-под руки на Годдая-Агаллыка.

- Я очень довольна вашими женами, - обратилась она к нему. - Они такие милые, добрые, а главное, вас очень хвалили. Это хорошо, очень хорошо, я их обо всем расспрашивала, обо всем решительно... очень хвалили... мерсі!!..

Все это она по-татарски сказала, а тут вдруг почему-то французским мерсі закончила. Кто их разберет, этих женщин, чем они руководствуются?..

- Готова, матушка? - досадливо проговорил доктор.

- Да, пожалуйста, не торопи меня, поезжай, коли хочешь; я могу и с Бобковым уехать.

- Очень буду счастлив, - восторженно воскликнул адъютант, польщенный таким предпочтением.

- Это у него за седлом, верхом что ли, по сартовскому положению, а в тарантас я его не пушу...

- Передайте, пожалуйста, хозяину, - обратился ко мне полковник, - что я лично очень ценю его службу и преданность русскому правительству. Это может служить для других прекрасным, достойным подражания примером и, кроме того, вообще ежели, а в особенности, там это, знаете, насчет своевременных и аккуратных взносов, как это там называется?.. да: зякет и херадж, танапные сборы, одним словом, генерал тоже очень, очень доволен, я ему доложу.

- Начальник очень доволен вашим приемом и благодарит вас за радушную хлеб-соль. Он извиняется, что усталость мешает ему дальше пользоваться гостеприимством вашего дома.

Кажется, что я перевел речь полковника довольно близко.

- Благодарю в свою очередь, благодарю за высокую честь, оказанную моему скромному, убогому жилищу, и льщу себя надеждой, что Бог еще раз пошлет мне это счастье, - с умеренным поклоном отвечал Годдай-Агаллык.

- Прощайте, Годдай! - окончила-таки прическу Нина Леонтьевна, встала и протянула хозяину руку.

Тот было хотел кинуться к ней и, по восточному обычаю, зажать эту руку между двумя своими ладонями, как вдруг отшатнулся и ограничился только тоже умеренным поклоном.

Из темного угла, на него в упор глядели два глаза, два единственных признака жизни на этом изможденном, мертвенном лице.

Я уже давно служил в этом крае, хорошо знал все местные нравы и обычаи, да и говорил по-ихнему недурно, совершенно свободно, поэтому все ко мне обращались за разными сведениями, официальными и неофициальными; вот и теперь, как только, простившись с сяркером, я догнал нашу кавалькаду, как первый Бобков обратился ко мне с вопросом:

- А можно будет этих батчей пригласить в нам в лагерь?

- Можно, - говорю.

- А сколько надо платить за один сеанс? - полюбопытствовал Мюндельберг.

- То есть, как это, за сеанс?

- Ну да, то есть за одно представление.

- Разно бывает, от многого зависит.

- Мне пришла идея, - сообщил полковник, - нанять двух таких, в виде, как бы вам выразиться...

На Кавказе у князя Духанского были два в приемной, в белых черкесках, с кинжалами, в таких же белых папахах и ярко-красных башлыках, они докладывали о посетителях, и когда князь выезжал верхом, ехали сзади, в виде как бы пажей. Очень красиво было. Здесь ведь это недорого, надеюсь?..

- Это можно, - говорю я. - Хоть эскадрон целый сформировать можно.

- Право, эта идея недурна! Как вы думаете?..

- Скажите, пожалуйста, - обратилась ко мне Нина Леонтьевна из глубины запыленного тарантаса. - Да подъезжайте поближе. Бобков, уступите ему свое место, только пылите мне в нос.

- А он разве пылить не будет? - обиделся наш адъютант, а все-таки тронул коня и подался в сторону.

- Вот эти все обезьяны, они верны своему мужу, конечно, поневоле. Запрут за десять замков, будешь верна, но все-таки бывали случаи измены. Я читала одну страшную историю...

- Случается, но очень редко, трудно, да и опасно...

- У них вот, - промычал доктор, - как что-нибудь подобное, так сейчас, как котенка, в мешок и в воду, и прекрасно...

- По этой теории, - обиделась красавица, - вас бы всех, мужчин, давно перетопить следует.
- Ну, матушка, сказала!.. Мужчины - статья совсем особенная...
- Только перебиваешь своими глупостями. Послушайте, я не договорила: бывает у них, чтобы мужа изменяли, да?
- Нет, этого не бывает - ответил я весьма решительно. "Эге, - думаю, - куда ты направляешься".
- Слышишь? - толкнула в бок мужа докторша.
- Ну да, так я и поверю, - проворчал тот.
- Ах, да, я слышала про такие гадости, ужас! Неужели и этот Годдай-Агаллык тоже?
- О нет! Мой друг человек воспитанный, - вступился я за своего приятеля, - к тому же, он человек со вкусом, как я уже заметил.

Сказав это, я не мог удержаться от улыбки.

- Я тоже заметила, - улыбнулась очень кокетливо Нина Леонтьевна.
- Ниночка, - заворочался на своем месте доктор. - Или подушки съехали, что ли, или уже ты очень на меня навалилась. Сидеть неловко, подвинься.

Но мы уже приближались к своему расположению, и доктору потерпеть оставалось недолго.

- Приходите к нам пить чай сегодня вечером, слышите, непременно! Мне еще о многом, о многом хочется поговорить с вами. Придете?

Я сказал, что буду, и мы расстались на повороте в лагерь.

На другой же день, рано утром, приехал ко мне Годдай. Он явился поблагодарить лично полковника и офицеров за вчерашнее посещение, и к первому заехал ко мне.

- Что она вчера у тебя там с женами говорила? - спрашиваю, - воображаю.
- В ответ на это Годдай-Агаллык только махнул отчаянно рукой.
- Не говори! - сказал он. - Там у меня старуха живет, мать Ассали, второй жены, та грозилась к каззы пойти с жалобой.

- Что так?

- Да уже так. Говорить даже не хочется...

Посидел у меня сякер с полчаса, выпил чаю и поехал "с визитами".

Вечером встречаюсь с полковником.

- Вы знаете, - говорит, - этот чудака прислал мне на дом массу всяких сладостей и даже блюдо с пловом. Все, что от вчерашнего осталось. Разве это так у них принято?
- Да, уже это обычай.
- Я все велел в докторше отнести. Куда мне эта дрянь!
- И прекрасно сделали.

Прошло дня три-четыре. Опять приезжает сякер, какой-то странный, растерянный, докладывает:

- А она ко мне еще раз приезжала.

- Одна?

- Нет, с мужем своим; привезла полотенце вышитое, говорит, сама работала, очень хорошее полотенце: две птицы целуются и джигит на коне скачет. Мои дуры сейчас в клочья изорвали, побил их. Да вот это еще привезла, только от мужа тихонько сунула. Вот это!

Годдай вынул неважный, подержанный серебряный портсигар, а на портсигаре надпись: "от благодарных пациентов".

Я даже расхохотался. Вот, думаю, в какие руки попало.

- Ну, так что же?

- Да то, что опять к женам ходила, целый час там сидела, а старуха не вытерпела и к каззы ушла.

- Чего же ты боишься? Ведь теперь власть каззы не Бог вещь какая. Не бойся, не велит тебя зарезать, это прежде бывало...

- Не боюсь я каззы. А злой он человек, строгой веры. Он у вас ни над чем не остановится. Да и не в том депо. А вот в чем! Спроси, будь друг, у доктора: сколько ему надо на *утешение*?

- Оставь ты эти глупости, - говорю я ему уже серьезно. - Ведь ты человек рассудительный, умный, не мальчик какой-нибудь взбалмошный. Неужели же она тебе так понравилась?..

- Сплю и во сне вижу, - чуть слышно проговорил сяркер и глубоко задумался.

"Ведь принесла же нелегкая сюда эту Нину Леонтьевну, - задумался и я. - Дама, видимо, с темпераментом, недаром об ней слухи ходили разные. Юнкер там один проворовался, а после пулю в лоб... Офицер один казачий спился с кругу. Дуэль была, да и не одна..."

- Не стоит она, - брякнул я вслух.

- Не говори, больших денег стоит, и сосчитать нельзя, чего не жалко за такую! - возразил мне Годдай-Агаллык.

Вот тут и разговоривай с ним после этого!

Опять прошла неделя благополучно. За это время докторша надумала верхом учиться ездить. Лошади у меня в конюшне, по правде сказать, были лучшие во всем округе, и между ними один жеребчик с таким ходом, что стакан воды поставь на седло, капли не выльется, а на поводу мягок так, что хоть шелковинки подвязывай, - и нравом смирный. Этого жеребца и выпросила у меня Нина Леонтьевна. Сам я и учил ее езде, скоро поняла эту науку моя барынька. Да и бесстрашна была. Сшила она себе юбку, такую с разрезом, черную, да шаровары широкие, суконные, чтобы верхом сидеть было удобно. Выедем, бывало, кавалькадой с господами офицерами; за нею не угонишься...

Доктор-муж сердится, а что поделаешь! Офицеры в восторге, полковник одобряет и сам в прогулках принимает живейшее участие. Раз даже и Годдай ездил с нами на своем золотом аргамаке. После такой поездки просили меня офицеры отобрать жеребчика у Нины Леонтьевны, а дать ей другую лошадь потише, а то гикнет она, вынесется вперед, ничья лошадь,

кроме годдаевского аргамака, не поспевают. Охота им пыль глотать, когда те невесть куда вперед унесутся...

Доктор сердился на меня почему-то и говорил:

- Этак и голову сломать недолго. Это сумасшествие! А все вы затеваете!

- Это на моем-то Угольке шею сломать? - вступался я за коня. - Будьте спокойны, ребенка не обидит, и нога верная...

Раз влетает ко мне доктор, а дело было часов в восемь вечера, темнеть уже начало.

- У вас жена?

- Нет.

- Она присылала к вам за лошастью?

- Присылала, и я отправил с джигитом, Шарипом.

- А где джигит?

- Велел я состоять при Нине Леонтьевне безотлучно. Вы не беспокойтесь.

- Как не беспокоиться? Обежал я все квартиры, все дома, с кем же она поехала?

- Да, должно быть, с Шарипом и поехала.

- Куда?

- Ну, этого я и сам не знаю. Вернется, у ней и спросите.

- Что она со мною делает, что она делает!..

И вдруг вижу я, доктор мой присел на кровать, закрыл лицо руками и давай плакать.

Посмотреть я на его фигуру, тощую, чахоточную, на эти длинные ноги с острыми коленами, впалую грудь, лысину во всю голову... Как сравнил этого мужчину с моим другом-красавцем, жалко мне его стало.

- Отправьте вы свою супругу назад, в Россию; ну, погостила и довольно... Вот скоро в поход выступим... опасности, нужда, лишения... Что ей с нами, солдатами, делать... Да и вы тоже сами не совсем в порядке здоровьем - просились бы в перевод куда-нибудь, подальше отсюда, покойнее было бы...

Вздрогнул доктор, будто кто его кнутом вдоль спины вытянул... Как вскочит он на ноги, да ко мне:

- Как, и вы заметили?

- Что такое? Я просто, желая вам добра, а вовсе ни...

- Я этого сарта проклятого пристрелю как собаку!..

Сказал это доктор, покачнулся и выбежал из моей сакли.

Ну, думаю: скверно!

Только, на другой день иду я мимо и глазам не верю. Стоить аргамак Годдаев у докторской квартиры и держит его джигит. Окна отворены настежь и слышен голос Нины Леонтьевны, да

такой гневный, крикливый, и говорит она смесью, половину по-киргизски, половину по-татарски... Слышу и доктора голос, только веселый и ободрительный:

- Так его, так его, хорошенько... Нажаривай!

Этот по-русски выражается, потому что по-здешнему ни слова не понимает.

Вхожу и вижу картину:

Сидит Годдай-Агаллык около стола и голову потупил смиренно, но сам ничего, улыбается. Докторша сидит за самоваром, в правой руке чайник, а левою кулаком по столу стучит, так, что даже посуда побрякивает, доктор по комнате ходит и весело руки потирает.

- Вы, - говорит Нина Леонтьевна, - как петух обзавелись курами... Все они дрянные, глупые, сложены прескверно, и серьги в носу носят... Как вы об эти серьги усы свои и бороду не выщипали. Они вас целуют, эти мерзавки... Как они целуют? говорите сейчас!.. Сразу все вместе, или поочередно? Они обнимают вас, ласкают... Ведь это животные, звери бессловесные, ведь с ними и говорить не о чем...

- Так его, так, хорошенько...

- Увидели меня... - Нина Леонтьевна вспыхнула вся и сразу смолкла. Годдай-Агаллык взглянул на меня особенно, по-праздничному, словно...

- А вот и вы! - бросился ко мне навстречу хозяин... - Слышали сейчас, как жена вашего приятеля отделивала?..

- За что?

- Да за вчерашнее... Ваш хваленый джигит, изволите ли видеть, с дороги сбился, а еще знает хорошо окрестности, да, слава Богу, случайно встретились вот с ним, с сяркером этим... Нина Леонтьевна боялась после Шарипу довериться, просила Годдая проводить до дому, а этот любезный кавалер отказался, сказал, что по службе идет... некогда... Сегодня приехал извиняться, вот и нарвался... Ну все-таки, Ниночка, довольно; нажгла и довольно!.. Ведь он азиат, где же ему нашей галантности набраться... Смени гнев на милость...

- И не сменю, покуда не разгонит свой курятник поганый, - крикнула его Ниночка опять-таки по-татарски.

Ого! это она со мною даже не стесняется нисколько.

Однако мой приход все-таки оказался примирительным. Нина Леонтьевна разливала чай уже несколько покойнее, даже первый стакан подала сяркеру, пододвинув в нему поближе сахарницу.

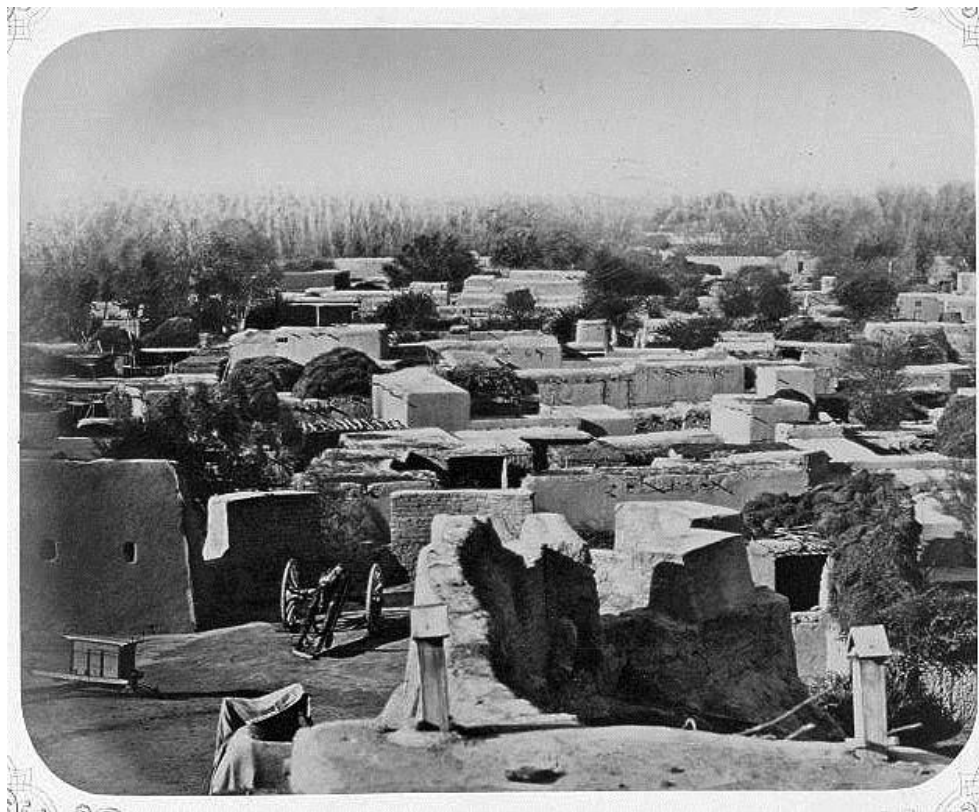
В тот же вечер, ложась спать, я свистнул Шарипу... Явился мой джигит, что лист перед травой.

- Рассказывай, да не ври!

- Приказала мне барыня, - докладывает Шарип, - проводить ее до Чаганака, там сад прежний, бековский, заброшенный, на берегу реки, там и сяркер, один без джигитов, оказался. Барыня

велела мне на дороге с лошадьми остаться, а сама в сад пошла... Потом вышла - и мы домой поехали... А больше ничего и не было.

Вот оно уже до чего дошло... Рандеву по всей форме... Что же это доктор так радовался?.. Вот, думаю, сам не поеду, а дождусь, когда Годдай меня навестит, тогда и к допросу его притяну, форменному. Что-то ты у меня запоешь, Дон-Жуан халатный?..



Кятты-Курган. Вид из цитадели. 1871-1872

Ждать долго не пришлось. Не прошло недели после докторского чаепития, приезжает ко мне этот Дон-Жуан, да поздно, часу в одиннадцатом вечера.

- Я, - говорит, - к тебе на всю ночь. Я тебя не стесню. Мне хоть в конюшне, на сене, выспаться, а домой ехать я не хочу.

- Что так?

- Дома у меня нехорошо, и не знаю даже, как теперь справиться с ними...

- С кем это?

- Да с женами и, главное, с этою старухой проклятою...

- Знаешь, что я тебе скажу, Годдай, - начал я самым серьезным тоном. - Во-первых, скажи, совершенно откровенно, считаешь ты меня своим другом?

- Считаю!

Годдай-Агаллык вспыхнул, оживился, даже в объятия ко мне потянулся.

- Понимаешь, - говорил он, - понимаешь, моя душа - половина твоей души. Мой ум - половина твоего, мои руки обе... вот они, хоть отрежь сейчас и бери себе, обе для тебя.

- Пстой, пстой!.. рук твоих я резать не стану, а вот, коли ты друг, говори все по правде. Да, смотри, ничего не скрывай - ни для чьей, для твоей же пользы спрашиваю. Говори всю правду... Ты ведь знаешь, что я никому и ничего не разболтаю, а боюсь, чтобы ты таких глупостей не наделал, что после не будешь знать, как и поправить. Давно видел эту докторшу? Видались после того раза, когда чай пили у ее мужа?

- Ну, видались...

- Где же это вы встречаетесь?

- Да у меня два раза, а раз еще в том саду, где тогда...

- Видишь сам теперь, какая это женщина. Ну, станет ли хорошая жена от мужа такие дела делать, как думаешь?..

- Ох, какая хорошая! Это не женщина, а сама радость небесная... Вот у нас в коране обещано хорошему мусульманину на том свете, будто бы гурии обнимать да целовать будут... Эти гурии ведь то же, что наши жены, только получше, может быть, а все, верно, не такие... Где нашим так уметь, как эта!.. О, если бы ты знал, как эта любить умеет... И прикоснуться-то к ней страшно... Так и кажется, что вот-вот сам умрешь, потому сердце не выдержит, разорваться может... Что мне эти гурии!.. А на своих обезьян бессловесных я и смотреть теперь не желаю... Нина говорит мне - ты не сердись, она сама велела мне называть ее просто Нина, только не при других, а меня Годдашка-Агаллашка называет. А то, говорит: "Ты мой джувль-барс прирученный"... Так вот, Нина говорит мне: "Разгони всю эту дрянь из твоего третьего двора, чтобы никого, никого не осталось, тогда я мужа брошу и к тебе на всю жизнь переселюсь... Ни тебе, ни мне и веры менять не нужно". Я послушал ее, сегодня утром объявляю своим, что отпускаю их на все стороны, что пока даю им сад, за городом, там у меня есть особенный, пускай там живут, обещаю бумагу от каззы вытребовать, чтобы они полною волею пользовались, все равно как разведенные жены... Что же они, особенно эта Ассаль злая, что же они сделали?..

- Что такое?

- А помнишь мой халат голубой, двести рублей по-вашему стоит, помнишь?

- Ну, помню...

- В клочья изодрали... В самые маленькие кусочки... Я только успевал закрывать лицо да бороду... Как они Нину ругали, какими словами называли!.. Говорят: "Пускай еще раз придет к нам, мы ее самое в мелкие клочья исщиплем"... А отчего они так забылись, отчего этой прыти набрались?.. как ты думаешь? Ведь они не смели слова наперекор пикнуть, ведь, когда я приходил не то что сердитый, а просто не в духе, они по углам прятались, оттуда взгляды мои ловили. Между собою поссорятся, до драки дойдет дело, пригрожу, и стихнут... А тут, посмотри-ка: на меня с кулаками... Отчего это, ты как полагаешь?

- Очень просто, - отвечаю, - Ассаль каззы пожаловалась, тот их сторону держит. Вот и храбрятся.

- То-то, каззы. Я вчера базаром ехал, в меня кто-то грязью швырнул вдогонку... Я курбаши (полицеймейстеру) пожаловался, а тот говорит: "В хорошего человека не станут грязью швыряться". Этому какое дело?

- Больших тебе неприятностей наделает этот каззы, - говорю я, - положим, порядки теперь другие, не зарежут, а все-таки могут так доканать, что хоть беги вон из города, в другое место переселяйся... Вот то-то и дело. А все Нина твоя... Я тебе, как друг, скажу откровенно: и твой-то пыл пройдет, и она скоро в другую сторону метнуться может... Неужели же ты думаешь, что так навек и сойдется оба. Ни она к вашей жизни не привыкнет, ни ты к ее порядкам. Опостылите друг другу так, что врозь разбежитесь, а скандалу сколько наберетесь - и ты, и она, упаси Господи!.. Ведь у нас тоже хоть и полегче на такие дела смотрят, а уж коли через край хватило, тоже не щадят... И мой совет тебе такой: приказ о выселении твоих жен отмени... Пообещай это докторше, но отложи на неопределенное время, к каззы отошли хорошие подарки и обещай принести повинную во грехах своих, это сильно поможет: во-первых, грязью не станут швыряться, и доверие плательщиков к тебе не будет подорвано. Ведь, посуди сам, ты едешь за сборами, а от тебя все отвертываются. Сам попадешь в опалу. Теперь тебя хорошим слугою Белому Царю считают; слышал, говорил полковник, что сам генерал тобою доволен, а тут вдруг сменить тебя придется... А это очень легко может случиться. А насчет Нины Леонтьевны, я сам поговорю с нею. Поверь мне на слово, что эта блажь у нее пройдет скоро...

Побледнел мой Годда-Агаллык, да как!.. Я уже думал, не дурно ли с ним сделалось, и говорит мне глухим таким подавленным голосом:

- Ты против меня говорить будешь?.. Да?..

- Зачем против, это не мое дело. Я даже в твою пользу поговорю, только урезоню ее, чтобы она от тебя глупостей разных не требовала... рада силу свою бабью над мужскою пробовать, недаром тебя джульт-барсом прирученным называет...

- Что же, поговори. Я тебе верю... Но помни: если меня ты обманешь, я тогда ни одному русскому больше верить не стану... Так и помни.

- Да уж будь покоен. А теперь, коли устал, ложись спать у меня, а завтра утром отправляйся домой и улаживай дело как умеешь. Скажи им там, что вчера пошутил и только верность их хотел испытать... приласкаешь, да по платку подаришь, они и растаят... Да и Ассаль подари чем-нибудь!.. Все пойдет по-старому...

- Я им материи ференчи подарю, а Ассаль шаи полосатой на халат... Она давно просила...

- Вот и прекрасно!

Полегли мы спать.

Как я ни уговаривал своего друга улечься у меня на оттоманке, он на своем уперся: "Пойду спать в конюшню, к джигитам", да и только. Так и ушел, от ужина предложенного отказался.

Разделся я, лег, свечу потушил... Только первый сон... Шум, гвалт у меня за окном, в дверь стучат... Что случилось? Вскочил я, накинул пальто, револьвер пристегнул поверх белья наскоро, отворяю дверь, а мне навстречу, прямо в объятия, что-то теплое, мягкое и как будто бы даже оголенное... слышу голос Нины Леонтьевны.

- Спасите, спасите!..

Прибежал Шарип-джигит, он был у ворот дежурный, светит фонарем, смотрю: передо мною докторша, босая, в одном белье, и юбка какая-то на плеча накинута... Продрогла вся, бедняжка, а лицо как у полоумной, глаза навывкате, и волосы все растрепаны.

- Он меня убить хотел... Он в меня из револьвера целился.

- Кто, что?

- Муж... Спасите! он за мною гонится!..

Взял я ее на руки, отнес на свою кровать (в другой комнате стояла), закутал в халат и велел Шарипу самовар ставить поскорее... сам с расспросами.

Долго, минут этак десять, моя барынька путем в себя не приходила. А я тем временем шепнул Шарипу, чтобы разбудил еще джигита, да вдвоем бы Годдая моего берегли, как бы не проснулся и тоже сюда не ворвался... Хорошо, что конюшня далеко, за другим садом. Принесли кипятку, заставил я докторшу коньяку проглотить рюмочку, кипятком разбавленного, сахарцем закусить... рассказывает:

- Нас, - говорит, - вчера Бобков видел... Муж в лазарет уходил, а Годдай приехал... Бобков мимо проходил и в щелку ставни подглядел, даже кулаком постучал, нахал этакий, а сегодня все мужу рассказал. Тот дождался ночи, да с допросом. "Я, - кричит, - не потерплю - я и себя, и тебя пристрелю". Ударил меня, с постели стащил на пол и за револьвером потянулся, что на стенке висел. Я насилу вырвалась, да в дверь. Бежала, не помнила ничего... собаки гнались, лаяли... часовой хотел задержать. Все мне казалось, что муж гонится и целит в меня из пистолета. Теперь к вам, вы мое спасение. Не выдавайте меня, голубчик, миленький. Вы такой добрый, хороший!

И зачем я подошел так близко?! Если бы я подальше держался, может быть, Нина Леонтьевна не кинулась бы опять обнимать меня и целовать даже мои руки.

- Успокойтесь, голубушка моя, - сталь я ее по головке гладить. - Вот вы опять распахнулись вся... простудитесь еще, Боже сохрани. Эх, да успокойтесь же. Ведь я тоже мужчина - не каменный истукан.

- А... "мужчина"!

Шарип в эту минуту сунулся со стаканами чая на подносике, чай-то поставил на стол наскоро, сам отвернулся и назад ушел, дверь притворил.

Удивительные, право, существа эти женщины!

Только что эта Нина Леонтьевна стала успокаиваться, новая неожиданность; за дверью голос доктора.

- Жена у вас?

Спрашиваю я у докторши.

- Пустить?

- Что вы... Ради Бога... Он меня убьет.

- При мне не посмеет. Я его в первой комнате приму.

Я отворил.

- Жена у вас, не отпирайтесь!.. Мне сказали, что она сюда побежала, я шел по ее следам. Жена у вас, и извольте мне ее немедленно выдать.

Доктор проговорил это все тоном, не терпящим никаких возражений, и с решительным видом взял стул и сел посреди комнаты.

Хотел было я ответить ему на его тон как следует, да взглянул на эту печальную фигуру, даже жалко стало. Полуодетый, в руках один кобур от револьвера, в туфлях, без шапки, на щеках так и горят чахоточные пятна, глаза, как уголья, а рот широко открывает, воздуху ему все мало, дух перевести.

- Успокойтесь, - снова начал я, теперь уже супругу.

Доктор увидел стакан с чаем, жадно схватил его и принялся пить большими глотками, я тотчас же пододвинул другой, да кстати и тарелку с виноградом, оставшимся от ужина.

- Благодарю, благодарю. Я так страдаю, так страдаю!.. Нина, Нина! Слышишь ли ты меня?.. Я так страдаю. Сжался ты надо мною. Ведь мне жить уже немного осталось...

- А драться умеешь, а из пистолета убить грозишься, - послышался за ковром голос Нины Леонтьевны.

- Ты здесь?..

Это был крик и болезненный, и радостный вместе с тем. Доктор рванулся с своего места и упал к ногам показавшейся в дверях своей супруги.

"Ну, - думаю, - слава Богу, кажется, все сейчас уладится, супруги помирятся и меня в покое оставят".

Распорядился даже, чтобы поскорее запрягли арбу крытую и ковер постлали, чтобы отвести их домой; заупрямилась моя Нина Леонтьевна: "не поеду", да и только!

- После всего, что случилось, - говорит, - вы, милостивый государь, меня больше не увидите. Ваш Бобков, подлец, наклеветал за то, что я его ухаживания отвергла, а вы поверили и позволили себе так гнусно оскорбить жену свою, данную вам самим Богом!.. Прочь с моих глаз, презренный!..

- Ниночка, я виноват, я глубоко виноват, и скорблю. Вот перед ним, перед этим благородным человеком, я даю тебе клятву... Нина, ангел мой, мои дни сочтены... Я ведь сам доктор, я понимаю...

- Вы мне уже четыре года говорите, что дни ваши сочтены. Вы все меня обманываете.

- Нина, это жестоко!

- Нина Леонтьевна, - вмешался и я, - как я ни уважаю вас, а нахожу, что это уже слишком. Это может лишить вас моего покровительства.

- И вы, и вы... Ах вы, этакий неблагодарный!

- Нина Леонтьевна, я очень ценю, я вполне доволен... Я даже могу сказать...

Я, может быть, наговорил бы еще больших глупостей, так меня выбил из седла укор в неблагодарности, но докторша быстро изменила свое решение: она слышала мое распоряжение об арбе и, обратясь к входящему Шарипу, спросила:

- Готово?

- Есть!

- Ну, собирайся ты, чучело! Я вот халат беру с собою, прощайте. И, пожалуйста, чтобы об этом завтра болтать поменьше. До свиданья!

Доктор хотел было предложить ей руку, но она толкнула его вперед, обернулась ко мне, послала через плечо воздушный поцелуй и скрылась в темноте южной, хотя и осенней, но еще довольно теплой ночи.

Лошадь заржала, закрипело колесо арбы, луч света из распахнутой настежь двери скользнул на мгновение по гребню ее верха. Уехали примиренные супруги.

- Нет, - подумал я, - сюда жен выписывать из России пока рановато.

Конечно, я сам не проболтался, за молчаливость и скромность моих джигитов я могу поручиться смело, но тем не менее, на другой же день, ночной скандал стал темой общих разговоров. Враги все немилосердно говорили, что доктор вызвал меня и Годдай-Агаллыка на дуэль, что полковник пишет в Ташкент секретное донесение... То есть, таких глупостей наговорили, что наш начальник действительно должен был вызвать меня для личных объяснений.

Надел форменный китель с орденами, пристягнул саблю, являюсь.

- Садитесь, - говорит полковник довольно суховато.

Сели.

- До меня дошли слухи, что как в лагере, так равно и в городе, это еще важнее, спокойствие нарушено, потрудитесь не перебивать, на базаре волнение и представителей нашей власти, положим, туземных представителей, безнаказанно оскорбляют... Кроме того, нравственный принцип, первое основание дисциплины, поколеблен... Вам все это известно более, чем кому-

либо другому, и потому сообщите подробно и обстоятельно все, что вы знаете по этому скандальному делу.

- По какому, осмелюсь спросить?

- Как по какому?.. Я говорю, что там такое натворил ваше протезе, ваш хваленый сборщик податей?

- До сих пор он очень аккуратно и вполне добросовестно исполняет возложенные на него обязанности: по последней ревизии, всего месяц тому назад, все сборы приведены в точность, цифры верны и соответствуют оправдательным документам, и жалобы от населения на неправильность поборов ниоткуда не поступало.

- Это все прекрасно, я не об этом и спрашиваю вас. Что там у него с этой докторшей случилось? Что за скандал?

- Ну, это его дело и дело докторши, а ко мне вовсе не относится. И поверьте, господин полковник, вопрос такой я могу, как офицер, счесть для себя даже оскорбительным.

- Ну, вот вы и обиделись, эх, какой вы! Конечно, я понимаю, но как же нам быть, ведь нельзя же серьезно допускать, чтобы какой-нибудь туземец посягал на обладание русскою женщиною, скажу больше, русскою дамою и женой, хотя и доктора, но по чину все-таки штаб-офицера. Ведь это, согласитесь сами, некоторый подрыв авторитета власти. Это может повести к такой политической ошибке, влиять вредно на ход и развитие русского принципа в землях, вновь завоеванных и, заметьте, завоеванных потом и кровью русского солдата, этою святою серою шинелью, как выражается наш знаменитый полководец, а я этого сяркера намерен сменить и выслать из края.

- Простите великодушно, полковник, вы придаете данному, чисто частному, эпизоду совсем неподобающее ему значение. Вот если вы действительно приведете в исполнение свое намерение лишить должности и выслать неповинное лицо, честно исполняющее относительно нас свой долг, да еще безо всякого суда, это действительно может подорвать доверие к справедливости русской власти, а насчет амурных, так сказать, дел, причем тут политика? Не понимаю.

- Да я и сам не понимаю, однако надо же что-нибудь сделать, надо же помочь нашему бедному Карлу Богдановичу, он человек больной, и, наконец, право же, жалко и обидно, такая милая, красивая, образованная дама достается какому-то чумазому дикарю... это ни на что не похоже. Наши офицеры прямо-таки оскорблены... Я, право, ничего не желаю худого этому почтенному вашему приятелю, но вы все-таки поговорите с ним, постарайтесь его убедить... Наконец, нельзя ли его услатить куда-нибудь подальше, на время, дать очень почетное поручение, а я возьму на себя труд лично воздействовать на нашу милую шалунью... Она ведь сердцем такая добрая, неиспорченная, душа у нее, как я заметил, детски чиста и невинна. Ну, знаете, молодость, болезненность мужа, особенные свойства южного климата... Я берусь с нею

поговорить и почти ручаюсь за успех, а вы обуздайте пока Годдая-Агаллыка... Как-никак, но этот скандал надо прекратить неотлагательно, так!.. Я вполне-вполне уверен в вашем содействии... Вы завтракали?

- Нет еще!

- И прекрасно!.. Разделите со мною мою простую, солдатскую хлеб-соль. А этого Бобкова я все-таки велел посадить на три дня под арест. Не дело офицера посматривать в окна и после звонить по лагерю... нехорошо!

- Вот с этим я вполне согласен.

- Не правда ли?..

Позавтракали мы с полковником и решили действовать.

Годдай-Агаллык, слава Аллаху, проспал у меня в конюшне очень крепко и не подозревал ничего, что произошло в эту роковую ночь. По моему совету, он скоро устроил полное примирение со своим многочисленным семейством и даже готовился к новому празднеству, по случаю примирения с самим грозным каззы. Он только сомневался, удобно ли теперь приглашать также и доктора с его супругой, и можно ли будет обойти их приглашением, чтобы они не обиделись... Вопрос этот, конечно, был весьма щекотливый. Годдай за разрешением своего сомнения обратился опять-таки ко мне, и я мог посоветовать ему лишь одно: не торопиться праздником и отложить его на более или менее неопределенное время. Отправил Годдая, пожелав ему еще раз очнуться и стряхнуть с себя беспокойные чары чужеземной волшебницы, а сам пошел в лагерь; только поравнялся с докторской квартирой, сама меня из окна окликает.

- Зайдите!

Зашел.

- Мужа дома нет. А позвольте вас спросить: это вы на меня полковника натравили?..

- Это еще что такое, дорогая Нина Леонтьевна, я даже вас не понимаю.

- Да как же, - говорит, - он начал даже с того, что будто по соглашению с вами, он это очень замысловато начал... Говорил о разности рас и возможности роковых последствий... Много говорил...

- Красноречиво, значит, убеждал?..

- Да как убеждал, руки целовал, потом на колена стал... Я испугалась, покосилась на окно, а он говорит: "Не беспокойтесь, я Бобкова под арест запрятал"... Сколько ему лет?..

- Кому? Бобкову?

- Да нет, полковнику.

- Лет за пятьдесят, порядочно даже это за...

- Я так и решила... А, право, он мне сначала казался гораздо моложе с вида, этак лет тридцать пять, не более...

- Ну, как же, - спрашиваю, - вы покончили ваше объяснение?

Нина Леонтьевна расхохоталась.

- Да так ничем и не окончили... Так на одном предисловии и остановились. Полковник выразил мне, что он все-таки надеется.

- Так... Эх, дорогая моя барынька, и зачем это вас принесло к нам, на передовую позицию?!.. Только мирный наш монастырь потревожили...

- А вы разве недовольны?

- Я? Нет, отчего же, конечно, один боевые лавры, без роз, пресноваты, да шипы-то у этих роз больно колючие... беды вы здесь как бы не натворили... Друг Годдай совсем у меня с ума сходит, а человек был солидный, и нам очень нужный. Скажите откровенно, вы ведь сами на эту откровенность назвали, и не ошиблись, я человек верный и от души и вам желаю всякого добра и счастья. Так вот и извольте говорить прямо, начистоту: изволили вы шалить только с прирученным джубарсом или действительно чувствуете к нему серьезное влечение?..

Задумалась Нина Леонтьевна, замолчала, а я ей опомниться не даю, продолжаю:

- Правду говорите, потому мне сяркера жалко, и я его от ваших шалостей защитить сумею и в обиду не дам... Он хоть, по-вашему, и азиат небезынтересный, а по-моему, человек с душою и сердцем, человек, что и меж нами, русскими, днем с огнем поискать... Ну-с, извольте исповедываться!

- Вы куда шли? - оборвала меня Нина Леонтьевна.

- Шел по делу в походную канцелярию.

- Так и идите своею дорогой... До свиданья!.. Знаю я вашу дружбу к бедному Годдаю, с тех пор, как прибегала к вам за помощью...

Почесал я затылок и тут только заметил, что сидел я у докторши, не снимая с головы шапки, извинился, задел за ковер шпорою и направился к выходу.

- Назад пойдете, обедать к нам, слышите?! - крикнула вслед докторша.

- Слушаю-с!

Разговаривай после этого серьезно с барынями!

Покончив дела, часу во втором - у нас ведь не по-аристократическому, встают в шесть часов утра, завтракают в восемь, сейчас же после утреннего ученья, а обедают в два - захожу к докторше. Там кое-кто собрались: Мюндельберг, два казачьих офицера, Шеломов и Подпругин, и приезжий из Ташкента интендантский чиновник. Минут через десять пришел и сам доктор под руку с полковником. Оказалось - хозяйские именины, по немецкому календарю.

Сели обедать. Нина Леонтьевна веселая, любезная, нарядная, ну просто бабочки такие бывают только, пестрокрылые. Полковничий денщик в штатском платье при белых перчатках блюда разносит. Парад полнейший, одно слово!

Только есть стали, вдруг... трум-трум-бум!.. Музыка батальонная неожиданно на дворе заиграла - Бобков с гауптвахты распорядился.

Хозяйка пристала к начальству: "выпустите" да "выпустите".

- Если вы сами просите... - любезно чокнулся стаканом полковник, - противоречить не смею. Освободить!

Послали денщика с запискою. Очень весело было за обедом, а сидел я рядом с Ниною Леонтьевною, сама усадила; полковник с другой стороны, доктор напротив. Мюндельберг карандашом все что-то писал на левом рукаве крахмальной рубашки - напишет, губами пошепчет что-то и опять за карандаш...

- Это он экспромт сочиняет, - вслух догадался интендантский чиновник.

- И не думаю вовсе, - отозвался артиллерист.

Бобков влетел как ураган, и прямо к хозяйкиной ручке; потом почтительно раскланялся с полковником и проговорил:

- Мерси-с.

- Не меня. Вот кого извольте благодарить... Садитесь!

Действительно ли так хороша собою была Нина Леонтьевна или это нам только казалось на безбабье, но ее роскошная фигура положительно электризовала все общество. Ведь вот теперь, много лет спустя, припоминаю. Да, довольно недурненькая, полненькая блондинка, каких у нас в России сколько угодно, особенно в Петербурге, из немок; волосы, правда, изумительные, да и сама-то, собственно говоря, не первой молодости, а ведь поди же ты - фея сияющая - сверкала меж нами, явление волшебное из мира заоблачного! Помани глазком, пальчиком кивни, - в огонь и в воду, к черту на рога полезешь, не задумавшись. Или же, действительно, как говорил полковник, свойства такие у здешнего климата.

Даже Нина Леонтьевна под конец конфузиться начала, заметя, как ее, словно бичами, хлещут со всех сторон нескромные взоры.

Подали шампанское. Полковник предложил первый тост: здоровье генерал-губернатора. Выпили, крикнули "ура", музыка проиграла походный марш нашего батальона. Второй тост провозгласил казачий есаул Подпругин: здоровье именинника, гостеприимного хозяина дома сего - ура! Покричали, музыка отбарабанила туш. Третий тост, все разом поднялись за хозяйку. Пошел дым коромыслом, стулья отлетали в сторону, кто-то посуду разбил, Бобков кричит: "Качать!.." Насилу мы с полковником отбили хозяйку, а то бы летать ей к потолку, по лагерному обычаю.

Поднялся Мюндельберг и крикнул почему-то, по-немецки, должно быть:

- Силенсиум!..

- Что такое?

- Позвольте мне, - торжественно заговорил артиллерист, - при сем удобном случае мне пришел в голову стихотворный экспромт...

- Позволяем! - кивнул головою полковник.

Мюндельберг откашлялся, посмотрел еще раз на левый обшлаг. Он это очень <...> сделал, будто бы пенсне золотое на носу поправил, и начал:

Явились вы в наш лагерь боевой

И поразили всех своею красотой...

О, для чего вы к нам явились?..

Без вас мы скромно все постились...

Теперь же без ума влюбилась...

В карьер несемся к вам мечтой...

- Спи, ангел мой, спи, Бог со тобой! - вставил от себя Бобков.

Мюндельберг рассердился, окинул строгим, холодным взглядом адъютанта и отчетливо произнес:

- Это неприлично.

Ну, тут поднялся такой взрыв восторгов по адресу хозяйки дома, что она вскочила и выбежала в другую комнату.

- Господа! - начал было укоризненно доктор, но ему помешал совершенно охмелевший интендантский чиновник, бросившись ему на шею и зарывав во все горло.

- Ты мне друг... выпьем на ты...

Бобков принялся сливать все остатки вина в суповую чашку, обещая сделать удивительную жженку, полковник, покачнувшись, сунулся было за внезапно исчезнувшей Ниной Леонтьевной, но дверь оказалась запертою на крючок.

Я тихонько отыскал свою фуражку и, не прощаясь, вышел на воздух. И вдруг почему-то мне стала жалко нашу красавицу, да как жалко. Если бы я встретил ее сию минуту, я бы бросился к ее ногам, я бы умолил ее уехать отсюда, я бы, может быть, и больших глупостей наделал, если бы не почувствовал, что моя собственная голова закружилась от излишне выпитой безобразной смеси плохого маркитанского вина, и что мне пора домой.

Только на другой день я узнал, как кончился пир у немецкого именинника.

Интендант напился до того, что его должны были уложить, как тюк, в его собственный тарантас, полковника на руках, с музыкой впереди, отнесли на квартиру, Мюндельберг вызвал на дуэль Бобкова, а Бобков - Мюндельберга, потом за импровизированною жженкой помирились и вдвоем уже написали такой мадригал в честь хозяйки, что, проспавшись, не могли разобрать ни слова. Шеломов с Подпругиным, войдя в воинственный раж, подняли

казачью сотню и произвели залихватское ученье, во время которого есаул, свалившись с лошадью вместе, вывихнул себе колено, доктор серьезно заболел и слег в постель, а Нина Леонтьевна почему-то плакала всю ночь и писала какое-то длинное письмо. Это уже из собрания сведений моего любопытного Шарипа, сведшего особенную дружбу с докторским денщиком, тоже татаринном.

О, Боже мой! до чего может довести подавляющая скука боевого лагеря в мирное время! Хотя бы в поход выступать скорее.

Утром я уехать по делам в Пеншанби, довольно далеко отсюда, провел там суток трое; Годдая не видал, вернулся домой, а через полчаса с базара мальчишка сартенок и подал мне письмо.

- От кого бы? - думаю. Почерк твердый на конверте, а все-таки похожий на женский; распечатываю, смотрю на подпись: "Нина Блюм"; стал читать:

“Вы вызвали меня на откровенность, - извольте, я буду вполне откровенна с вами. Я знаю, что вы искренний друг Годдая и принимаете в нем теплое участие. Наши считают туземцев чем-то низшим, вы же относитесь к ним иначе, особенно к вашему избранному приятелю. Вы спрашивали меня, шалю ли я только сердцем Годдая, - или отношусь к нему с более серьезными чувствами. Да, сначала я только шалила - он мне понравился, и даже очень. Ведь не правда ли, что он очень красив? Ведь не назовете же вы мой выбор неудачным?.. Да?.. Я ветрена, я неверна своему мужу, я позволяю себе выходки, недостойные порядочной женщины, а кто же меня втянул в эту жизнь, кто поощрял на каждом шагу мои - скажу совершенно откровенно - чисто скотские порывы? Кто?..

Предоставляю вам самим ответить на эти вопросы, а сама перехожу к делу: я мужа не любила и любить не могу. Я никого, даже из тех, кто обладал мною, не любила также. Нас так мало, русских женщин, в этом крае, ведь туземные гаремы для вас недоступны, и каждая из нас, появившись в вашем кругу, делается поневоле центром всех ваших гнусных вождлений. Вы все только желали обладать не мною, а моим телом, вы все клялись мне в любви, вымаливали каждую ласку у моих ног, даже насмерть дрались из-за меня, но ни один из вас меня не любил. Временный обладатель забывал обо мне до нового прилива животной страсти, отверженный обливал меня помоями и грязью. Я была то предметом обожания для других, то предметом всевозможных оскорбительных сплетет и насмешек, но стоило мне только ласково улыбнуться оскорбителю, он превращался немедленно в обожателя, и наоборот.

Вас было много, я одна. Право и возможность выбора были на моей стороне, я и выбирала, не стесняясь. То есть, я делала все то, что вы сами делали там, где женщин было более. Но, я повторяю, ко мне относились с презрением, прикрытым, впрочем, лестью и грубыми похвалами; я же, не прикрываясь, в душе и на деле, презирала вас всех и, как вы заметили, никогда не льстила. Только там, где вы разражались непристойною бранью - непременно

заглазною, - я платила вам несколько не скрываемыми насмешками. А вы ведь все думали: "Какая, мол, веселая барынька!"

У вас я познакомилась с Годдаем. Он остановил мое внимание своею внешнею красотой. Чудный экземпляр самца! Я наметила его. Почему же нет... это так ново и оригинально. Годдай тоже заинтересовался мною. Он, я думала, как и вы, смотрит на эту белую, сильно оголенную русскую женщину - тоже животными глазами. Вы помните, как я поощряла это чувство, разжигая эту дикую страсть. Я сама даже немного увлекалась таким же далеко не чистым, отвлеченным чувством. Вы знаете, что было при первом нашем свидании, глаз на глаз?.. Нет, вы не знаете. В отдаленном саду, далеко за городом, где никто, никакой Бобков, не мог бы подглядеть, я была у Годдая в руках. Он нес меня как ребенка, он, мощный мужчина, имел полную возможность обладать мною. Но я сделала опыт... довольно было одного моего взгляда... ни слова, ни мольбы, - одного только взгляда, и разъяренный, ослепленный страстью тигр мгновенно стал человеком... я благословила небо за такой опыт... я почувствовала в это мгновение нечто новое, отрадное, поднявшее меня, падшую в моих собственных глазах. Этот человек меня уважал - инстинктивно или сознательно, - но ему дорого было то, что творилось в моей душе. Вы, недикие, европейцы, способны ли были бы на этот подвиг? Вы не можете видеть тех несчастных созданий, что, как зверки, заперты в гареме Годдая - я их видела... Знаете ли вы, что там есть две женщины - такие замечательные красавицы, такие молодые, что я, износившаяся кокетка, не стою их мизинца? Разве я злилась бы и ругала их, если бы действительно встретила бы там "чумазых обезьян"? Если вы тогда поверили мне - вы, значит, совсем не знаете женщин. Сплетня Бобкова ложь. Годдай до вчерашней ночи не был моим любовником. Этот проклятый обед, эта пьяная оргия, это постыдное мое положение между вами сделали меня любовницею Годдая - я этою потребовала от него сама. Я молила его: возьми меня, запри под замок... делай что хочешь, только избавь, вырви меня из нашей позорной свободы. И Годдай понимал меня... он ласкал меня и плакал вместе со мною. Он говорил мне то, чего я никогда, никогда в жизни ни от кого не слыхала. Простите, я увлеклась, я написала много лишнего, но мне жалко зачеркивать написанное. Теперь к делу. Выручайте меня, выручайте нас, как умеете. Я поехала к сяркеру ночью, мой муж в беспамятстве и бреду, около него фельдшер, я оделась в платье джигита, Шарип мне дал лошадь и проводил в город, Годдай был дома и меня ждал. Нас застала эта мегера-Ассаль и подняла на ноги весь женский двор. Я едва спаслась. Я должна видаться с сяркером - непременно, это можно удобно только у вас. Мы решили так это пока, потому что мой тигр-человек хочет непременно посоветоваться с вами. Он очень богат, он все продает, превратит все в деньги, отпустит жен, просто бросит их, обеспечит вполне их существование, и мы уедем далеко, далеко, где, конечно, будем вполне счастливы. Помогите же нам все это устроить. Пришлите ответ, по возможности скорее.

Нина Блум".

Подумал я над этим письмом; заговорило женское сердце, униженное, оскорбленное, озаренное новою, светлою, чистою любовью... так и бьет живым ключом живое, горячее слово - и сила в нем, и правда слышатся. Заговорил практический рассудок: что за бабья чепуха выходит!

"Продаем, разрушаем все, сжигаем корабли и летим, два голубка, искать какую-то Аркадию..."

А помочь надо. Вот в эту-то минуту и надо показать себя истинным другом, да кстати загладить и свою невольную провинность.

Решил завтра же свести влюбленных у себя, приняв все меры предосторожности, и тут обсудить все дела, разумно, правильно и пристойно.

Но, увы! В ту же ночь случилось событие, разрушившее разом все наши планы.

Перед самым рассветом, в слободке, под лагерем, поднялась тревога. Шарип влетел, как бомба, ко мне в комнату с криком:

- Тюра! у доктора в доме большая беда случилась.

Оделся я наскоро, побежал; что уже тут, думаю, расспрашивать, сам на месте узнаю, в чем дело. Прибегаю, а на докторском дворе уже большая толпа собралась, в дверях даже протискаться невозможно.

- Что такое?

- Да докторшу веревкою удавили... женщину одну поймали, старуху - она и удавила, вот в углу ее связанную держат, где казак стоит с шашкою.

- Умерла?

- Давно уже! Вся закоченела!

Джигитская честь



Генерал-майор Ф. К. Сайн-Витгенштейн-Берлебург с джигитами

Джигиты - это очень характерное явление в Средней Азии. На первый взгляд - это как будто просто "продажные шпаги", которым положительно нечем заниматься в мирное время, как только воровством и разбоем; военное же время служит им настоящим бенефисом.

С первого боевого выстрела - все то, что уцелело на свободе и не сделалось добычей тюрьмы и палача, пристраивается около стороны, имеющей большие шансы на успех. Они служат побеждающим в высшей степени усердно и преданно, но эти два качества мгновенно испаряются - едва только победитель делается побежденным.

Во всяком случае - джигиты - народ весьма полезный, подчас даже необходимый. Никто, как они, не сумеет сделать нужную, опасную разведку, никто, как они, не проникнет в самый стан врагов, ради сбора сведений, рискуя головою не только ради одной корысти, но и из молодечества - ради почетной выслуги.

Они превосходные проводники, ибо до тонкости знают страну, все ходы и выходы, они превосходные переводчики, потому что, в своей скитальческой жизни, научиваются бойко говорить на многочисленных наречиях как горных, так и долинных обитателей Средней Азии.

Джигиты превосходные лагерные и походные слуги: джигит и конюх, и оруженосец, и повар, и путевой интендант, он великолепный фуражир, одним словом - джигит - носитель вашего комфорта.

С первого же дня службы - он умеет стать необходимостью, но его надо держать в руках, и на рыцарскую преданность его, как бы она ярко не проявлялась, полагаться не особенно.

Но, опять-таки, скажу: победителей джигит не продаст, а так как, подвигаясь все вперед да вперед, забираясь в самую глубину Азии, мы стали, в конце концов, бесспорными и постоянными победителями, то все вольное, смышленное, смелое и предприимчивое сгруппировалось плотно около наших победоносных белых шапок и белых рубах; "ак кульмак" и "ак колпак" стали исключительными господами джигитов.

Это было в начале наших завоеваний в Средней Азии, а в настоящее время джигитство получило определенную организацию, принявшую даже правительственно-официальный оттенок.

Отправляясь в какое-нибудь отдаленное путешествие, вы можете нанять джигита, а то и нескольких - прямо на базаре, но гораздо удобнее нанимать присяжного джигита, через коменданта или вообще через полицию. В такие присяжные джигиты попадают молодцы более опытные, уже зарекомендовавшие себя многими путешествиями, собравшие почетную связку рекомендаций и хвалебных аттестатов; кроме того, так как джигитство - выгодное дело, даже очень, то бывалые, опытные джигиты - люди со средствами, приобретшие и оседлость, даже ставшие семейными, оставляют свое добро и семьи на месте, как бы в залог своей верности и аккуратности в службе.

Между джигитами выработались даже своеобразные правила чести, и эти рыцарские чувства заставляют наемного слугу смело и отважно рисковать своею головою в защиту господина.

Сколько теперь между джигитами, особенно присяжными, списочными, найдется георгиевских кавалеров, сколько красных халатов украсилось золотыми медалями за усердие и за спасение! Сколько прославилось истинных героев, имена которых разнеслись по всем городам и дебрям Средней Азии и даже далеко за ее пределами!

Вторая половина марта. Весна в полном ходу. Почки стройных талов и развесистых карагачей налились и готовятся лопнуть. Урюки, персики, сливы и вишни - вся сладкая снедь густо усыпалась белоснежными и розовыми цветами, в воздухе запахло смолою и медом, и в густых чашах весело зачирикали воробьи и розовые скворцы... Жары наступят еще не скоро, и пока еще доброе солнце светит ярким золотым светом, стелет по земле прохладные, причудливо-кружевные тени.

Много праздного народа собралось на площади, перед комендантским домом; которые посмелее - во двор заглядывают. На парадном крыльце два дежурных джигита в высоких, черных шапках, в красных халатах, зашарованных, то есть засунутых в замшевые шаровары необычайной ширины, так что стали похожи уже не на халаты, а на куртки. За их поясами, украшенными блестящими бляхами, целый арсенал, а сбоку клыччи-шашки с дорогими

рукоятями. В джигитских руках хлесткие нагайки, не так для коней, как больше для чересчур уже назойливых любопытных.

Комендантский двор тоже полон джигитами, свободными от службы, - кажется, со всего города собрались они сюда, - и все больше присяжные-привилегированные.

Все ждут и на комендантское крыльцо приглядывают.

Говор и шум стоит на дворе, а на улице такой, что и на большом базаре - легче.

Приехал вчера иностранный человек, ученый путешественник, не старый еще, сильный, из себя видный и очень богатый. По всем джигитским наблюдениям видно, что очень богатый, да и сам комендант на то намекал, а уж он знает, кто и зачем приехал.

Надо этому иностранному человеку большой круг сделать, через горы насквозь пройти на Байсун, Дербент, через Железные ворота выбраться на ту сторону, чуть не до самых верхов, откуда Амударья начинается, к самым верховым льдам заоблачным; а потом окружным путем по реке вниз, через Бухару, и опять назад вернуться сюда в город - откуда выехал.

Какие у него ученые дела, что он узнать хочет на своем пути - это его дело. У него из самого Петербурга не то разрешение дано и даже министерский приказ "охранять и оказывать всякое содействие"... Путешественник, значит, важный, и относиться к такому надо все равно как к генералу, то есть называть "ваше превосходительство", так, по крайней мере, комендантский писарь советовал джигитам.

Вот этому-то важному путешественнику и надо было выбрать надежного и вполне тот путь знающего и опытного джигита-проводящего.

Комендант отобрал уже лучших из своих молодцов, шестерых наметил, а так как нужен всего один, то надо было между шестью избранными бросить жребий.

Сейчас все это должно решиться - и все ждут, когда под тенистым навесом, выходящим во двор, появится сам комендант с иностранным гостем. Тот уже сам запустит руку в комендантскую фуражку и вынет билетик с именем избранника.

А богат гость! Все уже знали, что, вместо положенных двадцати пяти монет в месяц, сам приезжий прибавил целых сорок, да еще обещал, по возвращении, прибавить за целый месяц, а уже халат с лошастью наверное подарит своему джигиту, так этакому тароватому хозяину услужить лестно.

- Тихо! - гаркнул во все горло комендантский урядник и звонко щелкнул нагайкою по своим же шароварам.

Говор смолк в одну минуту, только народ теснее сдвинулся к крыльцу; посторонние наклонились, почтительно скрестив руки на своих животах, а джигиты выпрямились и приложили руки к шапкам по-военному.

Вышел на крыльцо комендант, а за ним вслед и гость иностранный. Комендант высокий, толстый, с седыми усами, краснощекий, здоровенный мужчина; а гость тоже ростом ему не

уступит, только в талии тонок, стройный такой, взгляд орлиный, веселый, глаза так по сторонам и бегают. Идет просто - весь в белом, даже сапоги из светлой кожи, через плечо двуглазая трубка на тонком ремешке, а на голове шлемовидная шапка белая, как у английцев - русские таких не носят.

Стал комендант выкликать шестерых, намеченных заранее; вышли все шестеро, стали полукругом, почтительно смотрят на коменданта и на чужого человека, которому судьба служить велит, и по глазам всех шестерых видно, что каждому хочется.

Положил полковник шесть свернутых билетиков в свою шапку, тряхнул раза два и говорит гостю:

- За каждого из них честью ручаюсь, лучшие люди! Тяните, ваше сиятельство, вы сами!

Так вот, значит, господин этот оказался "ваше сиятельство", а не "ваше превосходительство", как говорил писарь, а что это выше или ниже - этого джигиты не знали. Объяснили им потом, что путешественник - итальянский граф, чуть не дальний родственник самого ихнего короля, и занимается по горной и по птичьей части, при нем и человек есть особый, который умеет из убитых птиц делать легкие, сухие чучелка, укладистые и удобные для дальней перевозки; конечно, потом все разъяснилось, а пока, до жеребьевки, никто ничего не знал, только сотни живых глаз так и впились в комендантскую шапку, сотни чутких ушей насторожились, чтобы поймать прочитанное имя счастливица.

Улыбается граф, смотрит весело на джигитов, что замерли перед ним, дыхания затаили, а сам, не спеша, в шапке тонкими своими пальцами пошаривает. Вытянул, наконец, развернул, дает прочитать полковнику.

- Керим-бабай! - прочел комендант громко.

С этим именем по всей толпе пронесся одобрительный ропот, даже проигравшие джигиты не выразили неудовольствия, а комендант, обращаясь к гостю, добавил:

- Сердечно, граф, вас поздравляю!

Вышел Керим из толпы и, не спеша, поднялся на ступеньки комендантского крыльца.

Был когда-то джигит Керим и высок, и статен, да глубокая старость и боевые раны пригнули его к земле, сгорбили. Видно, что и теперь еще не совсем ослаб старик, годится в дело, а все-таки, кто не знает, может показаться не особенно надежным.

На груди у Керима два белых креста, а медалей больше, чем у другого пуговиц; по борту протянулась толстая золотая цепь от жалованных, почетных часов, а поперек лица, через нос и обе щеки, старый зарубцованный шрам от удара вражеской шашки.

- Ну, за этим львом, - заговорил комендант, - вы, граф, как за каменной стеною. Его одно слово стоит больше, чем сотня ружей и шашек, и по всем тем краям, что вам предстоит проехать, он пользуется великим почетом и уважением. Это, - говорит полковник, - у нас первый номер, краса и гордость всего джигитства!

Лестно было бы слышать все это старику, да начальник говорил гостю на каком-то незнакомом ему языке, потому что приезжий граф по-русски не говорил и не понимал, а переводчиком между ним и джигитами должен был служить тот самый человек, что птичьим чучелом умел делать.

- Очень рад познакомиться! - проговорил граф и протянул Кериму свою руку, а Керим не смутился от такой чести и протянул тому тоже свою трехпалую, как равный равному.

- Только вот что, - говорит Керим, обращаясь больше к коменданту, - очень я рад, что Богу угодно было послать именно меня в этот путь, только, может, лучше для господина графа будет, если за меня пойдет мой сын Хафиз? Я хочу ему передать мое счастье и мое право!

Легкий ропот послышался в толпе, а у коменданта даже брови слегка сдвинулись.

Заметил это Керим, возвысил голос и стал продолжать:

- Что же, - вы знаете: моему Хафизу минуло двадцать лет, он силен, способен, лучший наездник... Мне, отцу, не приходится выхвалять свое детище, да вы сами и сам полковник его знают. Я его с десяти лет всюду за собою таскал - натаскал знатно! Он прошлую зиму один на один на тигра ходил, и какую приволок полосатую шкуру... Вот графу птиц стрелять нужно, а Хафиз пулею орла достает с поднебесья... Знают все отца на всем пути, хорошо знают, это правда, и сына его все уже давно заприметили, тоже знают... Не все же молодцу под отцовской рукою ездить, надо начинать и своею волею работать, на свой страх, на свою голову... Эй, Хафиз, поди сюда! Вот пускай смотрит граф, его сиятельство, какого молодца я ему за себя ставлю!

Вышел из толпы Хафиз на отцовский призыв - ну просто красота да и только!

Бешмет на нем белый, шапка из светло-серой мерлушки, а через плечо, на тонком ремешке, пашка не простая - здешняя, а черкесская, вся в серебре с чернью, и бирюзою ободки на ножнах обозначены. Подарил ему эту пашку купец Хлудов, московский, с которым Хафиз раза два на охоту в горы ездил, да раз от барантачей вдвоем от десятерых отбивались и отбились.

Молод Хафиз - румянец во всю щеку, глаза огнем горят, усы чуть только зачернели, и борода чуть-чуть пробивается.

- Небось, не плохого ставлю за себя... Много лучше будет меня, старого!

Когда все это перевели и растолковали иностранному нанимателю, тот задумался немного; видно, что ему и старика взять лестно, и молодой очень уже понравился... Подумал граф еще с минуту и говорит:

- Я обоих нанимаю. Пускай оба едут, и отец, и сын. Я им обоим плачу одинаковое, обещанное содержание!

Загладели на площади и на всем подворье, радостно так заговорили, весело.

- Вот так настоящий господин! Вот так щедрый и справедливый!

А Керим отмахнулся рукой и говорит:

- Вы меня не поняли, да и графу, должно, перевели неверно. По такому делу двоих не требуется, а задаром жалованья я получать не желаю. Стар я стал, говорю вам, может, дорогою сломит меня болезнь, только обузою буду, не бросать же меня околевать в горах, а главное, что вдвоем мы с сыном уже досыта наездились... Мое имя из шапки вынуто - мое счастье, пусть с моей легкой руки и начинает Хафиз свою самостоятельную службу. Вот чует мое сердце, что другого случая Хафизу моему не дожидаться, а впрочем, воля хозяина: велит мне ехать, я поеду и буду служить ему верою и правдою, уважит просьбу старика, возьмет сына, поклонюсь ему до земли, за доброе дело для себя сочту, а за такое доброе дело Аллах благословит его и пошлет ему на всем пути удачу и счастье. Решайте теперь, как хотите!

Потолковали все с минутой на крыльце, потом комендант с графом в комнаты пошли, на свободе чтобы потолковать-подумать, а джигиты на ступеньках крыльца расселись, ждут, чем все это кончится.

Четверти часа не прошло - позвали отца с сыном тоже в комнаты.

Вышел потом комендантский писарь, сообщил, что уже все порешили: граф уступил просьбе старика, берет молодого и очень, очень доволен. Подносили, говорит писарь, им обоим по стакану самого дорогого араку. Хафиз уперся - говорит: закону нет, чтобы мусульманину вино пить, так и не выпил, а Керим оба выпил, потому что для молодого арак - вино, а для старого - лекарство, а на лекарство в законе запрету не положено.

Говорил писарь, что бумагу уже подписывают, все как есть, по форме, и комендант старику третий стаканчик наливает. То-то старый Керим-бабай вышел, сильно нарумянившись, и на ногах стал полегче, чуть не приплясывает, не от араку, конечно, а от радости, что своего любимца сына так хорошо пристроил. Веселый стал, и Хафиза по плечу одобрительно похлопывает.

С того же дня и к сборам приступили. Хафиз всем должен был распорядиться, и распорядился на славу.

Вот, говорили, молод, малоопытен, а на деле так словно уже двадцатый поход слаживает. Граф только намекает, что ему желательно, а Хафиз уже ему самому объясняет толково, что в действительности его сиятельству нужно. Отец в стороне держится, все глазом подмигивает и одобрительно посмеивается, а ничего не говорит, не подсказывает.

- Ну, из этого большой прок выйдет! - порешил даже сам комендант, и очень это командирское слово отцовскому сердцу было отрадно.

Сначала сладили все по конской части: под графское седло Хафиз, за двести монет, добыл у знакомого приезжего из Шахри-Сябзя такого вороного горца, что цена ему настоящая мало-мало полтысячи; под жиды-птичника (жид оказался) тоже здорового чалого, с спокойным ходом, вьючков четырех, вали на каждую спину по восьми пудов - идут легко, только отряхиваются. Две палатки - одну поменьше, шелковую, для самого графа, ковров, кошом

узорных, всю походную амуницию, котелков да медных чайников; ягтаны, коржумы вьючные для укладки и все-все до мелочи не забыл бравый джигит-путеводитель, и за день до отъезда принял от графа на свою ответственность все личное имущество... Диковинные, дорогие вещи, сроду таких не приходилось видеть Хафизу: были тут ящики с хитрыми замками, с разными инструментами, были и ящики с гнездами, а в гнездах все пузырьки с разными снадобьями да пакетики с порошками; были часы особенные, в отдельном футляре, что даже во время езды не должны были сильно колыхаться, особенно переворачиваться, сохрани Бог! - такие часы Хафиз уже раз видел и возил даже за своим седлом; но на что у молодого джигита особенно глаза разгорелись - это когда граф показал ему ящики с разобранными ружьями, дробовиками и пульными... Вот так оружие! Да за одно такое ружье можно год прослужить без копейки жалованья!

Вручил граф на хранение и всю свою одежду; много лишнего, по мнению Хафиза, и даже совсем не подходящего. Переданы были и ящики с консервами, чего-чего там не было! - Хафиз уверял, что почти все надо дома оставить, не брать с собою, потому что тоже не подходящее. - Чай хорошо, сахар тоже, сухарей немного взять не мешает, ну, там лимонного соку сухого, это тоже недурно, а прочее все равно ничего не стоит... Он, Хафиз, это очень хорошо знает, да и другие подтвердят, а то понадеются на коробки, будто в них мясо вареное или рыба, откупорят, понюхают и бросят, а от которой не дурно пахнет - съедят с голодухи, а потом дня три животами болеют...

- Кормиться надо вот чем в дороге! - добавил джигит и щелкнул по прикладу своей винтовки.

Графу все эти рассуждения очень понравились.

Потом, в конце концов, позвал граф джигита к себе в комнату и дал ему пояс широкий, из белой замши, с укладками и потайными карманами.

- Это, - говорит, - золото все... Бог ведает, куда нас занесет, запас золота всегда не лишен... Тут, - говорит, - на три тысячи рублей ровно, его ты, - говорит, - обвяжи на голое тело, под одежду, и береги, а другой такой у меня будет...

Серебра же мелкого, все бухарскими коканами, тоже взяли, на пятьсот рублей, в двух кожаных мешках; эти просто уложили, вместе с одеждою.

Как вышел Хафиз от графа, чувствуя приятную тяжесть на своих бедрах, так невольно возгордился слегка таким доверием.

- Ого-го-го! - подумал, - чего ты теперь, Хафизка, стоишь!

Приказал граф молчать о деньгах, ну, значит, молчать и надо; даже отцу не сказал, что у него на поясе весу прибыло.

В неделю все для похода было слажено. "Малайки" к вьючным лошадям были договорены и явились на место... Все бумаги, к бухарскому эмиру, к коканскому хану, к горным, полунезависимым бекам были написаны и подписаны, с приложением печатей самого

губернатора. Осталось только назначить день и час отъезда в многотрудную и небезопасную экспедицию.

Воскресение, - обед большой давали, в собрании, отъезжающему графу... Много пили, много говорили... Все генералы собрались, и дам - много-много... Графа обнимали, целовали, а стрелковые песенники даже качали, выше голов подкидывали... После обеда, часов в семь вечера, по первому вечернему холодку - и тронулись в путь.

Первый переход решено было сделать коротенький, всего до Таш-Куприка, верст двенадцать, не больше... Много офицеров и штатских выехало верхом провожать, много и дам в колясках и в тарантасах, а то и верхом тоже. Все любовались графом, каким он молодцом и красавцем ехал на своем вороном карабаире...

Прибыли на первый ночлег, конечно, еще засветло, однако почти перед самым заходом солнца, и все любовались и удивлялись, как скоро и ловко распорядился Хафиз с своим вьючным караваном. Ехали все вместе, джигит вел своих людей стоянкою, и только версты за две погнал пошибче, чтобы наперед поспеть... Подтянулись наши, а уже бивуак совсем готов: палатка поставлена, постели слажены, костерь пылает вовсю, и чайники весело закипают, - даже шашлык на палочках начинает зарумяниваться... Ничего этого, положим, и не нужно было, потому что все после обеда были сытехоньки, да это так Хафиз, для показа проделал...

Провожал, конечно, и старый Керим-бабай своего сына. Он тоже был очень доволен расторопностью молодого джигита, однако хотел казаться строгим и скупым на похвалу... Нечего, мол, ему зазнаваться!

Наступила ночь.

Провожавшее гости давно вернулись в город, заночевали на бивуаке только те, что совсем уже не могли держаться в седлах. С наслаждением растянулся на своей удобной походной кровати путешественник... Завтра ведь чуть свет выступать надо.

Отозвал старый Керим своего сына в сторону, за стенку мазара, стал прощаться.

Крепко стиснул отец сына в своих могучих объятиях.

- Ну, - говорит, - благословит тебя Аллах, как я благословляю. Помни, что я тебе передаю теперь всю свою честь джигитскую. Смотри же, не осрами моей седой бороды, да и свою голову береги тоже, зря не горячись, в ненужную опасность не суйся, охраняй хозяина от всех бед, от зверя лютого, от лихого человека особенно. Будь здоров и поддержи стремя моего жеребца, что-то подпруга расхлябалась... Вот так!

Старик ловко уселся в седло и разом скрылся в густом, ночном мраке.

Ушла наша экспедиция... Поговорили-поговорили о ней, да и забыли. Каждый ведь день приносил все новые и новые заботы, и на разные другие потребности нужны были джигиты. Случилось вот, верстах в сорока от города, большое воровство, не без разбоя даже, много

коменданту хлопот доставило. Вспомнили об итальянском графе только через месяц, когда пришла от него с дороги первая весточка с случайной оказией.

Привез чужой человек письмо к коменданту и большой пакет для дальнейшей отправки почтою, привез и от Хафиза к отцу коротенькую цидулку: сын пишет, что здоров, а комендант сообщил Кериму, что граф своим джигитом очень уже много доволен и старику кланяется.. Ну, слава Богу! Значит, пока все благополучно.

Прошло еще с месяц, если не больше, не было больше ни слуху ни духу - далеко забрались, значит... В половине лета, так, около начала июля, по базару легкий слушок пробежал, что видели графа уже за Байсуном, около верховьев Сурхаба, в соляных горах... и опять все надолго затихло... По расчету, вернуться они должны бы к августу, много к половине сентября... Так оно и выходит... Назад пойдут, может, пошибче.

Ждет Керим терпеливо, шевелится у него что-то недоброе на сердце, но старик упорно гонит черные думы; однако, когда приходилось проезжать своего застоявшегося коня, Керим-бабай все больше выбирал дорогу на Таш-Купырь, а то и за этот мост значительно дальше. Для кого время бежит неуловимо, а для старого отца тянется, что ленивый ишак с двойным вьюком, да еще по топкой грязи... Вот и август к концу подходит. Вот уж четвертый раз клевер косят, джугара налилась, попевает... Конечно, вестей нет оттого, что назад повернули; зачем же посылать гонцов, когда те все равно вместе бы ехали... Там ведь все места дики, - не только телеграфа, простой почты никакой не налажено...

Бродит Керим по базару, по улицам, заходит в гости, сидит в чай-хане с приятелями, на комендантский двор заглядывает, вида не подает, что тоска его гложет. Похудел старик, еще более согнулся в поясице... Сам ведь хорошо понимает, что в таком пути нельзя все дни рассчитывать: мало ли что задержать может... Сам вот он раз провожал русского ученого, что вместе с своею женою траву собирать да звезды считать ездили. Думали-предполагали тогда в три месяца обернуться, а протаскались без малого полгода... Точно ведь не считаешь.

Прошел не только весь сентябрь, уже и октябрь на исходе... В предгорьях стали заморозки землю белить... Холодным ветром с востока потянуло... Прибежали раз за Керимом-бабаем, зовут к коменданту.

Снарядился старик по форме, опять кресты и медали нацепил.

- Честь имею явиться вашему высокоблагородию!

Не сразу взглянул полковник на джигита, бумагу будто какую-то дописывал, а потом, все-таки не глядя, проговорил:

- Болтают на базаре недоброе!

У Керима ноги подкосились и в глазах потемнело, даже рукою прихватился старик за дверной косяк. Он и сам знает, что снова пошел слух по базару, что слух тот с самой Бухары идет, смутный пока слух, однако ничего доброго не предвещающий.

Слух этот уже третьи сутки не дает спать Кериму, а забудется немного, сейчас ему кровавое горло мерещиться начинает, только рассмотреть не может, чье это горло ножом перехвачено.

- Слух идет! - глухо повторил старый джигит.

На этот раз комендант взглянул на него и глаза выпучил; он не узнал голоса Керима, да что голоса - самого не узнал, так старик в лице переменялся, однако на ногах еще стоит, не валится.

- Думаю я, - говорит комендант, - послать бы кого на проводку: одного в Бухару, а другого по следу, на Байсун... Дело серьезное!

- Зачем посылать чужого человека - я сам поеду!

- Сам!.. На зиму-то глядя?

- Что мне зима!..

- Ступай!

- Счастливо оставаться!

Приложил Керим руку к шапке, повернулся и вышел из комендантской комнаты. Получаса не прошло, как видели старого джигита, как он миновал базар и крупным ходом своего любимого чалого прогнал на Таш-Купрюкскую дорогу... Недолги были его сборы... А с гор, ему навстречу, уже неслись первые налеты снежной метели, застилая предгорья белой скатертью.

Уехал Керим, словно сквозь землю провалился, и все, особенно сторонние люди на базаре, удивлялись - как это такой опытный комендант проворонил, упустил заложника. Пропадет, думали, отец вслед за сыном, только его и видели!

Не было тогда, по здешним местам, ни дорог железных, ни столбов с натянутой проволокою, по которой слова бегают, почты даже никакой не было, а ходил только "слух", и каким путем, как ходил - никто и не знает. Случится что здесь, в Келифе, что ли, поговорят о случае на местном базаре, а базар - толчея, - со всех сторон туда сходятся и съезжаются разные люди и расходятся во все стороны, а с людьми и речи. Идут, останавливаются отдышаться, поговорят, обменяются новостями, дальше идут, а с того места опять во все стороны слова поползли... С ночлега на ночлег, с базара на базар... К одним вестям другие приплетаются... Встретятся где, опять перекинутся, и все с надбавкою... Случится что небольшое, пустяк, с рисовое зерно величиною, а станет расходиться молвою, что снежный ком, вырастет, и не узнаешь сразу, с чего началось, где правда: а правда там, в середине этого кома, надо только докопаться до этой середины. С одного места весть пойдет, а смотришь - эта самая весть с разных концов опять к тебе возвращается; прислушаться надо только ко всему, ко всем переменам, отделить дело от болтовни, - вся правда так вот тебе на ладони и выяснится... Хочешь знать, что где творится, ступай на базар, сиди покойно, чай зеленый прихлебывай, уши насторожи и жди... Потому что базары эти и есть самое для вестей складочное место.

А здешний базар - всем базарам базар. По каким бы путям ни летела молва, а на здешнем базаре осядется; недаром большой саид-азимовский чай-хане на семипутевом перекрестке раскинул свои гостеприимные навесы.

И вот как эта молва оседала, в какие формы, были и небылицы она складывалась.

Покойно, весело и удачливо шла дорога наших путешественников. Работали много, всем было дела по горло. Граф часто свои диковинные инструменты налаживал, на горные кряжи трубы наводил подзорные, по ночам через эти трубы все небо осматривал и все в свои книжки чертил и записывал; много тоже разных мух да гадин в горах наловили, все засушивали и в банки складывали, а птицы сколько в три ружья настреляли! Чучельнику работы было с утра и до ночи - лошадь вьючную еще прикупить пришлось у проезжего сарта. От камней разных кусочки отбивали и бумажные ярлычки наклеивали. Жилых мест по дороге пока мало попадалось, так - кишлочки незначущие, граф и туда заглядывал, да расспрашивал через переводчиков; тот, который армянином назывался, - жид оказался, ну, да это не большая разница, и насчет знания местных говоров плох вышел, выручал больше Хафиз-джигит, и шел разговор так: граф - жиду, жид - Хафизу, Хафиз со встречным говорит, и тем же порядком обратно до графа доходит.

Очень граф по душе с своим джигитом сошелся, и Хафиз очень полюбил графа, а жид-чучельник с своей стороны к Хафизу прилаживался, тоже лез в дружбу и большую откровенность, все про бухарскую да афганскую сторону расспрашивал, а сам ему про ту сторону, что за большими горами, под английской рукою находилась, дивные дела рассказывал, говорил, что сам бывал там часто, на службе будто у английской королевы.

Пришли в Дербент - там задержались немного; уж очень хорошо бек Сафар гостей встречал. Пирь устраивал почетным путешественникам на славу, "тамаши" с пением и танцами батчей, игры машкарабазов, скачки конные, халаты подносил дорогие, надо было и нашему графу отпочетиться... Пошли дальше, прошли диковинные Тимуровы железные ворота, такую узкую и длинную щель, что будто кто мечом рассек горный кряж, от снежных вершин до самого подножья... стали спускаться в богатую долину Байсуна. Тут уже погуще жильё пошло, и народ побогаче, и беки поважнее! Опять пирь да игры, и даже на этих играх женщины появились, не такие, что в гаремах укрытые сидят, а вольные, что, в обход закона, в мужском платье, днем по базарам ездят, а по ночам, чуть что, безо всякой одежды, в браслетках на щиколотках ног при гостях танцуют, змеями извиваются, змеєю и в душу самую заползают... Переводчик-жид очень старался, всю подноготную про таких женщин узнавал, особенно про тех, на которых граф попристальней всматривался... Хафиз тоже глядел, глаза выпучив, как баран на новые ворота, молод ведь, еще ничего такого и не видывал, ну а чучельник человек бывалый!.. Захотелось графу одну из таких певиц да танцовщиц для себя купить, чтобы с собою увезти, как бы вроде особой птицы, только, конечно, чтобы живую, не набитую и засушенную, как те чучела, что жид изготавливал, - сговорились, и сам кази тамошний бумагу на свободный провоз выдал...

С этих пор и повеяло "черным ветром", тут-то и наступила пора неудач и невзгоды.

Словно эта плясунья, черноволосяя Асаль, своими острыми взглядами да раскатистым смехом души наших спутников околдовала.

А время все шло и шло. Далеко зашли... ух, как далеко! Стало дело к осени клониться, а впереди горы и холода на перевалах... Пора, значит, назад ворочаться... Повернули.

Затосковала новокупленная красавица: кому охота навек уходить в чужую, незнакомую сторону, а тут еще и другое горе, горше первого; стала Асаль заглядываться на молодого красавца Хафиза - и полюбился ей Керимов сын более самого хозяина ее, графа; да и то правда - какая там любовь через жида переводчика, а тут дело живого языка. - Задумалась Асаль, задумался и Хафиз, и в душе верного джигита закопошилось недоброе, ревнивое чувство к своему господину...

Может, и обошлось бы все по-ладному, да жид чучельник, должно быть, тоже свою думу задумал, не охотно что-то он на обратный путь поглядывал. Стал он графу на ухо нашептывать, стал и Хафиза уму-разуму учить, а тем временем к русской границе все ближе да ближе подвигались...

Как тут дальше шло, молва пестрая совсем перепуталась - только, говорят, что и Хафиз стал на себя не похож, с графом стал угрюм, неразговорчив... заметил это проклятый жид и приналег на молодого джигита...

Что же потом случилось, про то базарный слух шел не одинаково, говорили, будто Хафиз у афганского эмира на службе очутился, говорили, что его в тюрьму, в кандалах, засадили, за то будто, что вольной женщине горло перерезал, в тоске и в отчаянии; говорили, что этого жида живого за ноги повесили, на кол потом посадили, говорили, что его за афганскою границею видели, с графским добром и даже тем самым поясом с золотом, что верному джигиту самим графом был сдан на хранение, говорили, что Хафиз сам на себя руки наложил, когда Асаль его бросила - променяла на эмирского полковника, говорили, будто и до сих пор жив Керимов сын, только бродит в Кабуле по базару, вроде как бы помешанный... Разно говорили, только про участь графа все слухи были одинаковы: "В горы въехали все четверо: граф, Хафиз, жид чучельник и Асаль остроглазая, а назад, в долину, вернулись только трое, да и то, как только к Мазар-Шерифу подходить стали, - жид в первую темную ночь будто сквозь землю провалился".

Вот какие слухи заходили по базару: разбирайся, где тут правда, где неправда.

Вот почему и удивлялись в чай-хане Саид-Азим-бая, как это комендант такого маху дал, сам своими руками отпустил старого Керима - за сына своего заложника...

Прошла хотя и короткая, но бурная и суровая зима, снова на солнечных скатах гор, на весеннем припеке, загорелись ярко-красные тюльпанчики, забелели первые подснежники, и забегали по нагретым осыпям зоркие ящерицы. По всем ущельям, по всем трещинам гор

забурлили пенистые потоки, заклепали орлы в поднебесье, стали аисты на свои гнезда возвращаться, а про старика Керима ни слуху ни духу...

Описали его дом, все имущество, печати везде наложили, особому аксакалу под охрану сдали... Недоволен комендант, ходит туча тучею, на прочих джигитов и смотреть не хочет, а те, точно чем виноваты, сами ходят словно мухи отравленные. Четверо из них, не докладываясь по начальству, своею волею собрались и отправились на розыски... Вернулся, наконец, Керим уже в конце лета, и вернулся, когда его совсем и ждать перестали.

Никто и не узнал сразу - почетного, заслуженного старшину джигитского Керима в том жалком всаднике, что въехал на комендантский двор на запыленной, хромой, отощальной лошади: так, думали, какой-нибудь бродячий байгуш, с просьбою к начальнику или, может быть, с жалобою. Дежурный джигит, Саркис, строго окликнул даже:

- Куда прешь? Сиди там, за воротами!

Да потом, как взгляделся немного, так глаза вытаращил, рот разинул и руки растопырил.

- Керим-бай... Аллах милостивый!.. Вот не ждали!

- Не "ждали" уже? - словно усмехнулся приезжий, тяжело слезая с измученного коня... - Видно, и ждать перестали...

Другие джигиты и из казаков, кто был поблизости, подошли, обступили Керима - оглядывают и его самого, и лошадь, и седловку всю, - а спрашивать будто не решаются, ждут, когда сам старик говорить начнет; а тот молча стал отвязывать ковровый переметный коржум, что был за седлом приторочен - и тут только заметили джигиты, что и от коня, и от всадника, от седла и сбруи, а пуще всего от этого коврового коржума потянуло тяжелым кладбищенским духом...

- Коменданту доложите! Ну, что стоите, словно ошалелые? - захрипел на них Керим и закашлялся, и опустил на ступеньки комендантского крыльца, а коржум с собою сволок и начинает его, не спеша, развязывать.

Побежали докладывать.

Минуты не прошло, вышел комендант, на ходу еще китель застегивал... начал было строго так:

- Ну, говори!..

Даже не поздоровался, брови нахмурил, да пригляделся к старику и тихонько проговорил, обращаясь в ближайшим:

- Да поддержите его! Видите, с ног валится... Эй! Принеси скорее коньяку стакан!

А Керим на ногах стоять не может; попытался было подняться перед начальством, да и опять осел грузно. Двое джигитов подскочили, поставили старого на ноги, а двое стали коржум седельный развязывать, от которого нехорошим духом несло... Керим им глазами показывал, что надо - и чуть слышно пробормотал:

- Выкатите!

Выкатили.

Лицо почернело, раздулось, а узнать можно, - то есть, не узнать бы, не зная кто, - а, зная, признать вполне возможно.

- Собственною рукою покончил, - хрипло, словно давясь своими словами, сказал Керим, - своею рукою благословил, своею и казнил, а добро мое, довольно его будет, а мало, так и мою голову добавьте, отдайте семье графа убиенного - за убытки - уплату...

С комендантского крыльца понесли джигитского старшину прямо в военный госпиталь, - там он и отдал Богу душу на другой же день, так и не приходя в сознание.

Доктора порешили, что - с переутомления.

Старый Кашкара



Мост на арыке у укрепления Каменный Мост. Из "Туркестанского альбома" (1871-1872)

На Большой Бухарской дороге, на полпути между Яны-Курганом и Каменным Мостом (Таш-Купыр), вырыта небольшая землянка, в невысоком, но крутом обрыве, подступающем к самой дороге.

Трудно представить себе что-нибудь более простое и убогое, как это человеческое жилище: небольшая комната, шагов пять длиною и три шириною, составляла все внутреннее помещение. Стены, пол и потолок были тщательно выглажены и оштукатурены тою же глинистую землю с небольшою примесью рубленой соломы, от которой штукатурка эта держалась крепко и не отваливалась. К небольшому квадратному отверстию, служившему и дверью, и окном, и выходом для дыма, были прилажены деревянные бруски, к которым прибивалась кошма, защищавшая от холода и непогоды в ненастное время. Посредине вырыто было полукруглое углубление, в котором разводился огонь и почти постоянно тлели горячие уголья, зимою - для тепла, а летом - на разную хозяйственную потребу.

Никакой мебели не было вовсе. На полу разостлана была старая, сбившаяся кошма, на ней два ватные, крытые пестрою набойкою одеяла и крошечная цилиндрическая подушка, набитая тою же ватой. В степи вбито было несколько деревянных колков, а на них развешены разные хозяйские мелочи: два чугунных кунгана, стеклянная бутылка с солью, вязка стручкового перца, сальные свечи и круто свороченная синяя бухарская чалма. В углу, у стены, тотчас же за дверью, стояли два мешка: побольше - с листовым бухарским табаком, поменьше - с кураминским рисом. Если добавить к этому плохое кожаное ведро с привязанной к нему длинной волосяной веревкой да две или три глиняных зеленых чашечки, то получим полное понятие обо всем, что наполняло это незатейливое помещение.

А между тем в землянке жилось безбедно, если хотите, даже весело, крайняя нужда сюда не заглядывала вовсе, и обитатели ее были совершенно довольны своею обстановкою, не желая никаких перемен к лучшему.

В землянке этой обитало три живых существа: старик лет восьмидесяти, а может быть, и больше, которого звали Кашкарою, девочка лет шести, Тилля, что значит "золотая", и маленькая кривоногая короткошерстая собачка, откликающаяся на всевозможные клички.

Перед входом в землянку была очищена и тщательно утоптана гладкая площадка, на ней разостлан коврик, и стоял длинный, постоянно готовый к услугам кальян - главная статья дохода старого Кашкары. Все проезжающие и проходящие по Бухарской дороге непременно остановятся, соблазняясь готовым куревом, и с наслаждением затянутся раза два крепким табачным дымом. Стоит это очень недорого - всего только одна чека (четверть нашей копейки), а в общей сложности, в кассе хозяина, к каждому вечеру наполняется изрядной капиталец, коканов в пять и более, с лишком достаточный на его неприхотливые обыденные расходы.

Подул ветер от Джизакских гор и донос какие-то резкие, скрипучие звуки. Собачонка засуетилась на крыше и затыкала, наострив свои надрезанные уши. Старый Кашкара набил кальян свежим табаком и раздувает уголья своими старческими губами; он знает, что это за скрип слышится по дороге: этот скрип предвещает ему хорошую прибыль; в его кожаный, вышитый красным шелком кошель посыплются сейчас медные чеки...

Из-за поросшего высоким бурьяном косогора показываются одна за одною неуклюжие, высоко нагруженные арбы. Усталые лошади, понутив свои красивые головы, медленным шагом вытягиваются на горку; гривы и хвосты у них собраны в пучки и перевязаны цветными тесемками; уздечки пестрые, с медными побрякушками, и украшены белыми раковинками. Арбакеши, помахивая короткими нагайками, скорчившись сидят на плоских седлах. На арбах стоят по два больших зеленых сундука, окованных железом, сверху лежат какие-то мягкие тюки, сзади привязаны мешки с ячменем и чугунные котлы; все аккуратно перевязано арканами и прикручено к плетеной арбяной платформе. Это везут из Ташкента в Бухару красные товары

нашей владимирской фабрикации, в которые одевается и старый и малый по всему необъятному пространству Средней Азии.

Арбы, не останавливаясь, проходят мимо, но арбакешы почти все, наверное, перебивают у Кашкары, посидят на корточках на площадке и покурят из общего кальяна, выпуская с хрипом густые клубы дыма из небольшого отверстия в тыквенном водохранилище.

Из Бухары тянутся бесконечные караваны верблюдов, наполняя воздух мелодичным звоном бубенчиков; чудовищные тюки с хлопком мерно покачиваются по бокам громадных гладко остриженных темно-бурых наров [*нар - одnogорбый верблюд из Андкуи: славятся эти верблюды своим ростом и силою и ценятся много дороже киргизских двугорбых*]; караванбаши и прочая караванная прислуга, сидя на крупных ослах, семят по сторонам дороги. Вереницы богомольцев пешком, с босыми, растрескавшимися от жара ногами, пробираются потихоньку к Самарканду поклониться святым Тимуровой эпохи. У них за плечами небольшие котомки; изорванные донельзя халаты заплатаны латками всех возможных цветов; на поясах болтаются разные дорожные мелочи и непременно маленькая тыквянка с нюхательным табаком, который они поминутно закладывают себе за губу. В руках у пилигримов короткие палки, узорчато выточенные, с острыми железными наконечниками, а иногда ярко раскрашенные красною и синею красками.

Пробегают конные гонцы на запыленных, вспотевших лошадях, с добрыми и недобрыми вестями в Бухару, к эмиру Мозафару, и от него в Ташкент к русскому губернатору. Проезжают потихоньку партии мирных путешественников: бухарские купцы, евреи, индийцы с красными изображениями пламени на смуглых лбах... - все это хотя минутные, но неперенные гости старого Кашкары, и у каждого в кошельке или кармане найдется лишняя чека, которая переходит в кассу обладателя землянки с неугасимым, вечно дымящимся кальяном.

Когда истощится запас табаку, рису и других хозяйственных запасов, а, в свою очередь, накопится достаточная сумма, - Кашкара договаривается с каким-нибудь арбакешем, усаживается на проезжающую арбу и отправляется в Ак-Тюбе или какую-нибудь другую деревню, верст за двадцать пять и более, за покупками. Для этого выбираются обыкновенно базарные дни, потому что в другое время в этих деревнях трудно достать что-нибудь, даже самое необходимое. В подобное отсутствие, которое редко продолжается более двух суток, землянка со всем своим несложным хозяйством сдается на попечение маленькой Тилле, уже умеющей заправить кальян, подсыпать туда табаку и подмести площадку. Торговля шла очень успешно; не было случая, чтобы кто-нибудь решился обмануть крошку-хозяйку, и скромная плата аккуратно складывалась в мешок до приезда хозяина, который и сводил счета барышам, накопившимся во время его отсутствия. Случалось, что результаты этих счетов превышали ожидания Кашкары, и старик любовно гладил по головке свою питомицу, называя ее "душкою", "умницею", "птичкою-скворчиком" и другими ласкательными именами.

Так изо дня в день проводилась жизнь в землянке на Большой Бухарской дороге.

Было прекрасное весеннее утро. Яркая зелень густо покрывала степь, желтые и ярко-голубые цветки (ирисы) пестрели по кособогу и прилежащим холмам; Бухарская дорога, проложенная в несколько следов, еще не просохшая от бывшего накануне дождя, стлалась по степи серыми полосами, сверкая продолговатыми лужицами воды по колеям.

По степи то там, то сям пронзительно свистали суслики: выскочит из норы крохотный зверек, станет на задние лапки, поторчит несколько секунд, словно желтенький колышек, и, свистнув, снова юркнет в свою норку. Кривоногая собачонка-хошайка стрелой носилась за этими крысами, поминутно перебегая дорогу и перепрыгивая через колеи. Этими эволюциями от души забавлялась крошка Тилля, усевшись на крыше и звонко хохоча над промахами хошайки. На девочке была надета одна только красная рубашка из крапчатого кумача; черные блестящие волосы разбиты на множество тонких косичек; на шейке - ожерелье в одну нитку из зеленых граненых стеклушек, и в правой ноздре миниатюрная бирюзовая сережка. Сам старый Кашкара тоже в одной, только длинной, до самой земли, рубахе из беленого холста, сидел у входа, прислонившись к стене спиной. Старик сидел и думал. Невеселые мысли бежали по его суровому патриархальному лицу (такие лица часто встречаются на библейских картинах). Большая, в полгрудь борода почти не отличалась своим цветом от белой рубахи; на макушке чисто обритой головы краснелась тубетейка. Его темно-коричневое лицо от белизны одежды казалось еще темнее, точно вылитое из античной бронзы; густые седые брови угрюмо нависли над полузакрытыми глазами; старческие тонкие губы шевелились, словно нашептывая что-то... Глубоко задумался старый Кашкара и не слышал ни звонкого смеха Тилли, ни прерывистого лая запыхавшейся хошайки, ни свиста сусликов, ни даже того, что большая золотистая пчела жужжала у него перед самым лицом, чуть не задевая за горбатый нос своими легкими прочными крылышками.

Старик думал о новейших политических событиях. "Никто, как Бог! - думает старый Кашкара и покачивает свою годовую. - Кажется, все шло хорошо; русские сидели себе покойно в своем Яны-Кургане, они нас не трогали, мы их тоже; что же они теперь копошатся? Куда идут они? Что им нужно? Неужели они хотят весь свет забрать себе?!.. Экие ненасытные!.. Да и наши хороши! Надо было затрагивать? Будто не знают, чем это может, да и не может, а должно кончиться... Никто, как Бог! Никто, как Бог!.. А мы-то, мы чем виноваты?.. Вот торговля стала, дороги пусты; последний караван прошел уже более месяца тому назад, а с тех пор хоть бы один купец проехал. Нынешнюю весну в полях почти никто и не работает, все боятся чего-то, прячутся и добро свое в землю закапывают. Деревни опустели, базаров нет... хоть и не ездят... вовсе фунта табаку купить негде... Никто, как Бог! Никто!.. Вот слышно, что там... - и Кашкара

угрюмо поглядел в ту сторону, где за цепью синих гор раскинулся в садах Джюзак, а ближе, по сию сторону гор, Яны-Курган с грозными пушками и батальонами солдат Царя Белого, - там с каждым днем войска все прибывают и прибывают; сам большой губернатор из Ташкента приехал, с ним и авганы с своим сатаной-отступником Искандером, и все на нас, все на наши бедные головы. Ну что ж? Пускай идут. Никто, как Бог, а мы только Его дети... Хоть бы скорее все это кончилось, - продолжал думать старик, - а то тяжело смотреть на людское безумство. Много крови прольется совсем задаром. Виноватые целы будут, виноватым ничего не сделается, а погибнут только те, кто ни в чем к этому черному делу не причастны..." Тяжело было старику думать свою невеселую думу, и не одна слезинка, прокатившись по бронзовой щеке, заискрились от солнца на седой бороде старого Кашкары.

А между тем вдали, по дороге от Яны-Кургана, виднелось несколько всадников. Всадники эти быстро приближались; они гнали лошадей своих во всю прыть, сверкая оружием. Скоро они подъехали к землянке. Кашкара вышел из своей задумчивости и, не изменяя позы, смотрел на прибывших; Тилля сползла вниз и прижалась к старику, а хошайка, поджав хвостик, твякнув несколько раз, забила за мешок с рисом и ворчала из своего убежища.

Лошади под всадниками были взмылены и тяжело дышали от скачки, за плечами у джигитов торчали фитильные ружья, сбоку болтались кривые бухарские сабли, на поясах ножи, а у некоторых за поясами длинные турецкие пистолеты. На одном надета была железная проволочная кольчуга и сверх тюбетейки такая же проволочная шапочка с наушниками и назатыльником. Это был сторожевой пикета бухарских войск, давно уже стоявших на барханах в виду Яны-Кургана.

- Эй! Старик! - закричал тот, который был в кольчуге. - Русские идут! Уходи, покуда цел!

- Да собирайся проворней, - добавил другой, - а то они еще до света выступили: часа через два здесь будут!

Кашкара отрицательно покачал головою и, раздув кальян, указал на него приезжим; те слезли с лошадей и стали поочередно затягиваться.

- Куда я пойду? - произнес старик. - Зачем? Что мне сделают русские?.. Мне их нечего бояться!

- Как знаешь! - послышалось между джигитами, и они, сев снова на лошадей, погнали их по дороге к Самарканду. Один из них, отъехав шагов двести, быстро повернул свою лошадь и опять подскакал к землянке.

- Садись, старик, сзади! - сказал он. - Да и девочку захватывай с собою; у меня конь добрый, доскачет и с двойною ношею. - Ну, как знаешь! - проворчал он, увидя, что Кашкара отрицательно покачал головою, и, щелкнув нагайкой гнедого аргамака, стал догонять товарищей.

Скоро всадники скрылись из виду, а старый Кашкара все сидел на своем насиженном месте, только девочке не велел далеко отбегать, и сам частенько, с небольшим беспокойством,

поглядывал налево, где, вынырнув из-за косогора, перегибаясь с холма на холм, тянулась дорога из Яны-Кургана. Скоро вдали, на самом горизонте, точно легкие облака, показались клубы пыли. Медленно подвигались эти пыльные тучи. Солнце поднялось уже высоко, стало сильно припекать и живо высушило сыроватую дорогу; суслики так же громко свистали (какое им дело до людских недоразумений!); тысячи птиц на разные голоса чирикали в воздухе; в траве шуршали ящерицы и ползали друг за дружкой степные черепахи, а на душе у старика становилось все мрачнее и мрачнее; недоверчиво глядел он на эту зловещую пыль, и чаще бледные губы шептали: "Никто, как Бог, а мы только Его дети". Маленькая Тилля прижалась к старику и собиралась плакать; Кашкара ласкал ее и как мог успокаивал свою любимицу. Скоро можно было в пыли различить стройно идущие массы. "Никто, как Бог!" - шептал Кашкара и машинально, по привычке, подсыпал в кальян свежего табаку, раздувал уголья и подкидывал на полупотухший огонь несколько сухих веточек.

- Все же люди! - думал он. - И, вероятно, так же курят, как и мы, правоверные!

Скоро передовые колонны русских поравнялись с землянкою. Сначала шли все конные по сотням, с яркими значками над каждою сотнею, кое-где виднелись начальники, особенно один был заметнее всех, - на вороной лошади, в белой как снег черкеске и высокой мохнатой шапке. Потом пехота потянулась. Солдаты медленно брели по дороге с мешками на спинах, с серыми шинелями через плечо, с блестящими на солнце ружьями; перед пехотою шли музыканты с закинутыми за спину барабанами, с медными рожками в руках. Кое-где ехали верхом офицеры; там и сям колыхались значки всех цветов, а в одном месте покачивалось большое знамя в черном кожаном чехле с медной оковою на конце. За пехотою, звеня и грохоча колесами, катились медные пушки; маленькие, но сильные лошадки дружно натягивали крепкие уносы; по бокам шли артиллеристы с банниками и прочею принадлежностью; за пушками опять пехота, а потом долго никого не видно было по дороге, только кое-где ехали шажком отдельные всадники. Это прошел авангард русских; главные силы тянулись еще сзади. Некоторые из проходивших мимо землянки русских забегали на площадку и наскоро затягивались кальяном, иные платили, иные так прохаживались, на даровщинку. Некоторые пробовали заговаривать с стариком или девочкою, но Кашкара угрюмо отмалчивался, сидя неподвижно, словно статуя, а Тилля все дальше и дальше пряталась за спиною своего покровителя, пугливо выглядывая из-за плеча большими круглыми глазками. Над стариком подшучивали и подсмеивались.

- Ишь ты, купец какой! - говорили одни. - Много ли в день-то наторгуешь?

- Это он, братцы, на дороге "растирацию" открыл!

- Знамо, "растирацию". Эй, тамыр, вали на грош курева!

- Ну, ну, чего остановились?! Ступай, ступай! - покрикивало начальство, и солдатики, оставив в покое старика, бегом догоняли своих.

А Кашкара хоть бы слово, только изредка подкидывает табуку да поддувает уголья, даже не заглядывая на кошомку, куда сыпалась довольно щедрая выручка.

Вот еще показалась большая конная группа. Во главе этой густой толпы ехал шажком на буланой лошади старик с седыми усами в белой фуражке с большим козырьком, закрывавшем половину лица. Все окружающее относилось с глубоким уважением к старичку, ловя каждое его движение. На всех лицах так и сквозила полная готовность к исполнению малейших его приказаний, всякий протискивался вперед, всякому хотелось как можно ближе держаться к старику генералу, который, казалось, не обращал на них никакого внимания. Разнообразные знамена веяли над конвоем; каждое из них принадлежало какому-нибудь лицу, находившемуся в свите; видней всего было светло-голубое с фиолетовой диагональной полосой и желтыми каймами; рядом с ним колыхалось ярко-красное с семью белыми звездами, расположенными в виде созвездия Большой Медведицы; позади этого - полосатое, желтое с черным; немного подальше - все белое, и на нем черный череп с двумя костями накрест внизу. Много еще разных значков покачивались и щелкали по древкам; многое в первый раз, на старости лет, пришлось увидеть старому Кашкаре, но, казалось, все это не производило на него ни малейшего впечатления, и его глаза совершенно спокойно, безучастно глядели на проходящий мимо него люд, на диковинные, невиданные им сроду вещи.

Много еще прошло русских, и конных, и пеших, много провезено было пушек; потом потянулись обозы, которым, казалось, и конца не будет: куда ни хватал глаз, все виделись ряды арб и русских повозок. Наконец снова показались войска; это были уже последние; за ними, так, брели кое-где одиночные люди, и все скрылось вдали... Лишь издали доносился скрип и гул движения, постепенно затихая все тише и тише, и затих совсем, а перед Кашкарой опять протянулась пустая, безлюдная дорога...

- Ну вот, - обратился старик к своей питомице, - русские и прошли, а ничего нам дурного не сделали!

- Посмотри, сколько денег!.. Много денег! - говорила девочка, указывая на целую грудку мелочи, накопившуюся на кошме.

- Да, они платят так же хорошо, как и наши! - пробормотал Кашкара. - И, вероятно, дела не будут у нас в худшем положении! - добавил он, сгребая в кошель деньги, между которыми белелось много серебряной мелочи.

День приходил к вечеру, стало свежее, по дороге давно уже улеглась пыль, и Кашкара, вытащив из угла чугунный котел, принялся за свою обычную стряпню. Проголодавшаяся Тилля грызла пшеничную лепешку, уделяя кусочки хошайке, которая, облизываясь, сидела тут же, беспрестанно подымаясь на задние лапки.

- Это кого еще несет? - проворчал старик, взглянув на Яны-Курганскую дорогу.

По дороге еле шел отсталый русский солдат. Он едва передвигал слабые, подгибающиеся ноги. Он все бросил, и мешок, и шинель, и сухари; одно только ружье он держал в своих усталых руках. Он был бледен, как полотно его рубашки, почернелые губы ссохлись от жажды, глаза глядели мутно, неопределенно. Он более чем устал, - он был болен.

Как он мог отстать так от своих, как забыли его на этой дороге - неизвестно. Едва только он добрал до землянки, как повалился на землю, совершенно обессиленный.

Старый Кашкара и не допрашивал прибывшего; он видел, что ему нужно. Войдя в землянку, он налил из глиняного кувшина большую чашку воды и принес ее солдату, тот жадно припал к краю и духом вытянул всю посудину, потом посмотрел на старика, процедил что-то сквозь зубы, лег головою на землю и тотчас же заснул как убитый.

Скоро совсем стемнело. Плов, сваренный в котле, поспел. Кашкара пытался было разбудить спящего, но это осталось одной только попыткой: русский мычал только во сне и несвязно бредил; голова у него пылала; изо рта вылетало порывистое, горячее дыхание.

- Ауру [*болен*]! - сказал хозяин и принялся за ужин с маленькой Тиллею.

Скоро они поужинали и собирались уже ложиться; огонь почти потух и едва освещал насажень вокруг себя... Вдруг старый Кашкара сделал нетерпеливый знак рукою и стал прислушиваться.

- Да, это едут! - шептал он. - А кто едет!.. Русские?.. А может быть, и не русские... его надо спрятать... кто его знает... может быть, худое что-нибудь!

И старик снова принялся будить солдата; снова не было никакого успеха. Тогда он приподнял его за плечи и поволок в землянку; там он положил его к самой стене, накрыл халатом и загородил мешками с табаком. "Все же не сразу кинется в глаза", - подумал Кашкара и вышел на чистый воздух.

Топот нескольких лошадей слышался все яснее и яснее, уже видны были темные силуэты верховых; их было четверо. Кашкара пристально приглядывался; ему хотелось узнать, кто же это такие. "Да, это не русские", - сказал он про себя и сел у входа на своем обычном месте.

- Эй, бабай [*старик*], жив еще? - крикнул подъехавший всадник.

Он был в красном халате и вооружен.

- Аллах велик! - отвечал Кашкара, - Что мне могли сделать русские?

- Ну, твое счастье... А давно прошли?

- Еще солнце высоко стояло, когда прошли последние!

Всадник пристально осматривался кругом и подозрительно поглядывал то на Кашкару, то куда-то в сторону. Остальные трое, не слезая с лошадей, держались в темноте.

- Ну, а за кальян тебе платили деньгами, или чем-нибудь другим? - продолжал спрашивать прибывший.

- Платили деньгами... Да тебе что?

- А то, что вон там штука такая стоит! - всадник показал рукою в угол, где в темноте, красною черточкою, сверкал ствол русского ружья.

- Мултук, урус мултук [*ружьё, русское ружьё*!] - проговорил другой всадник и слез с лошади.

- Мултук-то, мултук!.. - произнес первый. - А не забраться ли в берлогу к этому старому черту; может, там и еще что-нибудь отыщется? - И, сойдя с лошади, он направился ко входу в землянку.

- Туда нельзя, туда тебе не за чем идти! - сказал Кашкара, отстраняя бухарского джигита. - Нельзя же, говорят тебе!.. Да... ах ты разбойник! - простонал старик, падая на землю. Красный халат сильно оттолкнул его, и Кашкара не удержался на своих старческих ногах. Тилля громко плакала.

- Э, вон оно что! Урумбай, гей! Поди-ка сюда!

Высокий, широкоплечий Урумбай, согнувшись в три погибели, тоже забрался в землянку.

- Эге! Да что он, издох, или спит? - сказал красный халат. - Постой; держи его так... выше голову... ну, так, якши!

Послышался звук, как будто разрезали арбуз, потом что-то похожее на стон и продолжительное хрипение.

- Эй, там, на дороге, лови!

И из землянки вылетело нечто круглое и, глухо стукнувшись об землю, покатилося вниз к дороге, оставляя за собою красные брызги.

- Разбойники... разбойники... - шептал старый Кашкара; - тоже правоверными называетесь! Вы хуже последнего русского!

- Молчи, старый шут!

- Что молчать! Вы звери, волки бешеные! Ну, бей, ну, чего ж ты?! Ох, Тилля моя, Тилля!

И старик упал ничком, схватившись руками за голову.

Урумбай со всего размаха хватил его в висок прикладом русского ружья.

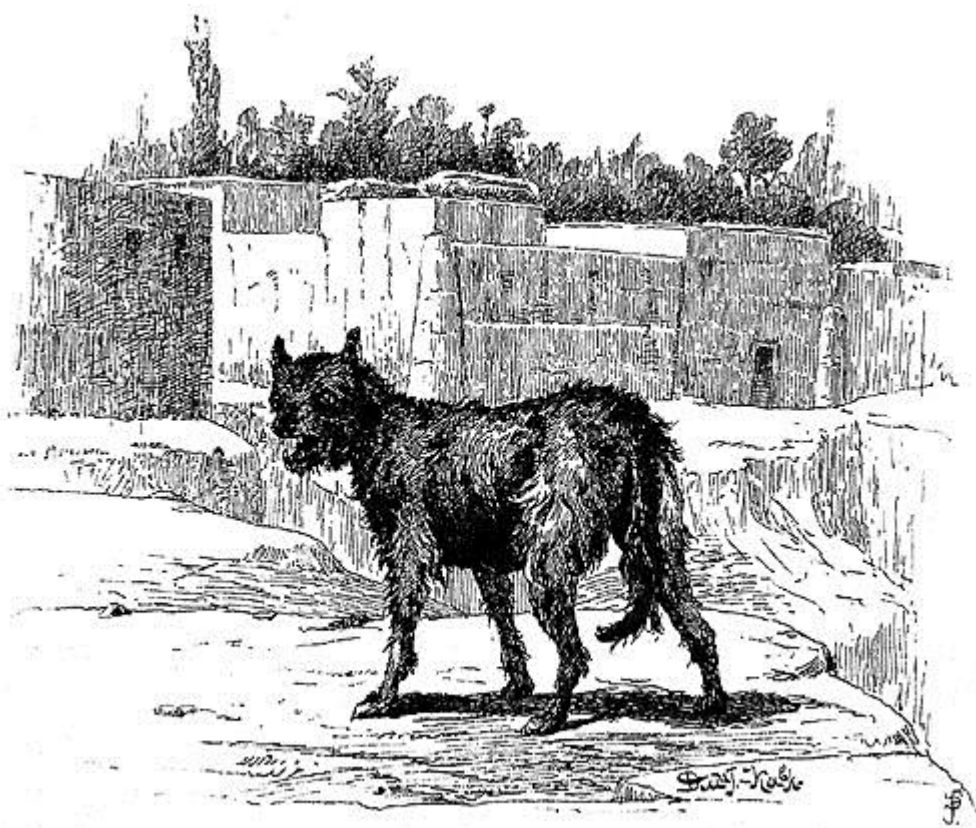
- На лошадей и гайда! - крикнул красный халат, выходя из землянки. - А это что ж? - указал он на тело старика. - Зачем?

- А затем, что на старости лет русским служить начал!

- А девочку с собою взять надо! - сказал один из джигитов, подходя к обезумевшей от ужаса Тилле. Та стала упираться; ее взяли на руки и поднесли к лошади; она вдруг опомнилась, пронзительно закричала и начала рваться.

- Кусается, звереныш! Ну да ладно! - произнес джигит. Он снял с себя чалму: размотал ее и спеленал бедную девочку.

Скоро замер вдали топот удаляющихся всадников. Тогда хошайка выбралась из своей засады - за мешком, подбежала к телу старика, понюхала его, потом кинулась по углам, заметалась, как угорелая, и выбежала на крышу, жалобно воя.



Саргская собака.

Из степи донесся детский крик. Из-за косогора хрипло завыл волк. Хошайка съежилась, быстро юркнула в землянку и опять забилась за мешок.

Так кончил свою жизнь старый Кашкара.

Теперь его землянку занимают другие жильцы, занимаясь тем же промыслом. Против нее устроено еще такое же жилище: - нашелся конкурент. Впрочем, дела и барышей хватает на обоих. Давно уже успокоилось в окрестностях; караваны снова потянулись по дороге, часто ездят русские офицеры в своих тарансах, а они хорошо платят. В одной из землянок завелся даже самоварчик и держится запас ячменю и клеверу. Круг торговли значительно расширился.

Юнуска-головорез.



Выставка голов военнопленных. Грав. с рис. Н. Каразина. 1872

Многочисленная толпа собралась в узких улицах, огибающих задние дворы дворца эмира. Толпа росла с каждой минутой; даже большой бухарский базар опустел, и в лавках остались одни только их владельцы, недоумевавшие, куда это повалил весь народ, и перекликавшиеся между собою, не выходя из своих уютных лавочек.

Глухой говор, гул движения, топот кованых копыт по камням, перебранки, смех - наполняли воздух. Тесно было в улицах, всякому хотелось пробиться вперед, лезли чуть ли не через головы, карабкалось на заборы и стены, и на всех соседних крышах, плоских, как стол, уселись пестрые, разнокалиберные группы волнующегося народа.

Полицейские (кавасы) с длинными белыми палками в руках пробирались сквозь толпу, пуская в дело, где мало было слов, свое оружие.

На первом плане толпились сотни ребятишек, которые всегда успеют протискаться вперед под руками и даже между ногами старших; потом виднелись ряды самых типичных физиономий, населяющих многолюдную Бухару: сарты и узбеки с своими густыми, курчавыми бородами, с строгими, библейскими лицами, в необъятных кисейных чалмах; скуластые окрестные кочевники в верблюжьих халатах, в остроконечных шапках; евреи с лоснящимися

локонами на висках; индейцы с красными значками между глаз; авганы в ярких красных одеждах, с распущенными по плечам волосами; безобразнейшие нищие в отрепьях... и на самых задних планах, на крышах и в отверстиях полуразрушенных стен, стройные женские фигуры в накинутых на головы синих халатах, с черными и белыми вуалями на лицах.

Общее внимание было приковано к маленькой двери, вделанной в глубокую нишу зубчатой глиняной стены, огораживающей обширные дворы эмирского дворца. Эта дверь была сделана из темного карагача с двухстворчатыми половинками и разукрашена тонкою резьбою. В середине половинок изображены были разные звезды, по краям - вызолоченные бордюры, а массивные косяки ярко раскрашены по синему полю ярко-красными, желтыми и голубыми арабесками. Белая, оштукатуренная алебастром ниша вся сплошь изукрашена мелкими, причудливыми барельефами, изображающими фантастические цветы и фрукты.

Дверь эта была заперта; тяжелая щеколда из луженого узорного железа была опущена на медную скобку. У двери стояла худая лошаденка, вся мокрая от пота и дождя, моросившего словно сквозь мелкое сито; стояла она, понунив голову, с отвислою нижнею губою, расставив свои разбитые ноги с обломанными копытами. На ней было привязано веревочною подпругою деревянное седло, ничем не покрытое; оборванная сбруя висела клочками. Кляча эта стояла без всякой привязи, уныло глядя на пеструю дверку своими прищуренными глазами.

Из-за стены над самою дверью торчал высокий шест, а на шесте - вся посинелая, с открытыми оловянными глазами, с искривленным ртом и оскаленными зубами - человеческая голова. Борода у этой головы была выбрита, рыжие усы и короткие бакенбарды торчали щетиною, остриженные волосы были перепачканы грязью и черными пятнами запекшейся крови.

Эта голова была русская.

Голову эту только что привез на поклон эмиру Мозафару-Эдину известный головорез Юнуска-джигит. Он уже не раз возил такие подарки грозному повелителю Благородной Бухары; каждый раз такой подарок оплачивался одним золотым тилля [золотая монета в четыре рубля серебром (собственно тилля значит *золото*)] и новым полосатым халатом из блестящего адраса.

Стоявшая у дверей кляча принадлежала "храброму" Юнуске-джигиту и составляла чуть ли не единственную собственность свирепого головореза, "грозы и бича беспечных гяуров", как называли его на базарах многолюдной столицы Бухарского ханства.

За стеною послышались шаги нескольких человек: кованые каблуки звонко щелкали по плитам мощеного двора; запрыгала дверная щеколда, и одна половинка дверей отворилась, визжа на заржавленных петлях. Маленькая фигурка бочком перешагнула высокий порог и показалась на улице, шурша накинутым на плечи, поверх грязного платья, новым халатом; на кожаном поясе висел длинный гиссарский нож, с боку, задевая за порог и камни, прыгала дрянная шашка, зазубренный клинок которой торчал из протертых ножен. Лицо у этого

человека было скуластое, сморщенное, и на подбородке торчали пучочки скомканных волос; косые глаза сияли удовольствием, хотя и забегали как-то неловко и беспокойно при виде такой многочисленной публики. Это был сам виновник выставленного на шесте трофея. Одобрительный говор и крики пронеслись в толпе. Юнуска ободрился.

За Юнускою вышли два дворцовых сарбаза в красных, шитых золотом, халатах, с кривыми саблями, и еще несколько не вооруженных, но богато одетых людей; затем узорчатая дверка плотно захлопнулась. Толпа стала расходиться по разным направлениям; большинство повалило вслед за Юнускою на базар, куда повели счастливого джигита насыщаться и наливать зеленым чаем, после многотрудной дороги.

Снова на всех базарных перекрестках сталолюдно и шумно по обыкновению, базарная жизнь закипела своим чередом, и оживленный говор нескольких тысяч голосов глухо загудел под сводами крытого центрального ряда с красными, посудными и чайными товарами.



Нищенствующие дервиши-дувана (юродивые). (Грав. по работе В. В. Верещагина)

Как раз посредине главного перекрестка, на самом проезде, уселись на корточки друг перед другом два человека; между ними было не более пяти шагов расстояния. Один из них был уже совсем старик, с всклокоченною белою бородой, с лицом, обезображенным следами страшной

местной болезни "паш-хорда", с глазами то поблеклыми, безжизненными, то вдруг разгорающимися как уголья. На голове у старика была высокая остроконечная шапка, отороченная внизу мехом: шапка эта была клетчатая, темно-зеленая с черным; на голое, почти черное тело, высохшее, как древняя мумия, был накинут изодранный халат, заплатанный лоскутами всевозможных цветов, преимущественно ярких; ноги босые, покрытые густым слоем засохшей грязи. В руках у этого странного человека был большой бубен и тоненькая раскрашенная камышинка, а за плечами - короткий точеный батик из какого-то темного тяжелого дерева, с острым наконечником в виде копья. Второй человек был помоложе, но и в его густой, неопрятной бороде пробивалось множество седины; голова его не была выбрита, как у всех мусульман, а кажется, и вовсе незнакома с ножницами или бритвою; трудно было рассмотреть, из чего состояла эта чудовищная прическа; казалось, что волосы, длинные чуть не до земли, были заплетены в несколько кос, и косы эти перевиты и перепутаны между собою в ужаснейшем беспорядке; все это скомкано кое-как на макушке и приколото двумя или тремя большими ржавыми железными булавками. Слой пыли густо напудрил эту массу волос, в которых, даже издали, виднелись какие-то белые,двигающиеся точки. Одет он был в широкий верблюжий халат, и тоже с босыми ногами.

Оба они, поочередно, говорили громко, нараспев, сильно жестикулируя и пронзительно вскрикивая по временам. Это были мнимые помешанные, юродивые ("дивона"), отрешившиеся от мирской жизни, предвещатели, - люди, пользующиеся большим авторитетом в полудиких народных массах, бродящие всю свою жизнь с одного места на другое, ярые фанатики сами по себе, публичные певцы и ораторы, рассеивающие фанатическое озлобление и ненависть ко всему не мусульманскому вообще и русскому в особенности.

Кругом накоплялись слушатели и жадно ловили каждое слово, боясь проронить малейший звук, вылетевший из вдохновенных уст. Конные и пешие останавливались на ходу и замирали, как статуи. Вдали гудела базарная жизнь, вблизи же нее царствовала мертвая тишина, в которой отчетливо раздавались хриплые, надтреснутые голоса ораторов.

Старик с бубном говорил:

- Аллах! Единый Аллах! Ты послал на меня глубокий сон, и сон этот тянулся девяносто девять дней!

- Девяносто девять!.. Слышите ли, девяносто девять? - подтверждал другой. - О, это ведь очень долго!

- Да, - продолжал первый, - но спало только мое тело, дух же мой летел высоко над землею и, наконец, стал, по воле Аллаха, на одном месте. И увидел дух мой долину - чудную долину, какая может быть только в раю, и какой вы еще, конечно, нигде не видели!

- Понятное дело, где же им видеть что-нибудь хорошее! - поддакивал волосатый.

- По долине этой текли реки; как серебряные ленты, тянулись они по сочной зелени; на берегах росли тенистые деревья, и гнулись до земли усеянные золотыми плодами ветви!

- Ах, как это хорошо! Хоть бы парочку этих золотых штучек? Да где нам, созданным из грязи...

- Друг мой, ты перебиваешь течение моих мыслей!

- Молчу, молчу; целую прах ног твоих и слушаю. Слушайте и вы, правоверные!

- Сколько роз, - продолжал старик, - сколько разных цветов покрывало долину, и какой чудный запах поднимался кверху, под самые облака!

- Так, что даже самые птицы чихали от удовольствия и хвалили всемогущего Аллаха!

- Ты опять, приятель! Имей терпение; твоя речь впереди...

- Посреди этой долины мирно пасся большой белый верблюд, и какой верблюд! Шерсть у него была из чистого персидского шелку, белая, как снег на небесных горах, шея длинная, как у лебедя, глаза черные, мягкие, нежные, как у женщины, походка плавная, голос звонкий, как трубы, которые трубят, когда великий эмир Мозафар идет на молитву. Верблюд этот ходил и ел одни только розы, или же лежал в тени и пережевывал, а белая, как молоко, пена бежала на густую, душистую траву. Хорошо было жить этому верблюду; его не выючили, не запрягали, у него спина была совершенно чистая, без сбоев и ссадин: видно было, что выючное седло никогда не прикасалось к чудному животному, - оно только ело, спало и прогуливалось. И воскликнул я: "О, Аллах! Где же это такая счастливая страна, где верблюдам лучше жить, чем у нас правоверным?" И услышал я голос, исходящий из светлого луча солнечного, и по голосу узнал, что со мною, недостойным, заговорил сам Магомет... Вы не верите? Спросите вот хоть у моего товарища!

- Да, да, я сам видел; настоящий Магомет, а не то, чтобы что-нибудь другое!

- Святой голос мне сказал следующее: "Посмотри на север, и не будешь ты завидовать этому верблюду". И взглянул я на север, и увидел... Боже, что я увидел!..

Здесь оратор вскочил, дико осмотрелся, пронзительно вскрикнул и грохнулся на землю, катаясь в судорогах, грызя землю и горько рыдая. В этих всхлипываниях можно было расслушать слова: "О, мы несчастные! О, мы жалкий род, созданный для печалей и горя!" Его товарищ старался подражать ему во всех движениях, а толпа стояла и слушала с глубоким, религиозным вниманием.

Наконец, припадок отчаяния несколько унялся; оратор успокоился, сел на корточки и продолжал:

- С той стороны, где солнце уже больше не греет, где никогда не видели теплых, летних дней, где царствует постоянная ночь, где все покрыто льдом и снегом, подымались густые, черные тучи. Тучи эти росли и двигались, они приближались, и в самой глубине их, в непроницаемой темноте, горели и бегали огненные искры. Большое стадо волков несло в воздухе; у них были

железные когти, железные зубы, и страшно сверкали их раскаленные очи. О, Аллах, на кого ты посылаешь это свирепое войско?! Помилуй нас! Спаси нас! Покрой своим священным щитом и не дай железным зубам нечистого зверя терзать правоверных детей твоих... О, Аллах! О, милосердный, великий!..

И загудела толпа, и заволновалась: она поняла, что это были за волки...

- Белый верблюд хотел вскочить и бежать, но было поздно. Да и куда уйдешь от гнева Аллаха?... Бешеные звери вцепились со всех сторон, жадно защелкали голодные зубы, и красная кровь полилась по серебряной шерсти верблюда. И упало на землю бедное животное, и тысячи зубов принялись его рвать и терзать. Померкло ясное небо, завыл холодный ветер, погнулись деревья, и стали застывшие воды. Тогда взмолился истерзанный верблюд, и взмолился языком человеческим: "О, Аллах, прости детей твоих! Прости, что они стали забывать веру отцов своих, что они позволили неверным осквернять чистую землю и вступили с ними в разные соглашения... Прости их!.. Они поправятся, загладят свои проступки и все как один восстанут на неверных пришельцев..." И услышал Аллах мольбу эту... С востока, через все небо перекинулась светлая радуга; по этой небесной дороге спустилось на землю большое, крылатое войско. Впереди, на белом коне ехал сам Тимур и грозно махал своим кривым, как месяц, мечом... Неожиданно ударило святое войско в самую середину волчьего стада, шарахнулись изумленные звери и пустились к себе на полночь, но не спасли их быстрые ноги: все погибли в бегстве, обagrив землю свою черною кровью. Тогда великий Тимур повелел отрезать все волчьи головы и наткнуть на копья, а копья посадить в землю, одно около другого, и эту стеною отгородиться от холодного севера.

- Вот так точно, как там, - видели? - пояснил товарищ проповедника.

- Да, совершенно так... И снова стало светло на всей земле, снова потекли прозрачные воды, выпрямились стройные деревья, а чудное войско удалилось снова на небо!

Старик кончил. Сперва несколько минут было молчание, потом глухой ропот прокатился в толпе и начал расти больше и больше, разносясь по обширному базару.

В одной из угловых чайных лавочек, на коврике у очага с пылающими угольями, сидел, поджав ноги, сам Юнуска-головорез; он жадно ел жирный, приправленный мелко изрезанными кореньями плов; он был очень голоден и спешил вознаградить себя, дорвавшись до вкусного блюда, запуская поочередно руки в жирную массу вареного риса и облизывая лоснящиеся пальцы. Около стоял большой медный самовар, ведра в три, тульской работы; самовар этот шипел, свистел и испускал из всех отверстий густые клубы пара, сквозь который сверкали целые ряды развешанных по стенам медных, покрытых красивым чеканом, кунганов (род чайника). Пузатые мешки с кишмишем, урюком и разными сушеными фруктами лепились по стенкам; по карнизам, в камышовых сетках, висели сберегаемые на зиму дыни и связки

красного стручкового перца. У лавочки толпились мальчики с плетеными лотками на головах, а на лотках лежали целые пирамиды горячих, только что вынутых из печки, лепешек.

Юнуска ел и рассказывал; собравшаяся публика внимательно слушала. Юнуска говорил:

- А остальные побежали...

- Это все трое побежали? - перебил рассказчика кто-то из толпы.

- Да, все трое... Я как выскочил на них из-за стены, так сразу убил одного, а другие трое испугались и побежали... Их всех было четверо: понимаете ли?.. Четверо. И у всякого было огромное ружье, и каждое ружье могло стрелять по два раза...

- А хорошие ружья у русских, - снова перебил один из слушателей; - у нас таких не умеют делать!

- Когда я был в Ташкенте, так видел у одного из ихних начальников маленькое ружье - так то восемь раз стреляло... Право, так!

- Все дьявольская работа, - перебил седобородый мулла. - Свяжешься с чертом, и сто раз из одного ружья выстрелишь!

- Так вот, - продолжал Юнуска, - побежали они; я за ними и еще убил двух, а уж третьего не убил, не хочу лгать, - третьего не убил: лошадь у него была очень хорошая, - ускакал проклятый!

- А ведь это он все врет! - раздался неожиданно смелый гортанный голос.

Рассказчик замолк; толпа оглянулась. У входа в лавку стояли два вооруженные авгана и, подсмеиваясь, поглядывали на осовевшего Юнуску.

- Как врет? Почему врет? Что же тут невероятного? - посыпалось из толпы.

- А потому врет, - сказал авган, - что видели мы не раз русских в поле. Немного их было - куда меньше нашего - а наши бежали, как бараны, и пушки бросали... Да ты, послушай, не напирай так, а то ведь что ж хорошего, - обратился он к одному из узбеков, который слишком близко подошел к нему с зловещим выражением в глазах.

- Это вы, подлецы, бегали! - слышалось в толпе. - Наемщики голоногие!..

- Постой-ка, брат, - шепнул один авган другому, - я кликну наших, а то ведь этой сволочи ишь сколько набралось!.. - И он хотел идти.

- Куда? Стой! - заревел косматый дивона, успевший подобраться к толпе и слышавший все, что происходило перед этим. - Ни с места! - И он схватил его за ворот красной куртки, но тотчас же захрипел и присел на землю... Поясной нож авгана уходил ему как раз под ребра.

Это было сигналом в общей схватке.

Первое мгновение авганы держались стойко, прижавшись спинами друг к другу; у них были кривые сабли с железными ручками, у нападающих же - одни только ножи, да и то не у всех. Вдруг целая чашка налитого из самовара кипятку плеснула прямо в смуглое цыганское лицо;

авган вскрикнул, схватился руками за голову и выпустил саблю... Толпа хлынула... слышался задавленный стон... Через секунду все было кончено для несчастных горцев.

Из переулка слышался звук флейт. Красивые мальчики, не старше шестнадцати лет, ехали попарно по главной улице; на них было все красное, а за плечами ружья с раскрашенными, узенькими прикладами. За ними два пеших старика в парчовых халатах вели пол уздцы красивого белого коня, у которого между ушей торчал высокий золотой помпон; на коне сидел, согнувшись, сам Мозафар-Эддин, поглядывая исподлобья своими недоверчивыми глазами.

Затихло все. Толпа расступилась и стала на колени.

Как раз посредине улицы лежали три истерзанных трупа.

Был холодный, дождливый день, по временам перепадал мокрый снег. В Джюзакском ущелье был резкий ветер, врываясь в боковые ветви, усеянные черными, покрытыми мохом грудями камня. Густой туман сползал вниз по крутым, скалистым скатам. Каменистая, словно природное шоссе, дорога извивалась по ущелью, переплетаясь с быстробегущим ручьем Джалан-аты. На дороге лежал издохший верблюд, вытянув свои длинные, мускулистые ноги, и над ним копошилась воронья стая, каркая и хлопая своими мокрыми крыльями.

Все смотрело угрюмо и мрачно, наводя тоску и уныние.

В стороне, за огромной, режущей туман своими острыми краями скалою, совершенно замаскированные ею от дороги, притаились два живых существа. Это были человек и лошадь. Оба предмета были совершенно неподвижны. Лошадь стояла, понуриив голову и изредка моргая сонными глазами, когда какая-нибудь, чересчур назойливая, капля дождя угодит прямо на ее длинные ресницы; грива у ней скомкалась и слиплась, мокрый хвост путался между ног, все тело слегка дрожало. Всадник сидел около, съежившись, уткнувшись носом в свой верблюжий халат и спрятав на чахлои груди освобожденные из рукавов руки.

Если бы кто-нибудь из проезжих по дороге бухарцев заметил его, то сразу узнал бы в нем "храброго головореза Юнуску".

Он уже целый день сидит здесь, притаившись и промокнув насквозь от беспрестанного декабрьского дождя. Он продрог, он голоден, пальцы у него окоченели, а он все сидит и ждет.

Он ждет ночи, и тогда, под покровом непроницаемой темноты, он вылезет из своего убежища.

Скоро туман стал все гуще и гуще, начало быстро темнеть, дождь перестал, но зато стало заметно холоднее.

Юнуска встал, подошел в своему коню; тот как будто очнулся от сна и тряхнул ушами. Джигит влез на свое жалкое седло, шажком выбрался на дорогу; здесь он повернул к Джюзаку. Измученная кляча, подгоняемая ременною плетью, заковыляла по твердому грунту своими разбитыми ногами.

Через полчаса он повернул влево, поднялся на отлогую, но, тем не менее, очень высокую гору, и опять свернул в сторону. Он, видимо, боялся с кем-нибудь встретиться. Грунт, вместо твердого, каменистого, стал топким; конские ноги проваливались чуть не по колено на каждом шагу. Юнуска слез, оставил клячу на произвол судьбы и пошел пешком.

Впереди краснели в тумане огненные пятна: это виднелись освещенные окна переделанной из темных сакель, низенькой, но длинной русской казармы. Юнуска тревожно поглядывал на эти зловещие пятна; ему поминутно чудились мерные шаги; он вздрагивал и припадал в земле, где и лежал по несколько минут неподвижно, затаив порывистое дыхание.

Вдали глухо грохотал подмокший барабан. Это в цитадели били вечернюю зарю.

Юнуска остановился, присел и начал пытливо оглядываться. "Здесь", - проговорил он, как будто что-то соображая. Там, где горизонт сливается с небом, протянулась светлая полоска, на ней обозначались черными силуэтами воткнутые кое-как в землю деревянные кресты. Юнуска находился на русском кладбище. Долго он ползал по разным направлениям, будто разыскивая что-то, наконец, остановился и начал рыть.

Он рыл быстро, тревожно - рыл, как собака, чующая под землю спрятавшуюся крысу; рыхлая земля легко уступала его лихорадочным усилиям, и скоро он добился до того, что его уже не было видно на поверхности.

Часа два продолжалась подземная работа; наконец, она прекратилась. Запыхавшийся, тяжело дышащий, Юнус выбрался на поверхность - и не один он выбрался, а с добычей. Добыча эта была круглая; у добычи этой были глаза, нос, уши, и добычу эту "храбрый джигит" тащил, крепко уцепившись пальцами за коротко остриженные волосы.

Юнуска выпрямился, положил около себя русскую голову и самодовольно улыбнулся. Он соображал:

- Еще один халат; я его, конечно, продам. Еще одна тилля... А славная монета эта тилля; сколько на нее можно сделать хорошего... В Бухаре опять будут кормить даром целую неделю... А какой беспокойный народ эти авганы... нехороший народ... плохие мусульмане, плохие... А!.. Что такое?..

За плечами Юнуски блеснул красный огонь. Без стога, без малейшего крика упал ничком в землю "храбрый джигит Юнуска-головорез".

Наурусова яма

Пришлось мне пошататься с месяц по горам, вплотную подступающим к большому озеру Иссык-Кулю. Тогда вся эта местность нам не принадлежала и составляла для нас полную тайну. Сведения об этой стране мы имели исключительно расспросные, а потому весьма сбивчивые и противоречивые; все-таки, в конце концов, эти сведения сводились к тому, что страна эта очень дикая, населена народом тоже мало цивилизованным, каракиргизами, или, как их тогда, даже и в учебниках, величали - дикокаменными киргизами, занимающимися, преимущественно, охотой и разбоем и чуть-чуть хлебопашеством, где только выгадывалась, поблизости зимовок, удобная площадка земли. Природа, говорили, здесь необыкновенно величественна, хотя и очень мрачного характера. Скалистые горные кряжи, увенчанные вечными льдами, непроходимые лесные чащи по скатам, зияющие пропасти, бешено каскадирующие потоки вод, глубокие, темные, извилистые ущелья и чудные оазисы - долинки, пестреющие дымящимися кибитками кочевников. И вот, в эту-то местность мне и пришлось наведаться для производства маршрутных съемков; это официальная сторона поручения, а главная - удовлетворение, хотя отчасти, того жгучего чувства любопытства или любознательности, как хотите, которое овладевает всяким путешественником, исследователем по профессии, когда на его пути судьба бросает что-либо загадочное, неизвестное, да еще, вдобавок, труднодоступное.

Пробирались мы вдвоем, как теперь помню, по чуть намеченной тропинке, вьющейся по дну дикого, загроможденного осыпями горного ущелья. Со мною был мальчик лет двадцати, вольнонаемный каракиргиз, Байтак, практически хорошо знакомый с этой местностью, мне лично очень преданный, человек ловкий, находчивый, мало-мало говорящий по-русски. Нанял я его месяца два тому назад в одном ауле, недалеко от города Верного, и нанял специально для этих поездок. Старый киргизский бий Нур-Верды рекомендовал мне этого молодого человека и, кроме того, для вящего обеспечения, отправил семью его в город под временный надзор, до моего благополучного возвращения, в виде заложников, что, впрочем, моего проводника и оруженосца не смущало нисколько, ибо он клялся Аллахом, в которого, как киргиз, не верил вовсе, и самим Албасты-басу (злым духом), существование которого признавал безапелляционно, что по его вине со мною не может случиться никакого несчастья, что он будет оберегать на пути каждый волос на моей голове, и уверен, что за все это получит потом от начальства большую серебряную медаль на ярко-красной ленте, лучше даже, чем та, что он видел на шее у самого Мирзы-Беткуева, аульного сборщика податей и прочих повинностей.

Итак, ввиду всего этого, отношения мои к Байтаку и обратно - были самые лучшие; в основе их лежало полное доверие друг к другу, а из доверия, само собою, вытекала и дружба, с моей стороны начальнически-снисходительная, с его - подчиненно-почтительная. Подо мною и под Байтаком кони были хорошие, превосходной местной породы, крепкие, выносливые, не

знающие, что такое усталость, и неприхотливые на корм, в чем, впрочем, и мы сами брали с них пример, так как на седло больших запасов не навьючишь, и насчет чего-либо мясного приходилось рассчитывать исключительно на собственное оружие. Ну да в этой стране, особенно как теперь, в летнюю пору, с чего другого, но с голоду умереть было трудно... Всякой дичи водилось тут обильно, и, мало пуганная, она легко подпускала в себе человека на расстояние верного ружейного выстрела.

Дорога, по которой мы ехали, была восхитительно хороша, конечно, не в смысле только путей сообщения, - в этом отношении она была хуже, чем можно себе даже представить. Справа и слева, то отвесными стенами, то крутыми, растрескавшимися скатами, поднимались скалистые горы, местами покрытые кустарниками; по дну ущелья, загроможденного валунами и обломками осыпей, струился с рокотом ручей холодной, прозрачной, как стекло, ключевой воды; на боковых скатах тоже, местами, сочились родники. Тропинка то шла самым низом по руслу ручья, то взбиралась выше, обходя обрушившиеся скаты и цеплялась по таким рискованным косогорам, что только наши, опытные в этих случаях, лошади могли держаться, не теряя равновесия; иногда эта тропинка тянулась узкими карнизами, то и дело осыпающимися под ногами, и не раз нам приходилось сходить с лошадей и вести их в поводу, придерживаясь в то же время руками за выдающиеся камни и за колючие ветви горных кустарников. Целые стаи серых куропаток "кеклук", с красносюргучными бровками и мохнатыми ножками, копошились по тенивым скатам, быстро перебежали тропинку и, завидя нас, с шумом снимались с места; громадные ящерицы, разинув пасть, неподвижно грелись на солнце, вытянувшись во всю длину на раскаленных камнях; над головами высоко-высоко, исчезая точками в темно-синем небе, реяли орлы, кое-где, но уже на более приличных расстояниях, виднелись красивые силуэты аркаров, этих диких баранов, с громадными, заваленными на спину рогами.

В настоящую минуту мы были сыты, ибо не более часу тому назад как вышли с привала, и, кроме того, за седлом чалого коня Байтака приторочена была большая половинка дикого козла, убитого вчера перед закатом солнца; а потому охотою мы не увлекались, а останавливались только тогда, когда приходила надобность менять направление и отмечать румбы по маленькой карманной буссоли Шмалькальдера, единственному инструменту для съемок, находящемуся, в данное время, в моем распоряжении, или же, - если встречалось на пути такое местечко, что мой дорожный альбом, словно сам собою, раскрывался, и карандаш выскакивал из жестяного футляра. С остановками такими мы подвигались вперед не очень-то успешно и во весь нынешний день пока прошли только четырнадцатую версту, а Байтаку очень хотелось попасть засветло к выходу из ущелья, к урочищу Наурус-бабай, где предполагалось провести ночь.

- Ты, Тюра-Никола, слушай! - говорил мне Байтак. - Надо скорее ехать... Вот скоро спустимся, там просторнее будет, рысью погоним... Не попадем до солнца, уже после нельзя будет...

- Это отчего нельзя?.. Ночи-то ведь невесть какие темные, доберемся!

- Старый Наурус не пустит, он камнями бросаться будет. Видишь, вон какие камни с гор скатились? Это все он накидал!

- Кто же это старый Наурус? - полюбопытствовал. - И что он такой за силач, что горами ворочает?

- А ты не знаешь?

- Не знаю...

Помолчал Байтак, искоса поглядел на меня, презрительно сплюнул и произнес:

- И чему это вас, русских, только учат?! Знаете вы много, а самого главного и не слыхивали...

- А вот ты расскажи, я тогда и знать буду. Ты вот те знал, что это за штука у меня, - указал я на сумку с буссолью, - я вот тебе объяснил, - ты теперь знаешь, хотя, все равно, ничего не понимаешь... Ну, рассказывай про своего старого Науруса!

- Рассказать, отчего не рассказать, рассказать можно... только...

И Байтак стал тревожно осматриваться кругом, точно мы были в людном месте, и он боялся постороннего слушателя.

- Это, видишь ли... - он сильно понизил голос, - мне так отец еще говорил, когда мы с ним тоже раз попали на это место... а отцу его отец говорил, мне дед, значит, а деду...

- Ну, конечно, так дальше, по наследству! - перебил я. - Что же говорил тебе отец твой?

- А то говорил, что жил на том месте старый-престарый мулла Наурус, и такой старый, что на свете не было ни одного старика, чтобы его молодым знал... Говорили, что ему пятьсот лет было от роду... Может, и верно! Вырыл себе старый Наурус яму, подрыл ее сбоку, чтобы дождем не мочило, да и жил в этой яме. Людей он видел редко: кто сюда заглядывать станет, разве только кто из гуляющих? И сидел Наурус один одинешенек, даже из ямы не вылезал. Кормил его сам Аллах; он посылал к нему диких коз, а тот доил их и пил молоко; больше ничем другим не питался. Дед мой раз, когда лошадей угнал косяк у китайцев, - этою же вот дорогою гнал - наведаясь к Наурусу, поклонился, благословения попросил, и тот сказал: "Иди с миром! Благословен твой путь от восхода до заката солнечного"... Только и сказал всего... Потом, кто только не видел старика, все говорили, что и их он так же напутствовал; только до самого смысла этих слов никто путем не додумался... После уже узнали. И, дивное дело! Как кто к Наурусу съездит поклониться, как кому он скажет свое: "Иди с миром! Благословен твой путь от восхода до заката солнечного", - так тому и пойдет с того времени во всем удача. Дед вот мой тогда весь косяк довел благополучно. Китайцы за ним сто человек послали вдогонку, да только они заблудились в наших ущельях, - половина передохла их, а другую половину поодиночке наши после повыловили... Дауд-бий тоже шесть раз принимался орла ручного, охотничьего, у Алаяра-хана красть, и все неудача! На шестой - попался. Зарезать его велел хан, да ушел ночью Даудка и, не откладывая дела, поехал на поклон к Наурусу... Н что же бы ты думал? Как съездил, так на другую же ночь и скрал орла, да еще и кобылу Алаярову сивую

увел, любимую... И все тогда стали Науруса-бабая за настоящего святого почитать, все ему стали возить платки, табак, рису, и деньгами много тоже в яму сыпали... А Наурусу начто подарки? Он табак не трогал, других угощал им, рис птицам разбрасывал, а деньги под себя в землю зарывал... "Деньги зло, - говорил, - на них крови много"... Однако брал, любил даже старик монету, особенно беленькую, серебряную, и все в землю да в землю... Только раз нашлись-таки люди нехорошие, что на эти деньги позарились. Думали, что, мол, везут ему со всех концов, невесть какую кучу навозили; что им, дескать, так, зря, в земле чернеть!.. Задумали они это темное дело и приехали двое на одной лошади пегой, приехали к самому закату солнечному, поклонились, а он им свое слово сказал.

- Так как же? - спрашивают, хитрые тоже. - Солнце уже садится, значит, нам тут и ночевать надо!

- Ночуйте, - сказал им Наурус, - только спуститесь вниз, к ручью, да душу свою отмойте, а то на ней черные пятна... я вижу... так-то!..

- Переглянулись те меж собою, оробели тоже. "Неужели же, - думают, - он замысел наш пронюхал?"

- Однако корысть одолела страх: притворились, что не понимают, сделали по его совету, до самой темной ночи дождавшись, старику и перехватили горло веревкою...

Помолчал Байтак несколько минут... Дорога тут пошла на подъем, и очень трудная даже, начинался Наурусов перевал, идущий ступенями. Твердый, оголенный от всякой растительности, известняк не оставлял на себе даже признака отпечатка конских подков: лошади скользили и поминутно падали на колени. Мы вели их в поводу, а сами тоже едва держались на ногах, несмотря на нашу мягкую, войлочную обувь. Ущелье сузилось настолько, что местами, расставив руки, можно было коснуться обеих стен; стены эти грозно нависали над головами, образуя фантастические своды, под которыми проходили темные сырые туннели.

- Ну, что же ты перестал? - говорю я Байтаку. - Рассказывай, что дальше было?

- А вот, погоди, выедем на светлое место, тогда... Тут уже самое страшное пойдет... Ты, тюра, назад поглядывай почаще... Мне чудится, что что-то за нами следом гонит... Далеко, а гонит... Постой-ка!..

Приостановились мы, прислушались... Лошади пугливо пофыркивают, беспокоятся. Выждали случайную минуту полного затишья... Нет, ничего! Только где-то, звучно-презвучно, крупными каплями сочится вода, и под темными сводами эти всплески разносятся... Тронулись дальше... Шли, шли... Глазами вон он виден, конец перевала, полувыстрела нет ружейного, а идти - так словно он все дальше да дальше становится. Однако добрались-таки... Одолели и повалились на землю, дух перевести... Кони стали, голову понуривши, от уха до копыта мокрешеньки, пахами так и поводят, и пар от них повалил облаком, потому что здесь холодновато стало порядочно.

Чиркнул Байтак спичку, закурил папиросу из моего запаса; закурил и я.

- Ну, дальше что?

- Дальше?.. Дальше вот какое дело вышло! Задушить-то им старика легко было, разом покончили, а после сейчас смута на них напала: не могут никак за дело приняться, пока тело тут же сидит, мертвое, с веревкою на шее... А ночь стала такая темная, что неба от гор не отличить, как не приглядывайся, ступить невозможно... Тут-то у них в яме от огонька отсвечивает, еще можно всмотреться, а из ямы выглянули... просто беда! Стали было тащить старика; тяжел, однако подается. Вытащили... "Куда же его спрятать?" - спросил дед мой...

- Как, разве это твой дед был? Тот самый, что у китайцев...

- Зачем дед?! - встрепенулся Байтак. - Разве я сказал "дед"? Тебе послышалось. Нет... деда тут моего не было... и отца тоже не было!.. Это были просто гуляющие люди... дурные люди... а отца не было... зачем отцу быть при таком деле.

Байтак, видимо, смутился и не скоро оправился до возможности ясно и подробно продолжать свой рассказ, хотя я и поспешил успокоить его уверениями, что я просто ослышался и что, мол, обмолвиться тоже легко, и что даже с учеными муллами бывает.

- Ну, то-то! - подозрительно и жалко как-то глянул на меня исподлобья Байтак и продолжал:

- Порешили они, эти люди нехорошие, оттащить тело подальше, вверх юры, куда никакой тропинки не идет, где человек никакой не заходит, и там его спрятать... А то приедут богомольцы, увидят такое дело, разыскивать начнут, пожалуй, еще пронюхают, тогда не отвертишься... Порешили и поволокли, не глядя на темноту; и очень дивились: отчего это кругом темно, а у них по пути, словно кто-то фонариком светит? Потом уже огляделись, что свет этот от Науурсова живота шел... Пошутил даже один: "Вот, - говорит, - спасибо тебе, мулла, за эту услугу"... Заволокли высоко-высоко и за камнями сложили, да еще сверху принажали. Однако провозились с Науурсом почти до свету: у них там наверху даже солнышко стало выглядывать, внизу же еще темно было, чуть прояснилось...

- И видят они, что тропинкою люди конные едут, прямо к Науурсовой яме... "Вот горе! - думают. - Как же теперь быть? Заприметят нашего коня, муллы не найдут, до нас доберутся. Пропали наши головы!.." Сидят, молчат за камнями, выжидают, да друг на дружку поглядывают... Проехали конные мимо, не заглянули в яму. Дали им наши из вида скрыться, собрались вниз ползти, опять топот конский внизу слышится, опять едут чужие. Едут, совсем вот как будто прямо к яме, а там, глядишь, все мимо да мимо... И целый день эти проезжие мучили тех двух, что за камнями сидели... Никогда такого проезда по этой дороге и не видывали, а тут вот, словно в базарный день к торговому месту народ поднялся.

- К вечеру уже только смекнули наши, что это им так только чудилось, и день они даром потеряли; пришлось в сумерках спускаться. Залезли в яму, а уже и вторая ночь наступила. Развязали они коржумы у седла, - это чтобы деньги ссыпать, разрыли землю и чувствуют

руками, как все-то им в горсть кругляки серебряные лезут... Гребут-гребут, все до дна не доберутся... Наклали один коржум, наклали другой. Навьючили так коня, что у того поджилки трясутся, на ногах еле держится.

- Не довезем, - говорит один. - Будет с нас... оставим половину.

- На себе поташу, не брошу! - кричит, надсдается другой - пожадной оказался.

- А все деньгам нет в яме убыли. Видимое дело, Албасты над ними плохую шутку шутит за их дело доброе, а те не понимают ничего: разум у них помутило, волю отняло... Конь полег, встать не может, а те, знай себе, подсыпают... Только слышат они, загудело наверху, загрохотало, светом все красным озарило, словно костер смоляной сигнальный кто запалил; и видят, как будто катится гора целая, каменная, и прямо на Наурусову яму. Оцепенели они оба от страха, веревками словно кто окрутил их, двинуться не могут, а гора докатилась, рассыпалась и завалила их начисто, и с лошадьё, деньгами навьюченной!

- Ты откуда же это все подробности знаешь? - перебил я рассказчика.

- А вот погоди, что дальше было! - покосился тот на меня и, сплюнув на кончик докуренной папиросы, продолжал:

- Долго ли, коротко ли лежали те, люди, однако очнулись, совсем как бы в могиле, заживо погребенные... Яму-то наискось завалило, так им простору оставило немного... Стали откапываться... В могиле-то ведь не в сакле, неохота оставаться, забыли и про деньги... Рылись, рылись, все ногти порвали, пальцы ободрали, однако денной свет замаячил им очи, сил поддал. Вырылись! "Нет, - говорят, - это нас Наурус святой наказал за грех наш тяжкий; надо этот грех, как ни есть, замаливать". И порешили они теперь остаться здесь на месте, пока не складут настоящий мазар покойнику - аулье святое. Принялись за работу... Первым делом, коня отрыли раздавленного, - там ведь котомка была на седле с припасом съестным. К коржумам, что с деньгами, и дотронуться боялись. Погрызли малость и стали камни таскать, да в порядок станами укладывать. Целый день работали, никто не проезжал, не проходил: не мешал, значит; а к ночи только спать полегли, опять грохочет наверху, опять горы осыпаются, и свет багровый зарево даже на небо откинул... И валятся все камни на Наурусову яму, а мазар их, только начатый, хоть и около, близко, однако не трогают. Смекнули наши, что святому работа их угодна, коли не давит больше, милует. С рассвета еще ревнивее принялись... И так вот девять дней все камни таскали да укладывали. Довели стены высоко, и надо свод сводить, а на это уменья нету. Как быть? Надумали сотворить намаз большой (молитву) в честь покойника и идти домой, в аулье мастеров нанимать. Спустились к роднику, помолились с омовением, одежду всю с себя поснимали, и халаты, и рубахи, остались в одних штанах, а прочее все на стены повесили, приношения ради Наурусовой памяти; переждали еще ночь, потому чуяли, что, как стемнеет, опять Наурус с горы камнями начнет швыряться, и поутру рано, как улеглось нее в лощине и успокоилось, давай Бог поскорее ноги отсюда.

- Года четыре стоял мазар некрытый, потому мастерам деньги надо заплатить за работу, а денег где достать! Пошли наши оба в "дивоны" (юродивые), по всем кишлакам слонялись, по базарам, невесть что народу рассказывали, пели, ломались, набрали "чеками" (мелкая медная монета) малость, да все не хватает... Случай тут счастливый выдался: привелось им купца одного маргеланского на дороге застукать, да обобрать... Ну, тогда уже можно было раскошелиться... Лето еще не прошло, до первого снега поспела крыша, знатная крыша, круглым сводом и с окошечком, вот ты увидишь, как приедем ужо. Да кроме той крыши - разохотились наши - поставили два шеста с хвостами и шарами медными, да рогов аркарных натаскали с дюжину... и стал теперь Наурусов мазар из первых по всему нашему краю горному.

Однако, пора! Солнце через час сядет, а нам и дороги-то не меньше того осталось!

Дорога по спуску с перевала оказалась очень недурна, местами мы даже скакали полною рысью, и скоро завидели вдали, на каменной террасе, словно балкон, выдвинувшийся глубокою, темною пропастью. Круглый купол мазара и его косматые бунчуки, неподвижно висящие на кривых шестах в тихом вечернем воздухе.

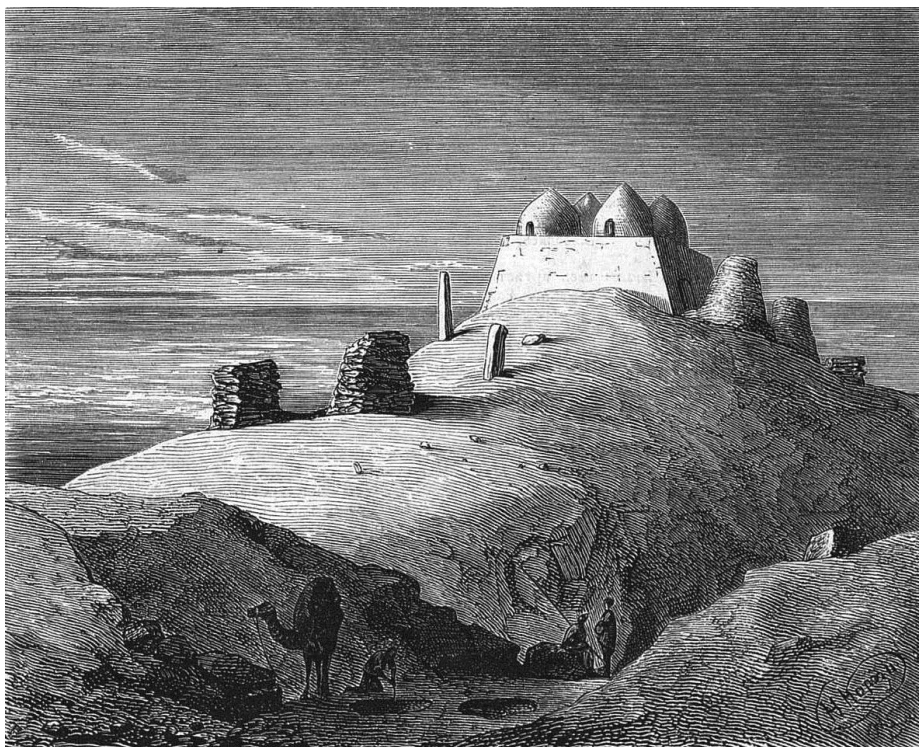
Мазар Наурус, как внешним видом своим, так и внутренним убранством, ничем особенно не отличался от прочих мазаров; он был только немножко больше тех, что мне приходилось видеть до сих пор. Сложенные из дикого камня-известняка стены были слегка проштукатурены внутри глиною и успели уже прорасти травюю, свод закоптился от дыма костров, раскладываемых обыкновенно путешественниками и богомольцами в самом мазаре. Маленькое отверстие входа едва могло пропустить человека и, кроме того, наверху, в своде, фантастично мигало крохотное, щелеобразное окошко, откуда беспрестанно, под вечер, влетали и вылетали веселые летучие мыши.

- А что же стало после с теми? - спросил я своего спутника, когда мы уже устроились на ночлеге как следует, и наши чайники весело забурчали, испуская белые клубы ароматического пара.

- А ничего, благополучно прожили! - отвечал Байтак. - Старый, тот давно помер, годов двадцать, еще когда про вас, русских, и не слыхивал никто на нашей стороне. Его, видишь ты, накрыли раз на чужом табуне, такое уж постоянное мастерство было у покойника, и били очень... Так били, так били, что дня через два он и помер своею смертью; а другой, помоложе, - тот недавно помер, два года всего, и мне все это перед смертью рассказал, да еще говорит: "Ты, Байтак, вот что, - ты, все-таки, попытайся, поразрой когда ту гору, что от мазара на восток сорок два шага надо отмерить, - там серебра и-и сколько!" Только я на это не пойду, я и тогда, когда он помирал, говорил ему: нет, мол, батько, ты меня на такое дело не толкай... может, и серебро-то такое, что его отроешь, а оно в уголь обратится, либо в каменья мелкие... Это ведь, в таких делах, бывает тоже...

Атлар

Повесть-быль из среднеазиатской жизни



Н. Н. Каразин. Гробница богатыря Илешеса, близ реки Темири

1

С кургана Атлар-бек далеко видно кругом. Куда ни взглянешь, всюду расстилается привольная, беспредельная степь.

На той стороне, где восходит солнце, там еще синеют два кургана, стоят рядом почти что, кажется, что совсем один подле другого, а ближе подъедешь, так нет, - далеконько! Это простые, неважные сторожевики-курганы, насыпанные еще на памяти старых людей, по приказу бия Аблая-Кенисары, когда тот орду поднимал против русских. Под курганами не лежат богатырские кости, и над ними не веет косматый бунчук над святою могилою. Далеко тем - до кургана Атлар, с его высоким мазаром [*мазар - надмогильное сооружение*]!

Мазар этот сложен не просто из глины, а из плитного, жженого кирпича, привезенного издалека; над мазаром хитро выведен высокий купол, у входа фронтон с узорчатою резьбою по карнизу и бортам смело очерченной арки, на внутренних стенах полосами тянутся изображения воинов, пеших и конных, сцены охоты и боя, верблюжьи караваны, боевые доспехи, борзые собаки и парящие ястреба и орлы. Посреди мазара стоит тяжелый, с трех сторон отесанный камень, а на его гладких сторонах, еще и до сих пор, видны следы временем источенных надписей. Под этим камнем, чуть не на десятисаженной глубине, зарыт великий богатырь и хранитель степной вольности, Атлар-мулла. Слава о его подвигах прошла по всему свету, из конца в конец; разнесли по свету эту славу певцы, да и до сих пор поют ее. И нет никого, кто

бы не слышал и не знал про Атлара, не чтит бы свято его памяти и не преклонившись проехал бы мимо его могилы.

На самой вершине кургана стоит знаменитый мазар, над его входом чернеет наискось высокий шест с медным шаром на цепи и длинным конским хвостом. В его, местами провалившейся, купол - заглядывает золотой, солнечный луч, освещая на могильном камне стертые надписи, заливает дождь, обильно смачивая почву в расселинах мостовых плит; проросли оттого густым бурьяном эти расселины... Лес лесом - высокие стебли к куполу тянутся, словно хотят выглянуть сквозь его пробоины на свет Божий...

Когда ветер, врываясь в высокую, входную арку, вновь вырывается на свободу сквозь купол, мазар словно стонет протяжно и жалобно, и этот могильный стон далеко разносится по степи, пугает народ по ночам, и говорят тогда:

- Это Атлар запел!.. к непогоде, к беде какой-нибудь... наверное!

У подножия кургана расстилаются превосходные овечьи пастбища, все солончаки, а на них полынь, чебер и солянка, любимая пища баранов. Несметные отары бродят по степи, и полуголые пастухи с места на место перетаскивают свои войлочные шалашики, дымком сторожевого костра обозначая свою стоянку... Там и сям поднимаются синеватые струйки, а ночью красные огоньки искрятся в степном тумане. Самые кочевья далеко отсюда, верст двенадцать, - только с вершины кургана чуть видны чернеющие верхи многочисленных кибиток. Там и речка извивается серебряной нитью, обросшая густым камышом и кустами лозняка и вереска. В другую сторону смотреть, видна желтая лента караванной дороги, и за нею серебряная полоса соляного озера, с белыми берегами, на которых выветрившаяся соль, словно снег, сверкает на солнце.

Кочевья эти принадлежат богатому роду букеевскому испокон веков, и никто, даже сам грозный хивинский хан, не посягал на их, исстари насиженное, право.

Два пастуха, один лет семнадцати, коренастый парень, широкоскулый с сверкающими, крепкими, как у волка, зубами, другой, года на три моложе, только что сняли с огня котелок и покрыли его рваным, армячным халатом, чтобы просо с бараньим салом пропрело хорошенько. Старший вытащил из сапога маленькую тыквянку, взял щепотку тертого табаку в рот и даже зажмурился от наслаждения, младший ручкою нагайки поправлял еще горящую золу, подкидывая туда кусочки сухого кизяка... Обед готов, пора бы и поесть!.. да и время! Солнце далеко склонилось за полдень, тени стали длиннее и гуще... Последний раз поглотили всухомятку еще утром, по росе, как раз теперь бы время, да третьего товарища поджидают.

- Джюра! кричи этого ишака Мат-Ниаса, - сказал старший младшему.

- Сам кричи! Чего я один кричать буду, - отозвался младший.

- Ну, давай кричать вместе, - уступил Джюра... - Начинай!

Оба мальчика повернулись лицом к мазару, наставили руки ко рту трубою, понатужились и крикнули...

Только дети степей умеют издавать такие пронзительные, резкие звуки... На всем пространстве, занимаемом отарами, меланхолические овцы разом подняли свои головы и посмотрели, словно по команде, в одну сторону. Дремавший неподалеку ишак, под тяжелым выучным седлом, вздрогнул, вскочив на ноги, и испуганно повел своими длинными ушами, сая степных куропаток, с шумным хлопаньем крыльев, снялась из густой заросли - и низко, почти стелясь над землею, полетела дальше от беспокойных криков людских.

- Ма...ат Ни...аз! - повторили свой призыв пастухи.

Чуть слышно отклик донесся по ветру со стороны мазара. Там, на самой вершине купола чернелась крохотная точка; издали казалось, что эта птица спустилась на купол отдохнуть от далекого полета. - Точка эта быстро и ловко сползла вниз на карниз мазара, - пробежала по этому карнизу и осторожно стала спускаться по выступам и расщелинам кирпичной кладки. Прошло добрых четверть часа, когда к нашим пастухам присоединился третий, совсем ребенок, лет десяти, не больше, стройный, черноглазый, - с прямым тонким носом и красивым овалом рта, совсем уже не монгольского типа...

- Ну, давай есть! - произнес прибывший и приподнял армяк, закрывавший котелок.

Пастухи принялись за ужин. Ели молча, усердно. Первый прервал молчание Джюра.

- Слышь, Мат-Ниаз, - поглядел он на младшего товарища. - Я тебе говорю: надоешь ты до смерти Атлару, он рассердится и превратит тебя или в птицу, или в ящерицу, и будешь ты жить всегда в мазаре... Помяни мое слово!

- С Атларом не шути! - добавил второй, Кадык. - Атлар не любит, когда на него лезят...

- Меня любит! - перебил Мат-Ниаз... - Я сижу там и слышу, как он говорит: "Джаным Мат-Ниаз, джаным-бала [душа Мат-Ниаз, душа мальчик]..." Атлар мне все показывает. И волка показывает, когда тот к нашим овцам подбирается, - и орла, когда тот ягненка украсть хочет, и дедушку Гайнулу, когда тот нам из аула хлеба везет... все вижу... Я даже вижу... - Мальчик вдруг остановился, раздумался на минуту... покосился в ту сторону, где солнце розоватым светом окрасило высокие стены мазара, и повторил: - Я много другого вижу... Много, много...

Мат-Ниаз глубоко вздохнул и замолчал.

- Что же ты еще видишь? - пытливо проговорил Джюра.

Ребенок будто не слышал вопроса.

- А я бы, кажется, ни за что на свете не полез на Атлара, - произнес Кадык, - я бы, если бы там услышал что, умер бы со страха. Смотри!

Все вздрогнули и взглянули по указанному направлению.

Два громадные орла, - описав медленные круги над могильным куполом, поочередно спустились один на купол, другой на вершину бунчука - и сложили крылья.

- Вот этих больше всего бойся! - указал пальцем Джюра. - Ты там сидеть будешь... Ты маленький... Налетит такой, собака, клюнет, и нет Мат-Ниаза... Полетишь ты оттуда вниз кувырком, костей не соберешь... А то и совсем унесет орел... На прошлой неделе у нас какого барашка утащили орлы, а ты много ли больше сам-то.

- Я орла не боюсь! у меня вот что есть! - храбрился Мат-Ниаз и вытащил из-за пазухи короткий ножик, в кожаном чехольчике.

- Ишь ты богатырь какой! - засмеялся Джюра... - А не бойсь спать-то не пойдешь в мазар - спать-то сюда, не бойсь, к нам в шалаш норовишь забраться...

- Отчего не пойти спать! - задумался Мат-Ниаз. - Я и спать пойду. Отчего не пойти... Меня Атлар любит... любит...

- Ну так вот походи сегодня! - подзадорил Кадык.

- Пойду!..

- Не дури, не ходи! Это еще что выдумал?!

- Вчера к нам, в аул Бугай-бия, знахари пришли - и тот старик, что в прошлом году все играл и песни пел про Кениссару, - заговорил Кадык.

- Кто тебе сказал?

- Да ездил я утром вон туда, - на Косую балку; там говорили.

У Мат-Ниаза глаза разгорелись любопытством, и уши насторожились.

- Только Бугай-бий не принял знахарей - они в прошлом году лечили у него рыжую лошадь его любимую, ее-то не вылечили, а девять жеребят угнали ночью.

- Почему же думают, что они?

- А по следу видели! Бугай говорит... Только вот люди знающие - опасные. Еще зла какого-нибудь наколдуют, нагонят черную силу, а то бы я их выходил, - плохо пришлось бы! Ну пускай, говорит, лопают, подавятся. А нынче не принял... Проходите, говорит, дальше, люди добрые - у меня все здорово, лечить некого.

- А песенник? - спросил Мат-Ниаз.

- Песенник остался ночевать, а утром рано тоже уехал.

Мальчик вздохнул глубоко...

- Спать пора! - проговорил Джюра... - Сходи, Кадык, набери колючки на костер - этого не хватит до утра.

Снарядились пастухи, запаслись топливом, окликнули собак, Джюра сел на ишака и объехал кругом отару, побил ее в кучу потеснее; забрались потом все трое в шалаш, Мат-Ниаза посредине положили, закрылись с головами халатами и заснули.

А ночь стала холодная. Темное небо вызвездило ярко; словно кто алмазы рассыпал пригоршнею по темно-синему полю... Затихло все в степи, только баран какой-то, поблизости, больной, должно быть, заперхал и засопел, да собака старая, косматая, - во сне, может, волка

зачуяла, - глухо проворчала, открыла один глаз, снова зажмурила и вытянулась... успокоилась тоже.

2

- Отчего Мат-Ниаз не пойдет ночью на Атлара? Почему же днем не страшно, а ночью страшно?.. Ведь Мат-Ниаз любит старого Атлара и его Атлар любит... Мат-Ниаз такой маленький, его и орел унести может, а Атлар большой, сильный... разве тяжело ему, когда такой малютка по нем лазит... Нет, не тяжело!.. Атлар ему днем все показывает, а что он покажет ночью? Что, если он будет добрый и покажет ему, что там, где звезды, делается... Пойти разве туда... чего бояться?..

Так думал Мат-Ниаз, лежа между товарищами - и не спалось ему, все его тянуло к старому другу... на этот таинственный, вековой купол.

Храпит Джюра, вторит ему Кадык, и не слышат, что мальчик поднялся и ушел, чуть шурша своими легкими ногами в степном бурьяне.

Атлар днем велик, а ночью кажется еще больше - растут с каждым шагом вперед его громады, и высоко уходят в небо грандиозные очертания купола...

"Не взлезть теперь, пожалуй, - колеблется мальчик. - Атлар... святой, добрый Атлар... можно?.."

И чудится Мат-Ниазу, что вздохнул кто-то вверху, под темным сводом, и тихо засмеялся... да так приветливо, что, ободренный, он мигом отыскал знакомую трещину, а по ней привычную дорогу, все выше да выше, вплоть до самого большого отверстия, под карнизом, где теперь ярко искрились звезды, на темной синеве холодного, ночного неба.

Выбрался Мат-Ниаз на карниз наружу, ловко забрался на купол и сел... Хорошо так сидеть, легко дышится, и далеко расстилается вокруг уснувшая степь, и не видно в мраке, где она кончается, - где это звездное небо начинается...

Задумался пастушок, к дремоте клонит, а ночной холод дремоту разгоняет; закутался плотней в свой халат, свернулся в комочек, съежился...

И чудится Мат-Ниазу, что не камень под ним, а железо... Ничего под голову не было, а теперь, словно дерево вековое, высокий султан колыхается... не на куполе он сидит, а на богатырском шлеме, и из-под шлема этого, теперь уже ясно, отчетливо, слышится голос человеческий.

- Спасибо, малютка, что меня, старика, потешил, не побоялся прийти навестить меня ночью, спасибо!.. Покажу я тебе много такого, что потом пригодится, покажу тебе то, что люди еще не скоро увидят. Даже то покажу, что твои внуки и правнуки разве дождутся... Смотри и вдумывайся!.. Поймешь, - твое счастье, не поймешь, - меня не спрашивай.

Только сказал это старый Атлар, как вся степь осветилась, но не дневной это свет, не видно солнца, и по-прежнему - темно небо. Ярко светят на нем только звездочки. И не степь это совсем, не то, что было прежде... нет ни озера, ни бесконечной полосы караванной дороги, ни этой равнины с отарами и черными точками закопченных, киргизских кибиток... развернулись теперь перед глазами ребенка зеленые сады, поля золотистого хлеба, огороженные, каменные сакли, стройные иглы минаретов. Всюду снуют люди, на киргиз совсем не похожие, смуглые, горбоносые, с большими черными глазами... женщины на полях копошатся, дети резвятся, а далеко за садами синие горы поднимаются. Что за страна такая невиданная!

- Смотри, смотри... - слышно из-под шлема, - смотри, это родина твоей матери.

И припомнил Мат-Ниаз, что давно как-то, - мать его, покойница, говорила ему сказку какую-то, - а в сказке этой, ну вот точь-в-точь такие сады были и горы синелись вдали, высокие...

Жадно воззрился он и видит, что поднимается страшное смятение... пожарное зарево заливает окрестность, черный дым валит сплошными тучами, слышны кругом вопли страха и отчаянья.

Из-за дыма скачут дикие всадники, жгут и рубят все, и в полон берут... потоками льется кровь, лужами собирается в низких местах.

- Смотри, - шепчет под шлемом старый Атлар.

Пески, знойные и раскаленные... пропали сады, и поля роскошные тянутся в этих песках, словно ныряя в сыпучих барханах длинного каравана. Идут тяжело верблюды, навьюченные разным добром, за ними гонят скот, и со скотом вместе и людей, скованных железом, связанных, падающих от изнурения. Гонят их все такие дикие всадники, а между теми всадниками много таких, что и на деда Гайнулу похожи, и на бия Бугая, и на Курмыш-хана из соседнего аула... совсем как наши букеевцы. Вот едет один на поджарой чалой лошади, сзади за седлом сидит женщина, руки и ноги у ней к седлу привязаны, сидит чуть жива и голову понурила. Молодая такая, красивая. Была бы старее, совсем на мать похожая.

- Мама, - шепчут губы Мат-Ниаза...

- Смотри, - шепчет чуть слышно голос под шлемом.

Снова гул тревоги, снова смятение, лязг оружия, дикие крики борьбы и проклятия.

Несутся из-за песчаных барханов новые всадники, в чалмах, в цветных халатах, на стройных прытких конях, - сшиблись с теми, пески обгаются кровью, пыль поднялась кругом и все тою пылью затянуло. Пыль налетевшим ветром понесло в сторону, а с нею и все, что перед этим видел обезумевший от страха ребенок.

Мирно спят богатые аулы, счета нет кибиткам, счета нет дремлющим стадам. Широкая река плавно катит свои воды, и густые камыши шелестят, волнуются на ее берегах... А за рекою уже собирается что-то недоброе. Вот тихо, беззвучно плывут легкие плоты, а на плотях люди... вон и просто верхом переправляются. Проснись, аул... враг подходит! Спит мирным сном богатое становище, - не чувствует.

И опять голоса мольбы, злобы, отчаяния.

Снова собираются люди, правят оружие, седлают коней... и готовятся к мести кровавой. Что же, значит, опять прольется кровь?!..

- Смотри, смотри.

Площадь большого, богатого города. По всем четырем сторонам стоят громадные здания, хитрыми, цветными узорами разукрашенные. Кишит народом эта площадь, и смотрят все вверх, руками показывают. А там, на высоких шестах, все головы и головы, и каких только голов здесь не видно - и старые, седобородые, и молодые, безусые. Черная кровь стекает по шестам на землю, а там, под роскошную арку, сверкает топор палача, и с каждым взмахом его все новые и новые головы валятся.

Дрожит Мат-Ниаз, закрыл глаза от ужаса, а топор все стучит и стучит... тук-тук-тук...

- Скоро ли это кончится?

- Смотри, смотри!

Снова их степь, такая же, как и днем, с высоты Атлара видна, - только на север она гораздо дальше протянулась, а с севера, гора не гора, - богатырь на белом коне, шагом едет.

Весь серебром залит этот витязь, спокойно на юг смотрят голубые глаза, в одной руке богатырь молнию держит, в другой зеленую ветку, покрытую утренней росой.

Все, и стар и млад, поднялось навстречу пришельцу с севера, собрались несметные полчища, дорогу загораживают... и нельзя, сил нет загородить ему путь, сил нет остановить покойный, мерный шаг его лошади.

Падают перед ним рядами люди вооруженные, встают позади безоружные... друг на друга глядят, словно от глубокого сна очнулись. Льется потоками кровь перед всадником, цветами и золотым хлебом позади его эта кровь расстилается.

И дальше да дальше, все к югу да к югу, едет дивный богатырь, молнией разит вперед, благотворной росой кропит то, что за ним осталось...

- Кто это? кто?

- Не спрашивай! - отвечает голос под шлемом.- Поймешь сам, другим расскажешь, и благо будет тем, кто тебя послушает...

И чудится Мат-Ниазу, что одна капелька росы с волшебной ветки коснулась его лба. Покойно, тепло, радостно стало у него на сердце, глаза сами собою закрылись, и глубокий сон овладел утомленным мальчиком.

Проснулся пастух, - когда солнце поднялось высоко и сильно нагрело каменный купол, а с ним и его самого... Потянулся ребенок, смотрит... Все тот же самый - Атлар, как и был, а со степи несутся резкие голоса...

- Ма-ат-Ниааз! Шааайтан... Иди - есть пора!..

- Иду!.. - отозвался он и осторожно стал спускаться на землю.

3

Весь день молчал Мат-Ниаз и ничего не отвечал на расспросы товарищей... Все ждет не дождется ночи, решил идти снова к Атлару... Тянула его туда непреодолимая сила... А на беду Джюра с Кадыком отогнали отары подальше, почти к самому озеру, по ту сторону караванной дороги. Далеко теперь Атлар, а все его как на ладони видно... Разве можно уйти так далеко, чтобы его совсем не видно было!

Ночь наступила, уснули пастухи... Снова тихо поднялся Ниаз и пошел...

Вот и дорога караванная, как ни темна ночь, а все-таки ее широкая, натоптанная полоса светлеет. Вот и мазар, теперь уже близко... Только что это, словно огонек там краснеет... чуть-чуть светится?... Никогда этого до сих пор не было...

Приостановился на минуту Мат-Ниаз... Идти ли?.. - подумал. Отчего - не идти... Атлар не даст его злomu духу в обиду. Добрался ребенок до входа, заглянул; люди сидят, - трое, огонек развели и чайник греют... Узнал он этих людей и струсил не на шутку. То были два знахаря бродячих, колдуны, что жеребят у деда Гайнулы украли, а с ними седобородый песенник... Тихо подкрался мальчик, а люди у огня все-таки его слышали... И показалось Мат-Ниазу, что не он - малютка, а эти - трое больших - его испугались...

- Кто там? - тревожно окликнул первый колдун.

- Загаси огонь! - посоветовал песенник.

А третий забился за могильный камень и оттуда волком выглядывает...

Но страх этот длился недолго.

Первый узнал гостя седобородый песенник, поднялся на ноги и подошел к Мат-Ниазу.

- Э, да это мальчонка - персюк, из того аула, - Ниазка прозывается... Так, что ли?

- Я Мат-Ниаз.

- Зачем сюда пришел?.. Убежал, что ли, от хозяйки... Что ж - это дело!

Обидно показалось Ниазу такое подозрение.

- Нет, я не убежал... Я тут вот отары стерегу, - начал он оправдываться... - Я не один, со мною и Джюра и Кадык... Нас тоже, как и вас, трое.

Переглянулись меж собою собеседники, заговорили не по-здешнему, руками замахали, сговорились...

- Садись! - снова обратился к Мат-Ниазу песенник, - чаем тебя напоим, урюком сладким накормим... Садись с нами, не бойся...

- Чаю дай, урюку дай, а лучше расскажи сказку... Помнишь ту, хорошую, про золотого хана и его вороную лошадь? - оживился мальчик, и, запахнув полы своего халатика, бойко и радостно присел у огонька на корточках...

- А ты любишь сказки?

У мальчика глаза заблестали, он утвердительно кивнул головою.

- А хочешь, я тебе каждый день буду говорить сказки... Да какие!.. Что там "золотой хан и его вороная лошадь"!.. Лучше, гораздо лучше... Расскажу я тебе про Китайскую царицу, - про белого верблюда, - про Тимурову саблю, заговоренную...

- И Кадык любит сказки, и Джюра любит... Хочешь, я побегу, разбужу их... Они тоже придут послушать.

- Так вот я и буду для этих ишаков свои слова тратить, - рассердился будто бы песенник... - Я тебе одному рассказывать буду, а ты с нами ступай... Что тебе здесь, в неволе, пропадать... Ты здесь чужой... Подрастешь - тебя бить будут, кормить как собаку, а работать заставят как верблюда двужилыного... Пойдем с нами!

- Нельзя мне идти, - замялся мальчик. - Кадык утром кричать будет: "Мат-Ниаз... Иди, собака!.."

Засмеялся песенник, засмеялись и оба колдуна.

- Вишь ты - тебя даже за человека не считают... Ну, да что тут разговаривать... Ложись спать, завтра пойдешь к своему Кадыку...

- Я туда пойду...

- Куда это?

- А вон туда, на самую верхушку шлема Атларова.

Мальчик указал рукою кверху...

- Зачем?

- Атлар мне опять диво показывать будет... Он осветит степь - и пойдут по ней люди разные... Белый витязь поедет... О, Атлар много хорошего покажет!..

Колдуны переглянулись меж собою, не то со страхом, не то с недоумением, а старый песенник долго и пристально всматривался в разгоравшееся от волнения лицо мальчика, затем встал, подошел к узлу, где у него всякий скарб хранился, и стал доставать и налаживать свой сааз пятиструнный...

- Сегодня Атлар тебе ничего не покажет... Он не любит, когда чужие люди к нему приходят, как мы вот сюда забрались... Слушай, малютка... Я тебе сегодня петь буду и сказки говорить, пусть и Атлар их послушает... Не ходи наверх, сиди с нами...

Стал затухать огонек, подбросил старик несколько сухих былинки - светлее стало... Сдвинулись плотнее колдуны... Тихо-тихо зарокотали струны сааза... и под высоким куполом Атлара раздался первый звук песни-импровизации.

Теплый, ароматный ветер Хорасана - занес малое зерно в бесплодную дикую пустыню.

Холодный ветер далекого севера занес туда же каплю воды и оросил засохшее зернушко.

Жизнь пробудилась в нем - и юный, зеленый глазок выглянул на свет из сыпучих песков.

Стройным, ветвистым кустом разросся зародыш - и дивные розы на нем расцвели...

Слава тебе, ветер Хорасана!

Долго ли цвести тебе, куст, здесь, в угрюмой стране - где тебя солнце сожжет...

Долго ль цветам твоим ярким в воздухе лить аромат... Жгучий - песчаный бархан - сдвинувшись с места, тебя занесет.

С солнцем и песчаным вихрем борьба не по силам тебе.

Слабые корни твои влаги тебе не разыщут - пить не дадут; розы поблекнут - семя созреть не успеет... Чуждый пришелец, погибнешь ты здесь без следа. И никто тебя здесь не помянет...

Так говорили кусту - грубые здешние дети пустыни: - серый джизган, соксаул и колючка...

Из чудных долин Хорасана - ветром сюда занесло семя мое - с ним и память о прошлом, - далеко.

Помню я, будто во сне, свил у меня соловей легкое гнездышко... Каждую ночь соловей дивные песни мне пел. В песнях его - сила хранится моя...

В полдень под тень мою голубь с подругой своей прилетали. Дивные сказки, волшебные, он ворковал... Любовью и негой сказки эти дышали.

В сказках его сила хранится моя.

К вечеру сокол ясноокий с охоты домой возвращался... Он говорил про войну, про кровавую тризну, победы, про сильных героев, стяжавших себе великую славу в народе.

В этих рассказах про битвы сила хранится моя...

И запел розовый куст, вспоминая былое - полилась волною песнь соловьиная о Творце, о красотах природы, полилась ручьем про любовь голубиная песнь, бурным потоком хлынула песнь про дела богатырские.

Жгучий луч солнца словно меч размахнулся над дерзким пришельцем, но заслушался песней его и остыл на взмахе, двинулся тяжкий, сыпучий бархан - и стал, очарованный песнью... Грозный налетал ураган - но сильнее, громче его завываний - грянула дивная песнь... и смирился беспощадный разрушитель...

Слава - тебе... Одаренное Богом дитя Хорасана!..

.

- Спит! - шепнул один из колдунов.

- Слава тебе... Одаренное Богом дитя Хорасана!.. - понижая голос до шепота, повторил старый песенник...

- В дорогу собираться... да тише. Вы берите мой мешок... Я его на руках понесу... Живо в дорогу!..

- Отсюда прямо, пройдем на Волчью балку, - заговорил вполголоса младший колдун... - Я знаю, эту балкою мы пройдем до рассвета, а там день переждем... Такое есть местечко там, что сам шайтан не разыщет...

- Гайда! - утвердительно кивнул старший...

А песенник, осторожно взяв спящего Мат-Ниаза на руки, уже шагнул за порог Атларовой гробницы... и все трое скоро скрылись во мраке ночи... Даже шаги их босых ног затихли... А до рассвета было еще далеко.

4

Как ни укутывал песенник своего пленника халатом, но свежий ветер-утренник забрался в его складки... Продрогнул Мат-Ниаз и проснулся.

Далеко уже ушли за ночь похитители, и глазам Мат-Ниаза представилась теперь совсем незнакомая местность... Справа и слева высились каменистые, оголенные уступы Волчьей балки, в расселинах утесов чернелись лисьи норы, густой колючий бурьян местами сплошь зарастил дно оврага... никакой тропы здесь не было проложено.

Солнце всходило, и путники расположились на отдых. Они выбрали глубокую расселину, где их никто не мог заметить, а на всякий случай послали колдуна помоложе наверх, на самый гребень, выглядывать, не видать ли чего в степи похожего на погоню и поиски...

Заплакал ребенок, спрашивает песенника:

- Зачем же вы меня украли?

- Не украли, - отвечал старик, - на волю выпустили... Там ты был точно чужой, украденный. Выберемся из этих мест, хорошо тебе, вольно будет...

И стал рассказывать ему старый песенник про его мать, умершую в рабстве, которую он знал прежде, про печальную участь рабов, шиитов, про то, что его самого ожидало между этими разбойниками...

Заслушался Мат-Ниаз и помирился с своим положением. Вспоминал только про Джюру и Кадыка: "Кого теперь они утром будут кликать?.." Но только представились его воображению могучие очертания Атлара, он тихо заплакал...

Словно угадал его мысли песенник, погладил по голове.

- Атлар тебя не забудет, как и ты его всю жизнь помнить будешь... Вырастешь большой, захочешь, снова сюда вернешься на поклон. Может, тогда, ты сам то Атлару покажешь, что ему теперь и не выдумать...

Так утешал его старый песенник, и скоро ребенок совершенно освоился с своим новым положением...

Долго шли они, все на юг да на юг. Сначала ночью только шли, днем сидели где-нибудь, хитро спрятавшись, а потом и днем не боялись идти открыто. Старший колдун, где-то, на пути ишаном раздобылся... Стало много удобнее. Навьючили на ишака мешки и поверх Мат-Ниаза верхом посадили.

Останавливались иногда, на денек и на два, - одного из колдунов оставляли с пленником, а песенник с другим колдуном куда-то ходили, - приносили лепешек, а то и мяса - раз даже привели хорошую белую кобылу с жеребенком, да не справились с непокорным животным; - кобыла ушла от них скоро, а жеребенка они зарезали и съели.

На двадцатый день пути выбрались из пустыни, и на горизонте зазеленели сплошные сады, а за ними высокие стены города. Это был Кунград, тогда еще не заброшенный, опустелый, а живший полной торговой жизнью.

Переночевав последний раз на пути и первый раз под крышею пригородного караван-сарая, утром вступили в тенистые, мрачные такие, городские ворота, и прямо на базарную площадь.

С живым интересом, осыпая своего покровителя, старика-песенника, вопросами, смотрел Мат-Ниаз на все окружающее, до сих пор им не виданное. Па эти узкие улицы без окон, на высокие куполы мечетей, на узорные фронтоны медресе, усеянные по верхним карнизам косматыми, аистовыми гнездами, на эти сумрачные, прохладные базары, под сплошными навесами, с сотнями настезь отворенных лавок, переполненных разнообразными товарами, на пестрые толпы кругом, на все живое, что суеилось вокруг, шныряло в узких щелях-переулках, толпилось, живописными, говорливыми группами, у чай-хахе - или сидело молчаливо у лавочных порогов, бесстрастно и терпеливо дожидаясь покупателей.

Видел Мат-Ниаз и пышную процессию. Ехал сам бек кунградский, а за ним, богатою свитою, цветисто одетые сановники... Впереди ехали попарно мальчишки, в красных халатах, расшитых золотом, и грозно держали блестящие ружья-самопалы, а еще впереди их бежали пешком люди с палками, - оповещали о проезде властителя, расчищая дорогу...

Поместились наши путешественники близ базара, на заезжем дворе... никогда не оставляли Мат-Ниаза одного, всегда под охраною. Двое уходили, третий стерег... Вымыли его в бане, хорошо кормили и чаем поили... Приходили к ним разные люди, все больше старые такие, солидные, смотрели на Мат-Ниаза, спорили о чем-то, рука об руку хлопали и прочь уходили... А раз пришел один, старый-престарый, а бороды нет, голос тонкий да пискливый. Он его смотрел, заставлял его кричать, как можно громче, - петь заставлял, а потом кинул мешок с деньгами, вырвал из-за пояса у песенника шелковый платок, разостлал этот платок на полу и стал бросать туда деньги.

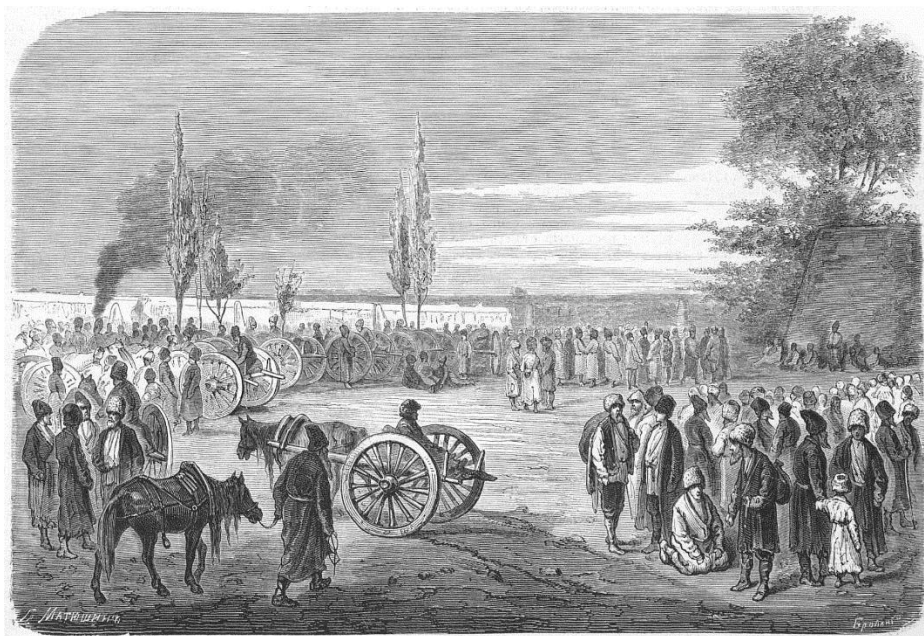
Бросил десять золотых монет, остановился и хлопнул рукою. Хотел по руке песенника, да тот отдернул. Рассердился старик, - прикинул еще две монеты, опять хотел по руке хлопнуть, а песенник не дается... Еще прибавил золотую монету и полез за другим мешком, где у него серебро хранилось. Долго они все спорили, наконец, рассердился тот, загреб все деньги и назад хотел уйти. Тут уже и песенник пошел на уступку... Сладили наконец, сговорились.

И вдруг видит Мат-Ниаз, что этот противный старик взял его за руку и потащил с собою... Вспомнилось ему, что так точно, у них в ауле, дед Гайнула покупал верблюдицу... Тоже подкидывали деньги на платок, тоже спорили и по рукам друг друга хлопали... и повел чужую верблюдицу дед Гайнула к своей кибитке.

Оглянулся Мат-Ниаз на песенника, - сильно привязался к нему за дорогу, хотел слово сказать... слезы на глазах навернулись... а песенник не смотрит, стоит, отвернувшись, наступил ногою на платок с деньгами, а не берет их пока.

- Иди-иди, чего упираешься! - говорят Мат-Ниазу колдуны, - иди! что стал, в самом деле!.. Тебе очень хорошо будет... иди, не бойся!..

И повели его опечаленного через весь базар, покрыли только с головою легким шелковым халатиком. А дорогою Мат-Ниаз слышал, как один из встречных почтительно приветствовал его нового владельца и поздравлял с выгодною покупкою.



Сбор рабов-персиян, для отправки их на родину, по заключении Россией мира с ханом хивинским. С фот. Григория Кривцова

5

Очутился Мат-Ниаз на небольшом чистом дворе, кругом тянулись навесы на резных колонках, под навесами, на возвышениях, разостланы были дорогие ковры - и мутаки (подушки) узорные. Посреди двора - бассейн с водою, и по четырем углам бассейна росли

карагачи (чинары), покрывая весь двор своею тенью. Здесь новоприбывший увидел еще мальчиков, таких же маленьких, как он сам, и побольше немного; те его сначала обижать начали, но кроткий вид Мат-Ниаза и его все еще заплаканные глазенки смирили забияк, и мир восстановился скоро, а за миром и дружба. По стенам висели саазы, бубны и разные инструменты, а в соседнем дворе - стояли на привязях красивые лошади, их покрывали дорогими попонами.

- Уж не к беку ли самому попал я? - подумал Мат-Ниаз, видя блестящую обстановку. Но до бека и его дворца было еще далеко.

Несколько дней прошло; новичка оставляли в покое. Он только должен был смотреть, что проделывают другие мальчики.

Приходили два человека, в рваных, старых, но когда-то дорогих шелковых халатах, - один брал большой бубен, а другой флейточку, и начиналась музыка. Мальчики по одному выходили на середину двора, к бассейну, там был разостлан ковер. Прислушиваясь к такту, выбиваемому на бубне, очередной мальчик должен был стать в позу и сначала медленно раскачиваться всем корпусом, держась руками за бедра. Одни делали это неловко, некрасиво, а были такие, наловчившиеся, что описывали телом целый круг, не сдвигая ног с места, смотреть даже было страшно, точно у него в поясе все вытянуто да растянуто... Прделав это движение, он шел по коврику, стараясь не сойти с его каймы, и шел особенною походкою, маленькими шажками, не более длины ступни, с каждым шагом, чуть-чуть сгибая колени и быстро выпрямляясь... Затем он описывал этот круг бойчее, ускоряя такт, спиралью приближаясь к середине, дойдя наконец до центра, он проделывал какую-нибудь удивительную штуку, то перегибался назад, взмахнув над головою руками, доставая этими руками до своих пяток, то перекувыркивался через голову назад, или, подняв - раскинутыми врозь крестом руками - полы своего халатика, начинал так быстро вертеться на одной пятке, что нельзя было уследить, где у него что... просто волчок-вертушка перед глазами... останавливался разом и приседал на корточки. Разные хитрые вещи проделывали новые товарищи Мат-Ниаза, а учитель их, этот противный на вид, но добрый и ласковый старик, говорил новичку, чтобы старался перенимать пока как умеет, а после скоро его начнут учить всему по порядку.

Все это весьма интересовало Мат-Ниаза, он легко и охотно перенимал многое у своих старших товарищей, много помогали ему природная сила и грация, а красивое почти девичье личико ребенка и кроткий характер скоро сделали его любимцем и баловнем всей школы.

Кормили детей прекрасно. Подавали плов жирный с мясом, чаю сколько хочешь, дынь и винограду вволю... Но за ворота не пускали... Эти тяжелые двойные ворота были всегда на замке, как в тюрьме... Да и редкие посетители попадали сюда, - в узенькую и низкую калитку проползали чуть не на четвереньках.

Кроме того, учили играть на флейтах и бить в бубны. Заставляли петь разные песни и выучивать наизусть стихи.

Иногда по вечерам сюда, кроме музыкантов, приходили еще странные люди, на вид почтенные, но что они начинали делать, так это поверить нельзя, самому не видел.

Один набирал полный рот горячих угольев и бегал с ними по двору, под музыку, а из его рта били фонтаны огненных искр, другой играл ножами, пуская их кольцом вокруг головы... того и гляди, что убьет себя на месте... Ломались они так, будто кости у них совсем мягкие, а то разыгрывали разные сцены, такие смешные, что во всем дворе поднимался дружный неудержимый хохот... И все эти люди относились к хозяину дома как к старшему, почтительно кланяясь при входе и так же почтительно, отступая задом с поклонами до самой калитки, при выходе.

Хозяин, купивший Мат-Ниаза, был знаменитый в свое время батча (мальчик-танцор), Турсук-бала, потом - известный машкара-баз (актер) при дворе самого хивинского хана, а теперь, под старость, живущий на пенсии и содержащий школу батчей и машкара-базов.

Вот на какую дорогу попал пастух-раб Мат-Ниаз, и Турсук-бала, глядя его по голове, предсказывал ему великую, в этом направлении, будущность.

А Мат-Ниаз оказался батча способный и ловкий, отличный певец и даже остроумный импровизатор. Когда начинал петь Мат-Ниаз, все стихало и слушало, затаив дыхание, а у кое-кого, даже у самого Турсук-бала, на глазах дрожали слезинки.

И вот, не прошло и двух лет, со дня вступления в школу батчей Мат-Ниаза, как об нем заговорили даже за пределами школы.

Говорили о новом батче, как о каком-то чуде, который должен затмить даже самого Алиджана, нынешнего любимого ханского батчу в Хиве, но, конечно, говорили пока по слухам. Старый Турсук-бала не торопился хвастаться своим талантливым учеником, поджидая для этого более торжественного, подходящего случая.

И случай этот скоро представился.

6

Однажды рано утром, к воротам дома Турсук-балы подъезжал всадник. Конь был взмылен, его тонкие ноги дрожали, а всадник покрыт потом и пылью - и от усталости едва переводил дыхание, - очевидно - тот и другой сделали большой и спешный перегон, не тратя дорогого времени на отдых.

Торопливо привязал всадник коня к кольцу у ворот и принялся стучаться, совсем без подобающего уважения к дому отставного батчи и машкара-база. Отворили ему ворота.

Наскоро проговоривши обычное приветствие, новоприбывший вытащил из-за пазухи, завернутую в платок, узенько сложенную бумажку и подал ее хозяину.

- От светлейшего Хаджи-Селим-бея. Велел передать, что тебя помнит, - коротко отчеканил посланец, и тотчас же, без всякой церемонии, присел на ковер, под навесом, и крикнул, обращаясь не к кому-нибудь, а просто в сторону, где толпились любопытные, чтобы подали ему чаю и коньяк.

- Живее, козлята! - подтвердил его приказание и сам Турсук-бала.

Пока готовили угощение, хозяин, почтительно приложив бумажку ко лбу, к губам и сердцу, принялся разворачивать послание.

"Досточтимому увеселителю, славному из славных, Турсуку-бала, - стал он читать вслух и прибавил свое "Ого... го!.." - Досточтимому увеселителю, славному из славных, Турсуку-бала... В четверг, в третий день по новолунии... Прибуду лично выразить тебе, Турсук, свое всегдашнее благоволение, а кстати посмотреть, что в твоей школе объявилось новое... Надеюсь, ты не ленишься и заботишься по-прежнему о своем деле, дабы доставить его высокому, недостижимому, для обыкновенных смертных, величию, властителю земель и народов, и нам, его ближайшим советникам, забаву и удовольствие...

Остановлюсь по приезде в Урде, у моего покровителя и друга, Науруз-инака, бека кунградского, а в тот же день, по закате солнца, посетим твой дом... Гонца с письмом посылаю и к тебе за день вперед, дабы ты успел приготовиться.

Всегда к тебе благосклонный, - диван-беги - величайшего из величайших, Хана Хивинского Селим-бей-хаджа".

Прочитав это письмо, усиливая свой и без того крикливый голос по мере чтения, Турсук-бала чуть не прокричал конец, сложил бумажку и торопливо побежал к себе с саклю. Через минуту он вернулся оттуда с новым канаусовым халатом в руках и накинул его на плеча гостя-посланца.

- О, какой же ты стал щедрый! - засмеялся тот, - видно, чуешь хорошую наживу от Селим-бея... Смотри, потом не забудь пошарить у себя в сундуках... Ведь как гнал-то!.. Выехал вчера перед закатом солнца, а чуть стало всходить, я уже и тут... Вели-ка ввести лошадь, да поставь ее получше; конь дорогой, с ханской конюшни.

Опять засуетился Турсук... он и к коню отнесся с должным уважением... Сам ввел, сам и седло снял, легкою попонкою прикрыл, и велел угощать гостя получше, да постлать ему отдохнуть помягче...

И начались во дворе Турсук-бала спешные приготовления к встрече высоких посетителей, на самую широкую ногу. Тут только увидел Мат-Ниаз, какие сокровища хранились в темных недрах сакли, служившей спальнею самого хозяина.

Пришли машкара-базы помогать, - пришли и просто нанятые люди с базара, - вытащили громадные, дорогие ковры, завесили ими все стены, весь мощеный двор устлали, вынесли куски красивого канауса и адрасса и обвили ими стволы деревьев, протянули гирляндами между

колонн, и по коврам цветные дорожки вывели. Подушек навалили во всех углах горы-горами. Стала расставлять подносы со всякими сладостями с целыми головами сахара, у тагана - вытянулся ряд узорных кунганов и фарфоровых чашек для чая... кальян принесли такой, что у всех глаза разгорелись. Весь в цветных камнях и бирюзе, - даже камышинка во всю длину жемчужною ниткою была обвита.

Пришел "плоучи" - с базара, - Шарип-бай. Никто лучше его не готовил плова, на тридцать четыре способа умел он готовить это блюдо. Он серьезно выслушал заказ хозяина, приговаривая все "хоп" да "хоп", и взял десять серебряных монет задатку.

Всех перемыли и загнали во второй двор, в большую саклю-уборную... Туда же им понесли целые сундуки дорогих одежд и уборов и приставили к ним двух машкара-базов - красителей и одевателей. Мат-Ниаса Турсук подозвал к себе и сказал, что он, его учитель, вполне надеется, что сегодня Мат-Ниас оправдает его надежды.

А пока шли эти торопливые приготовления, день догорал, и с базара доносился глухой гул ликующей толпы: то встречали конную процессию диван-беги Селим-бея, прибывшего навестить своего друга, - бека кунградского.

Только стемнело, - весь двор Турсук-балы загорелся огнями. Сотни разноцветных фонарей развешаны были по стенам и колоннам, а вокруг бассейна из них сделана была сплошная огненная кайма; кроме того, - на крышах поставлены были высокие треноги, и на них котлы с паклею, пропитанною кунжутным маслом. Эти громадные факелы ярко пылали, отбрасывая на темном небе, далеко видимое, пожарное зарево. Ворота были отворены настежь, и в них появились, вооруженные палками, полицейские, чтобы сдерживать любопытные массы народа, запрудившие сплошь все узенькие улицы, ведущие к дому. Скоро послышался, - заглушаемый гулом толпы, - топот конских копыт, и в воротах стали показываться парные всадники; - они были в красных халатах и высоких черных бараньих шапках; гремя оружием, они соскакивали с лошадей и выстраивались по обеим сторонам ворот. Наконец появились гости, пышно одетые, в белых чалмах, в роскошных халатах, и тоже стали слезать с коней; все это были гости, приглашенные беком, почетные лица города. Наконец показались и сам бек с Селимом-хаджою рядом. Эти, не слезая, прямо въехали в ворота. Чудные кони, покрытые раззолоченными чапраками, бряцая дорогим набором уздечек, пугливо поводили ушами, храпя и слегка упираясь, топтали копытами дорогие ковры...

Турсук-бала стоял, согнувшись под прямым углом, сложив руки на животе... Он считал себя недостойным прикоснуться даже к лошадям своих высоких посетителей... Почетные жители города буквально на руках сняли с седел бека и Селим-бея и усадили их на приготовленных местах... А у ворот шум разом усилился до криков мало даже уважительных, и разом все это заглохло, чуть не стихло. Это - с большим трудом затворили ворота, пропустив только приглашенных.

Тогда бек, обращаясь к хозяину, - приветствовал его:

- Здравствуй, Турсук, давно не видались!

- Здравствуй, любезный Турсук, - проговорил и Селим-бей и протянул ему руку...

Тот кинулся стремительно, поцеловал рукав халата своего гостя и полу одежды бека...

- Удостоен без меры... и мой бедный язык немеет перед величием...

- Хорошо. Я тобою доволен! - проворчал бек Наурус-инак, - ты верный слуга и хороший человек.

А Селим-бей добавил просто:

- Угощай и показывай!

Началось представление.

Арка ворот во внутренний двор была завешана тяжелыми коврами, посередине эти ковры раздвигались невидимыми руками, когда надо было пропускать исполнителей.

Первыми оттуда появились четыре музыканта, в длинных белых рубахах, подпоясанных галунными поясами, и в парчовых тюбетейках. Музыканты, низко поклонившись гостям, сели в ряд на свои места и стали налаживать инструменты.

Турсук-бей хлопнул в ладоши и по этому сигналу из-за ковра стали выскакивать самые маленькие мальчики, смешно одетые в козы шкурки. На их головках торчали рожки, и они принялись прыгать и резвиться по двору, изображая диких коз.

Через минуту показался охотник, - старик с длинною подвязною бородою, в рваном халате, в высокой меховой шапке, с фитильным самопалом в руках. Началось представление, изображающее удачную охоту. После каждого выстрела, падал очередной мальчик, сохраняя до конца свою позу. Позы же эти выбирались самые смешные, вызывавшие улыбки на губах гостей. В воздухе запахло порохом... Представление несколько затянулось, и бек проговорил:

- Довольно!

Моментально арена опустела. Выступили четыре мальчика, из старших, в богатых парчовых халатах, надушенные, и стали прислуживать гостям, подавая чай и подносы с угощением.

Селим-бей внимательно осмотрел их.

- Этот новый! - произнес он, указывая на одного из прислужников, - как тебя зовут?

- Селим, - вполголоса проговорил мальчик, вспыхнув так, что краска разлилась по всему лицу.

- Ого! Тёзка! Запиши! - кивнул головою диван-беги своему секретарю, сидящему поодаль.

Тот вытянул из-за пояса "календар" (прибор для письма) и сверток с бумагою.

По знаку Турсука появились еще два актера. Они, по костюмам и гримировке, должны были изображать осла и ослицу... Реву и движениям животных они подражали удивительно верно. Все гости смеялись и выражали свое одобрение. Селим-бей даже бросил актерам несколько монет...

Под звуки бубнов и рокот литавр началась пляска, сначала плавная, тихая, затем переходящая в бурное настроение, снова затихающая и снова разгорающаяся с удвоенною быстротою и силою.

- Освети! - произнес бек Науруз-инак...

Двое из прислуживающих батчей взяли по фонарю и поднесли их к лицам плясунов, замерших на мгновение, в причудливых позах.

- Хороши! - кивнул головою бек.

Пляска батчей опять сменилась выходом машкара-базов. На этот раз представление носило несколько обличительный характер: - двое нищих (байгушей) - разговаривали между собою, что бы сделал каждый из них, если бы они были беками. Предложения одного оспаривались другим, и в этом-то споре заключалась вся соль обличения. Местами выходило даже очень смело и резко, но конец все сглаживал к общему удовольствию, а конец был таков, что оба сошлись на одном: поступать так, как поступает - "да продлит Аллах его жизнь на много веков" - ныне властвующий бек, великий Науруз-инак.

Гости были, конечно, довольны и не сердились на ядовитые намеки предшествующих разговоров...

Кунградский бек велел выдать актерам по халату, что и было исполнено немедленно.

Наступила пауза, и появилась процессия с горячими блюдами - шурпы, плова и жареного мяса.

- Не поздно ли будет! - заметил Селим-бей, поглядывая вверх на звезды.

- О, повелитель, - стал успокаивать его Турсук-бала... Ночь длинна, а солнце не будет торопиться, чтобы не помешать удовольствию таких редких и высокопоставленных гостей.

После ужина представление продолжалось в том же порядке: батчи сменяли машкара-базов, машкара-базы батчей. Наконец арена на несколько минут опустела. Все стихло.

Посредине арены стоял Мат-Ниаз в одной только длинной, белой кисейной рубашке, подпоясанной высоко под мышками жемчужным ожерельем, из-под тюбетейки, сплошь вышитой бирюзою, выбивались черные, как смоль, вьющиеся пряди волос, падая по плечам, путаясь в массе дорогих украшений, на ногах были надеты вызолоченные цепи, на руках тоже... Эти оковы видимо тяготили его... Он печально посмотрел вокруг, и на его длинных ресницах задрожали слезы... Глубоко вздохнул ребенок и начал первый круг своей пляски... Его позы и выражение лица изображали глубокое страдание...

Общее недоумение... Старый бек вопросительно посмотрел на своего гостя, тот нахмурился и подозвал Турсук-балу...

- Это уже такое представление, - шептал тот, вовсе не обескураженный первым впечатлением... - Сейчас он петь будет, и все объяснится...

Мат-Ниазу подали инструмент. Он тихо стал перебирать струны сааза и остановился, дойдя до центра арены. Прелестный, мелодичный голос раздался отчетливо в наступившей тишине.

*Когда ветер свободно гуляет в степи, он несет прохладу и влагу, освежая усталого путника.
Заслони ему дорогу, и солнце спалит все живое своими лучами...*

Дай волю степному спасительному ветру.

Когда роза цветет, наполняя воздух своим ароматом, заслони от нее солнце, окутай ее мраком ночи... и она поблекнет, опадут ее лепестки... замрет аромат...

Дай света красавице розе.

Когда быстроногий конь бодро несет тебя в далекой дороге, - гони его день и ночь, гони без отдыха - и ослабеет конь, подогнутся его железные ноги, остановится запаленное сердце, и падалью, трупом повалится он на горе всаднику.

Дай отдых коню быстроногому...

Когда веселье и радость играют в сердце человека, когда и в труде своем находит он утешение - закуй его в цепи - и смолкнет веселая радость, изнует душа в подневольной работе, угаснет человек, останется скот бессловесный.

Сними с него цепи во славу милосердного Аллаха...

Смолкнул певец... Молчат и все слушатели... Только Турсук-бала стоит бледен, как полотно, и со страха глаза поднять не смеет. Он не ту песню ожидал... другую, совсем другую... Так вот зачем Мат-Ниаз просил у него именно эти золотые цепочки!.. Наделает ему бед этот мальчик, - Богом вдохновенный импровизатор...

Старый бек сидит нахмурившись, исподлобья глядя. Селим-бей опомнился раньше.

- А ну, снимите-ка с него эти цепи... Посмотрим!

Сам Турсук бросился исполнять приказание.

С Мат-Ниазом мгновенно совершилось волшебное превращение. Его глаза засверкали огнем радости и веселья, всё гибкое, стройное тело затрепетало, лицо озарилась яркою улыбкою. Он глубоко вздохнул, потянулся и бойко ударил по струнам...

Слава вовеки мир и свободу даровавшему. Бог пошлет ему радость и счастье, победу над врагами, утешение в семье. Слава - мир даровавшему...

Мат-Ниаз отбросил инструмент и ринулся в пляску... Это была танец, не похожий на все, что перед тем видели гости. Глаза не успевали следить за его быстрыми, полными грации движениями. Выражение лица горело неподдельною радостью, и когда он, окончив пляску, усталый, задыхающийся, опустился на ковер, раздались рукоплескания.

Участь Мат-Ниаза, в этот роковой для него вечер, была решена.

Кончился пир незадолго до рассвета. По узким, уже уснувшим улицам Кунграда, запылали факелы в руках красных всадников. Уехали гости. Осчастливленный, довольный Турсук-бала уже успел сосчитать барыши и говорил Мат-Ниазу:

- Тебе хорошо там будет... Всё счастье в твоих руках... все от тебя зависит... И когда ты будешь большой и славный - не забудь своего бедного, старого учителя.

Он не сообразил, что когда Мат-Ниаз вырастет и войдет в милость и славу - вряд ли Аллах будет так милостив к нему, Турсуку, что продлит на двойной век его собственную греховную жизнь.

Но Турсук-бала был в эту минуту счастлив, и все ему представлялось в розовом свете.

7

Году не прошло, как все заговорили о дружбе, завязавшейся между молодым четырнадцатилетним ханом-наследником, и новым придворным песенником, Мат-Ниазом.

Сам старый хан любил Мат-Ниаза и видимо доволен был выбором сына. Дети учились вместе, а учитель у них был большого ума и познаний, сам Даулет-хаджа, двенадцать раз на своем веку бывший в Мекке.

Ученый мулла поражен был способностями Мат-Ниаза и его удивительной памятью, с которою он сразу запоминал наизусть не только все строфы Корана, но даже целые страницы из избранных персидских и индийских поэтов... Да Мат-Ниаз и сам так говорил стихами, что его по часам заслушивались придворные ханского дворца...

Подрастал молодой хан-наследник, подрастал и его молодой друг. Много хорошего ждал народ от будущего хана, предчувствуя, что тот будет править душою и сердцем Мат-Ниазовым...

Старый хан любил воевать... Много народу гибло в этих кровавых распрях с соседями. Много народу разорялось дотла.

Любил молодой хан-наследник на охоту ездить... Охота не охота, а так больше, по всем далеким углам ханства Хивинского, и Мат-Ниаз всегда с ним, неотлучно... Была ли польза кому от этих поездок, нет ли, еще не выяснилось, только нашлись около старого хана люди, завидовавшие близости "высочки", и стали нашептывать властителю слова недобрые...

Говорили, что Мат-Ниаз, сам раб-персиянин, задумывает дело неладное, измену черную, учит молодого ханского наследника совсем непутевому... Говорит, будто настоящие, добрые подданные ханства плохие слуги, нерадивые, неумелые, привыкли, мол, только к жизни праздной, на чужой счет, к набегам да разбоям, а все за них работают рабы подневольные, земляки Мат-Ниазовы да сродичи... В них, мол, и сила вся, им и надо поблажку давать и льготы всякие... Они, вишь, те, и ученые, и искусники... Они все лучшие здания построили, хитрыми

узорами изукрасили... Они и ковры лучшие делают, и серебро чеканить умеют, и грамотные чуть не поголовно, а наши... Куда им!.. Вот какие слова говорил-де на ухо хану-наследнику этот песенник...

И не хочет хан слушать ядовитых изветов, а слушает, и не хочет верить, а верится...

Подарили Мат-Ниазу большой сад. Стал Мат-Ниаз строиться. Рабов у него было уже десять человек, все жалованные, не купленные за деньги... Подарили в то же время сад и Мат-Мураду, дальнему племяннику ханскому, знаменитому воину, прославившемуся своими набегами, во главе туркменских дружин, за персидскую границу... Этот тоже стал строиться. У Мат-Ниаза десять человек принялось за работу, у Мат-Мурада - сто... День за днем проходит, у первого, на глазах, растут постройки, арки выводят, лепную и живописную работу начинают... Питомники новые разбиты, садики расчищены, а у второго - только еще кирпичи лепят, а надсмотрщиков за работами видимо-невидимо, сам Мат-Мурад с плетью гуляет...

Спросил сам хан у Мат-Ниаза: почему это так, что каждый из его рабов больше, чем десять Мурадовых строит?..

- У меня нет рабов, - отвечал Мат-Ниаз. - Они для меня все равно, что для себя строятся... Мне и стеречь их не для чего...

- Отчего же они не убегут от тебя, если нет над ними стражи никакой?

- А зачем им бегать, когда сами волею и честью уйти могут, когда захотят... Разве им у меня худо?

Задумался хан, нахмурил свои седые брови, ничего не сказал своему любимцу... А ночью, в своей сакле, у постели, письмо нашел, подметное, а в письме том значилось следующее:

"Берегись, хан всемогущий! Над твоею головою гроза собирается: Мат-Ниаз всех рабов взбунтовал, и не только тебе, сыну твоему погибель готовят проклятые собаки-шииты".

Всю ночь не спал хан, а рано утром первым на глаза ему Мат-Мурад попался, приехал с поклоном и жалобою.

Рассказывает, что у него половина рабов разбежалась, да, слава Аллаху, недалеко ушли, переловлены, что, мол, двое из беглых повинились; указывают на Ниаза: он, мол, их научил. Хороший такой человек, этот Мат-Ниаз, даром что родом сам персук, а такими делами занимается, и наследному хану это порча одна, ничего больше!..

Рассердился властитель.

- Где эти рабы? Доставить мне их к личному моему допросу!..

- Прости, великодушнейший и справедливейший хан, - стал виниться Мурад, - не выдержали пыток...

Стоит только хану нахмуриться, стоит только чуть немилость свою выказать к сильному сановнику, все враги, что тише воды были, сразу заговорят. Так и теперь. Со всех сторон пошли на голову Мат-Ниаза изветы да жалобы... не помогло и заступничество молодого хана-

наследника, и вместо сада роскошного, вместо новоселья в доме, на диво выстроенном, попал Мат-Ниаз в темницу, под стражу, пока до суда и казни.

Без малого год томился несчастный. Наследника престола в Чимбай сослали на это время. Выехал хан на молитву в мечеть, на самой середине площади конь испугался чего-то, взвился на дыбы и опрокинулся, прижав старого властителя высокою, кованною золотом лукою седла, прямо против сердца... подняли хана, до дворца не успели донести, Аллах принял его душу.

Вступил на престол молодой, освободил своего друга, притихли враги, ждут своей гибели. Хан и не прочь бы жестоко наказать злых клеветников, да Мат-Ниаз заступился. Мат-Мурада сделал главным военачальником, а прочих при дворе всех оставил, только сам, на место совсем больного, уже полоумного Селим-бея, диван-беги сделался. Это, говорит, такая должность, что работы много, что же вас затруднять делом непосильным.

Начались дни, а за днями годы мира и благоденствия для всего ханства Хивинского...

Многие годы прошли. Состарился Мат-Ниаз и по воле Божией пережил своего царственного друга.

Наследовал хану малолетний Сеид-Богадур, воспитателем же и полным за него правителем, по завещанию покойного, назначен был бывший батча, этот самый, Богом вдохновенный песенник, нынче, - диван-беги Мат-Ниаз, добровольно разделивший власть и влияние с своим, когда-то злейшим врагом, ныне другом, Мат-Мурадом, инаком, всех сил главнокомандующим.

8

Много воды унесла Аму в Аральское море, много песку нагнало ветром на окраины обработанных полей, много народу родилось, много и повымерло, пока вырос малолеток хан и черною бородою опушился. Много событий свершилось в мире, и пала грозная соседка Бухара под ударами врагов с севера...

Знали в Хиве про все это и, конечно, лучше всех знал Мат-Ниаз, первый кормчий. Слухи слухами, вести вестями - разобраться трудно! Знали также, что этот самый враг не раз в сторону на Хиву ходить покушался и был посрамлен по воле Аллаха... То погибал под мечом правоверных, то не пускала его самим Богом сооруженная преграда, непроходимые степи, песчаные, лишенные воды, дышащие смертельным жаром... и вот этот самый враг, снова на свободу Аллахом хранимой Хивы посягает, письма шлет, призывающие к покорности, грозит боевою карою...

Мат-Мурад с пеною у рта мечется, полки собирает, пушки готовит. Мат-Ниаз, хоть и враг пролития крови, а тут воззвание сам пишет... Дело, не набег, не разбой, дело святое, защита отечества.

Призванные тюркменские племена уже наводнили ханство и на ту сторону Аму-Дарьи в пески ушли, навстречу врагам с севера... Сам хан со всеми силами по эту сторону заняли три высоких холма на берегу, называемые Уч-Чучаном... На одном из этих холмов, самом большом,

раскинулась цветными шатрами ханская ставка... Ждут с полной верою в победу. Ждут не дождутся, когда прискачат с вестью из передовых отрядов о гибели вражеских полчищ под сыпучими барханами Адам-Крилгана, недаром же слово это человеческую погибель означает.

Скачут первые гонцы.

- Нас сбили, - говорят, - гонят!.. Тихо, но верно, все вперед и вперед идут "ак-кульмак" (белые рубахи), и пушки с ними идут медные...

Скачут вторые гонцы:

- Сбили тюркменские дружины... Бегут йомуды и чодары... портят за собою последнюю воду в немногих колодцах... Все вперед да вперед идут белые рубахи...

Скачут третьи гонцы:

- Зной и песчаный вихрь слепит нам очи... языки пересохли от жары, гибнут верблюды врагов, весь путь своими телами устлали... Медленно, верно, все вперед да вперед идут белые рубахи!..

Скачут последние, с размаха, с крутого берега в реку бросаются, последние силы напрягают, лишь бы на этот берег живыми выбраться, и назад со страхом озираются...

- Воду уже чувят враги... близко за нами едут... словно змей-великан растянулись в песках их белые батальоны... и песочная пустыня им покорилась.

И, словно в подтверждение роковой вести, - донес порыв ветра с той стороны глухие раскаты далекого грома...

Это русские пушки подали свой голос.

Задумчиво стоял Мат-Нияз на высоком холме; под ним, далеко внизу, расстилалась бесконечная в обе стороны водная поверхность, и причудливыми пятнами темнели на ней оголенные отмели. Дальше ночная мгла скрывала противоположный берег, пока еще тихий, беззвучный, а вокруг холмов, сколько глаз мог видеть, все огни да огни несметных мусульманских полчищ... Слышно злобное ржанье коней, слышны командные клики, гул массового движения, тяжелый грохот колес.

Длинными рядами вытянулись по гребням холмов грозные пушки, покрытые святыми изречениями Корана... Ветер колышет группы знамен и бунчужных хвостов... Все готовится к бою на утро.

Мат-Мурад седьмого коня меняет. Тигром мечется по всему стану. Хан Сеид сидит в шатре, и сна ему нет, а кругом толпою льстивые придворные заранее хвалу воздают, с победою наперед поздравляют, клянутся в верности, в полнейшей готовности за него сложить свои головы.

Смутен Мат-Нияз, и глаз оторвать не может с того загадочно-тихого берега... а дело к рассвету близится.

Вот забелело на востоке. Вон Ориона меч высоко уже поднялся на небе, вон и Утренняя звезда ярким алмазом догорает. Туман предрассветный затянул реку, и еще страшнее, еще таинственнее стала эта завеса.

И вдруг чудится Мат-Ниазу, что из недр тумана выдвигается гора не гора, сияющая холодным светом, а серебряный шлем богатырский... Вот и лицо его покойно-грозное, вот и плеча, словно льдом покрытые латами, вот и рука правая, вооруженная молниями, вот и зеленая ветвь росистая в левой руке колыхается...

И вспомнил старик свое далекое детство, вспомнил высокий купол Атлара, вспомнил, что ему, ребенку, давно уснувший праведник показывал в вещем сне...

Схватился Мат-Ниаз за голову, шатаясь пошел к ханской ставке и говорит хану:

- Хочешь мне верить на благо твоего же народа, - твое собственное?

- Говори, - пытливо смотрит на него хан Сеид-Богадур.

- Собирай полки, веди их назад. Высылай посольство на ту сторону с миром и покорностью...

Я сам во главе того посольства пойду, здесь меч бессилён. Воля Аллаха совершается.

Ропот слышался кругом.

- Состарился, малодушный, трус, - загудели голоса. - Хана смущаешь... не слушай его!.. Аллах нам дарует победу, и солнце не успеет подняться на небе, как окрасятся воды Аму вражескою кровью; жаль только вот, что неповинную воду опоганит...

Влетел ураганом Мат-Мурад в палатку... кричит, позабыв все.

- Головою своею за победу отвечаю. Только и ты своею головою за нечестивые речи ответишь. Персиянин льстивый...

Проснулась, зная, у Мурада вся исстари затаенная ненависть к диван-беги... сорвалась с языка и вылилась.

- Мне моей головы не жалко, - покойно отвечал Мат-Ниаз. - Я, может быть, не свою спасаю, а с твоею тысячи голов правоверных. Увидит солнце кровь, только не вражескую. Увидит солнце наш позор и посрамление. Послушай, как своего учителя, ныне слугу и раба верного.

Не дали даже договорить старику. Перед ним за час дрожали, пуше чем перед самим ханом, тут чуть не силою из шатра вытолкали.

- Да свершится воля твоя! - вздохнул Мат-Ниаз и побрел снова на гребень вековой твердыни.

А солнце уже всходит и гонит туман своими первыми лучами. На том берегу таинственная завеса поднимается, и, видно теперь ясно, как на желтых песках, словно снег, белеют стройные линии. Вереницы верблюдов спускаются к воде. У низкого берега кипит спешная работа, железные лодки готовят.

Не дремлет Мат-Мурад, по его знаку загрохотали ряды пушечных жерл. Густые клубы дыма покрыли все сплошь. Чуть слышно, словно эхо, отозвались пушки с того берега, и с адским громом и визгом лопнули в воздухе первые гранаты, а с ними пришла и первая смерть.

Гремят хивинские пушки, громче их рвутся снаряды врагов. Стон раненых, вопли, проклятия... Мелькают тени бегущих то в одиночку, то уже целыми толпами. Охрип голос Мат-Мурада... и грозит он, и молит, и святые слова говорит, и мечет проклятиями...

Подали нукеры коня Мат-Ниазу, чуть не силою посадили. Едет шагом старик, сквозь дым и смерть, скользит конь в кровавых лужах.

- Где хан? - спрашивает.

- Там за холмом, тебя дожидается.

- Что же это тише стало? Что же наши пушки смолкают?

- Бросили их... бегут оробевшие сарбазы...

Оглянулся кругом Мат-Ниаз. Как стада баранов с перепугу толпами бежит блестящее воинство... стонут раненые, корчась в предсмертных муках. Грудами тел покрыты гребни и скаты курганов... взглянул вещей старик на реку, а уже вся поверхность рябит чужими, железными лодками, сверкают на лодках штыки... и быстро к берегу близятся.

Мат-Мурад на окровавленном коне только что в бессильной злобе расколол череп одному из беглецов, ищет обезумевшим взором новую жертву...

- Ты головою своею за победу ручался! - укорил его Мат-Ниаз. - Эта кровь на твою падет голову.

- Молчи - колдун! - а то и с тобою то же будет!

Еле прикрыли старика его нукеры от наскока опозоренного полководца.

Продолжал путь диван-беги, и все тише да тише слышались ему звуки потерянного боя.

Вон впереди, в пыльном облаке мелькает парчевой халат хана и колышется его высокая черная шапка.

Молча поравнялись друг с другом, - раб-наставник с властительным учеником. Молча обменялись взглядами.

Заметил Мат-Ниаз слезу на ресницах хана, нагнулся к нему с седла, крепко обнял.

- Даст Бог, - сказал он ему. - Политые кровью мертвые пески оживут цветущими садами... За тысячи смертей Аллах пошлет десятки тысяч жизней... Сохранишь ты престол и доброе имя. И капля росы с благотворной ветви упадет и на твою венчанную голову.

- О какой ветви говоришь ты? - спросил изумленный хан.

Но Мат-Ниаз словно не слышал этого вопроса.

- Благословен крепкий, покорный воле Божией, - продолжал он... и властным движением руки подозвав нукеров, приказал им свернуть на Ак-Мазар, с пути отступления охваченных паникою войск, и там далеко, в стороне, готовить шатры для ханского ночлега.

СЛУЧАЙНОСТЬ



Н. Н. Каразин. Зерабулакский бой

Гамлет: «На свете, друг мой Горацио,
есть много такого, что и не снилось нашим мудрецам»

Шекспир

Собралось нас, несколько приятелей, у нашего общего друга, Овинова.

Хозяин наш был человек пожилой, давно за пятьдесят, холостяк и добрейший малый, хотя и проведший свою молодость очень бурно – да так, что из его похождения можно было бы составить целую эпопею. Служил он долго в глухой Азии, изрядно искалечен в боях и в настоящее время отдыхал с помощью весьма солидной пенсии на полной воле.

Собрались мы, главное, по случаю приезда капитана Кара-Сакала, из Маргелана – в Ферганской области есть такой город – лет восемь не видали нашего чернородого чудака и общего любимца. Остановился он у Овинова, а тот и разослал всем сборные повесточки.

Пришел я (живу поблизости, всего через улицу), пришел полковник Ларош д'Эгль, тоже сослуживец, прикатил в своей карете Терпугов, Иван Семенович, с супругой... Ну, и замечательная же женщина! Глядя на эту важную грандам, кто бы мог подумать, что всего год тому назад она скакала через бумажный обруч в цирке Чифунчели!.. Пожаловал и доктор, добрейший Семен Иванович, но без супруги, брата Грызуновы, просто штатские люди, члены общества голубиных садов, хорошие стрелки и страстные охотники... Не пришел только тот, от которого никак уж нельзя было ожидать подобной неаккуратности – именно князь Чох-Чохов, при всех дружеских сборах первый, при разъезде

последний, удивительно приятный тулумбаш и устроитель шашлыков под кавказскую зурну. А дело было в Петербурге.

Квартира Овинова помещалась в нижнем этаже, на улицу – ход прямо из швейцарской, и отделана была на славу дорогими персидскими коврами, отоманками, тигровыми и медвежьими шкурами, расшитыми золотом, бухарскими чепраками и такими богатыми арматурами по стенам, что один даже сутки не соскучишься, разглядывая эти диковины. В углу ярко пылал большой голландский камин, – и все мы сидели полукругом около этого камина. На низеньких столиках стояли графины с удивительной мадерой, а по случаю приезда дамы – могло быть и несколько – красовались вазы с фруктами и коробки конфет от Конради... Сигарами же гостеприимный хозяин угощал только настоящими гаванскими...

Хорошо нам было! Тепло и уютно... А на улице бушевала ужаснейшая погода, в окна хлестал дождь пополам со снегом, сквозь тяжелые портьеры даже слышно было! В печных трубах слышалось заунывное, зловещее такое завывание, и фонари еле-еле подмигивали, подслеповато моргая во мгле непогоды.

Нам же было, как я уже сказал, очень хорошо, и на непогоду мы не обращали ни малейшего внимания. Разговор шел очень оживленно и весело... Сначала, конечно, мы засыпали новоприезжего вопросами наперебой – капитан едва успевал отвечать, удовлетворяя наше любопытство; потом он рассказывал нам о последней экспедиции на Памир, мы его слушали очень внимательно: потом доктор вспомнил необыкновенный случай в своей практике, рассмешил нас до слез. Потом мадам Терпугова спела что-то очень веселое, по-итальянски – я ничего не понял, хотя она очень выразительно поводила глазками и выгибала талию весьма тоже выразительно; потом один из братьев-стрелков стал рассказывать про вчерашнюю садку и хвастать своим ружьем; потом сеттер Чарли, которому другой брат наступил на хвост, взвизгнул и ворча забрался под диван... И вдруг мы все сразу почему-то замолчали... Это бывает: говорят, говорят... весело так, бойко, да вдруг смолкнут все разом, и в комнате воцарится мертвая тишина – такая, что даже слышно, как часы тикают в жилетном кармане.

Прошло с минуту... Тишины этой никто не решался прервать... только доктор начал было:

– Да...

И замолчал.

Овинов провел рукой по лицу и, наконец, заговорил.

– Удивительное дело. Вот также тогда... смолкли мы разом... Помнишь? – он обратился ко мне.

– Еще бы не помнить!

– Так вот, сидели мы в заброшенной саклюшке и расшумелись на славу, а джигиты спали, как мертвые... Еще бы им не спать после восьмидесятиверстного перегона... на дворе чистая буря разыгралась!.. Расходились горные ветры да ливни – носу не высовывай, а мы пируем у огонька... Шумели, шумели – да сразу и смолкли... и слышу я далекий, чуть донесшийся до уха, звук... Да... выстрел!.. Непременно выстрел и не ружейный... тук... и снова все тихо...

– А вы знаете, господа, что значит ночью выстрел, да еще такой, которого причину вы объяснить не можете?

Овинов обратился не к нам всем вообще, а к братьям Грызуновым, доктору и господину Терпугову с супругой.

– Ну, обыкновенно, выстрел – и все тут... кто-нибудь... зачем-нибудь... Мало ли что!..

– Нет! По-нашему это вот что: мигом на коней и, на слух, все туда!.. Коли стреляют – значит, беда!.. А коли беда – иди на выручку!.. Вот, что это значит...

Полковник Ларош-д'Эгль поднялся с места, шагнул к хозяину и крепко стиснул ему руку...

– Помню и, конечно, никогда не забуду!.. – сказал он, сел на свое место и, обращаясь уже ко всем, пояснил: – Это была последняя, пятая пуля из моего револьвера. Затем оставалось только вынуть шашку и погибать, потому что их было человек восемь... Не раздайся топот коней и голоса... не появишься вовремя, как с неба свалившаяся, помощь – я бы, конечно, не сидел здесь, не пил бы этой мадеры и не любовался бы прелестными глазками нашей милой собеседницы!

– Merci! – протянула та полковнику свою ручку...

Терпугов сделал недовольную гримасу.

– Ну, как вы думаете, господа?.. Почему мы смолкли?..

Хозяин опять обратился к прочим членам компании.

– Да просто потому, что наговорились; речь оборвалась, ну, и перестали!

– Нет, я не про то... А почему именно в эту минуту?.. Ведь мы могли также замолчать и минутой позже!..

– Случайность!..

– Во всяком случае, для меня лично, очень уже счастливая случайность! – добавил полковник Ларош-д'Эгль.

– Ну, а теперь, вот тоже разом замолчали... Это тоже что-нибудь означать должно? – спросил скептик-доктор.

– На этот раз для того, чтобы дать повод рассказать мне тоже весьма интересную историю, по поводу тоже кажущейся случайности! – заговорил один из братьев Грызуновых, младший. – Действительно, как подумаешь, почему это, случайность, а так кстати?

– Расскажите! – одобрительно произнес хозяин дома.

– Да это было неделю всего тому назад. Вы все знаете, как я аккуратен относительно оружия!.. Ведь уж, кажется, осмотрительнее меня и спокойнее нет в этом отношении ни одного охотника...

– Это верно! – подтвердил его брат.

– Ну, вот; стою я в цепи, шестым номером... Медведя поднимают здоровенного!.. Внимание напряжено. Тишина в лесу, в цепи, то есть, мертвая, глаза так и пронизывают чашу, а слух работает так, что зайчишка за версту чихни – и то не прозеваешь... Стою уже с полчаса, а, может, и больше... Вдруг впереди, в кустах, что-то засопело и затрещало... Приглядываюсь: лезет косолапый!.. Ближе,

ближе... шубу его уже ясно различаю. Пора! Я – бац! из одного... бац! из другого... Что за черт!? Тюк да тюк и всего тут... Я к замку – а патронов нету!.. Забыл вложить! Я-то? Да так с разряженным ружьем в цепи сколько времени простоял!.. Ну, и слава же тебе Господи!.. «Полегче, барин! – Это медведь-то мой, говорит. – Я староста Никон, иду доложить, что мишка, через загонщиков, задним ходом прошел к Никулинскому перелеску»...

Большинство слушающих невольно расхохотались.

– Чего смеетесь!? – покачал головой рассказчик. – Не смеялись бы, кабы я две разрывные послал в бок неповинному старосте Никону...

– Не лезь, как дурак, прямо на цепь! Обходи стороной! – вступился было брат.

– От этого, брат, не легче бы было! Конечно, не засудили бы за убийство человека, а все бы тяжелый камень всю жизнь на душе протаскал бы!

– Конечно! – согласились все.

– А ведь тоже, подобная забывчивость со мной в первый раз и, конечно, в последний! Ведь не будь свидетелей, никто из знающих меня не поверил бы... Случайность – значит, и весьма редкая, счастливая, тоже случайность!.. Я, вот, за такую случайность молебен служил в часовне Петра Великого; своему патрону – Николе угоднику – свечу поставил, да и всю жизнь не забуду... Так-то!

Охотно согласились и все мы, что молебен отслужить следовало.

Вошел татарин, слуга Овинова. И сапоги-то у него мягкие, и ковры мягкие-мягкие, взошел, как кошка, неслышной поступью, оглянул стаканы – у кого пусто было, долил и так же неслышно скрылся за дверью.

– А расскажи-ка им про Шайтана и Орлика! – обратился хозяин к капитану Кара-Сакалу.

– Да это, пожалуй, еще страннее будет! – согласился капитан. – Отчего же не рассказать...

– Пожалуйста! – попросил Терпугов.

Я этот случай знал, при мне все дело было, но все-таки приготовился слушать со вниманием и даже доктора подтолкнул, приглашая тоже к особенному вниманию, сказав:

– Да, вот, послушайте и объясните!

– Это было накануне Зара-Булакского боя, – начал капитан... – Надо вам заметить, что мы были приучены к победам легким... Появились, постреляли, пошли в атаку, неприятель бежит... Потери наши вздорные!.. До штыков почти никогда не доходило – ну, а на этот раз можно было ждать чего-нибудь посерьезнее... Видите ли, господа, нас было немного, а перед нами стояла вся бухарская армия, с самим эмиром во главе – и стояла близко... Да что близко!.. Накануне, весь день, их конница наседала на наши аванпосты, со всех сторон охватили, а лазутчики-персы доносили, что и вся гвардия эмира – наемные афганские бригады, тысяч семь, тут же перед нами и стоят на горах, на крепких позициях... Бой, надо вам сказать, предстоял решительный, и последствия поражения в этом бою для Бухары были безусловно роковыми... Эмир это сознавал... сознавали и мы...

Приказано было выступать перед рассветом, без всяких трубных и прочих призывов... Вставать, строиться и в путь! Часу в первом, сделав все нужные распоряжения, прилег я отдохнуть часок... Только заснул, слышу: будит меня мой конюх, Шарипка.

– Тюра, – говорит, – не знаю, что с Орликом случилось... Стоит, повеся голову, не ест, воды не пил и на заднюю ногу жалуется... Смотрел – ничего не видно, а седлать не годится... Я тебе Шайтана оседлаю! Замечу, господа, следующее: у меня всегда была образцовая конюшня, а в поход я взял двух коней – Шайтана да Орлика. Орлик – это был мой любимец, радость душевная, а не лошадка! Не боязлив, не спотыклив, вместо поводьев хоть паутинки подвязывай, такой мягкий – под ногами хоть детей спать клади. И шаг удивительный; не шелохнет! А скакун добрый, угону нет, из беды выручит, свалишься – не уйдет: тут, у тела, и станет, как вкопанный... Да что! Конь – цены нет!.. Шайтан же мой был зол, как дьявол, за что и кличку свою получил... Сесть, кроме меня, никому на себя не давал, да и то попойой голову закрывали. Сядешь, а он норовит зубами ухватить за колено... на дыбы, да задом, пока не утомишь его, как следует... Едешь на нем, бывало, в стороне от других... ни поговорить, ни покурить нельзя... а близко кто подъедет, как тигр кидается... Одно было достоинство – препятствий не знал; стены и рвы брал с шагу... словно крылья у него вырастали, и скакать мог верст тридцать, даже не запыхается. Я его, собственно, и держал для скачек, да и надежда была все-таки объездить его, как следует... Так вот судите сами, каково мое положение: перед решительным боем, командир пехоты, да на таком сокровище... Беда чистая!..

Выругался я в пространство, милого Орлика своего почтил недобрым словом за болезнь некстати. Ладно, говорю Шарипу, а у самого от неприятности сон прошел...

Выступили перед рассветом, как сказано; тронулись... Утренница уже разгораться начала... Держусь я стороной, руки все заныли дьявола моего сдерживать, а тот храпит со злости, глазами просто ест, кто хоть за десять шагов подъедет... и меня раздражает... Какое тут боевое спокойствие на этом черте!.. Идем!

Стало светло. Авангард далеко впереди. По донесениям из штаба, давно ему следовало бы бой начать, а не слышно канонады... что за странность?! А вся степь туманом и пылью затянулась, только левее – гряда невысоких холмов чуть выделяется легким силуэтиком...

Солнце стало подниматься, припекать начало... колыхнулся туман, стал ветер пыль относить... смотрим: задымились разом все гребни, и загрохотали бухарские пушки... Мы-то мимо прошли, и весь фланг растянутой колонны ему подставили... Генералы бухарские были неглупы, оплошность нашу заметили, да всей массой и перейди в наступление, а против их натиска всего только полтора батальона!.. Дело скверно!

Недолго думая, мы повернулись к ним лицом в атаку сами... чего зевать! Ронжи зазвонили... Стрелковая рота в густую цепь... головные взводы на руку... ура!..

Свалились все в общую кучу... И что тут только было!..

Окружили меня со всех сторон... Куда ни повернись – все черные рожи, бараньи шапки да красные куртки... заслонили от меня белую стену наших – не видать даже... И тишина настала... Верите ли? Смолкло ура, только и слышно хрип какой-то, тяжелое дыхание да стукотня прикладов... Расстрелял я свой револьвер чуть не в упор... Чувствовалось даже, как ствол, перед выстрелом, в чью-то голову упирался... А Шайтан остервенился... Топчет, бьет и задом, и передом, зубами расшвыривает и такую расчистил около меня эспланаду – на диво! А тут вижу, наше выгорает... Генерал у нас был малый находчивый, боевой генерал! Он сразу смекнул положение и извлек из худого хорошее: части авангарда уже заходили в тыл; на занятом холме загрели наши батарейные... Видим, и пестрый букет генеральских значков колышется, двигаясь к нам все ближе и ближе... Нет уже черномазых морд... все спины и спины... и сплошными массаами, эти красные спины, медленно отступают, не оборачиваясь, не отстреливаясь... остатки нашего батальона стоят неподвижно, опустив ружья к ноге, словно кошмар какой-то нашел на всех... А кругом вся земля покрыта телами, кровью залита...

– Спасибо, молодцы! – раздался знакомый нам генеральский возглас.

– Рады стараться! – гаркнули белые рубали... И все ожило разом, встрепенулось.

– Однако, капитан, вас отделали! Вы ранены?..

Это он ко мне обратился. Оглянулся я, осмотрелся: мой серый Шайтан – весь красный, по ногам кровь сочится. Сам я ничего не чувствую, а седло в крови... Боли никакой!.. Оно, ведь, когда раны не смертельные, так – царапины, так никогда, сгоряча ничего не чувствуешь...

– Нет, ничего, слава Богу, ваше превосходительство!

К полудню бой на всех пунктах прекратился; отошли мы к воде, расположились бивуаком... Стало мне худо... Ослабел, должно быть, от потери крови. Действительно, оказались не раны – царапины, да много уж очень, а все куда меньше, чем у Шайтана, присмирел даже, бедняга!.. Подошли обозы, явился конюх Шарип.

– Ну, слава Богу, жив капитан!.. А мне говорили, что тебя на куски изрезали...

– Нет, видишь, жив и цел почти! – отвечаю. – Позаботься о коне, осмотри его хорошенько...

– Видел... ничего!.. Это ему на пользу... А Орлик-то твой поправился... как будто и болен не был!.. Веселый такой и в обозе, на воле бегаёт, с собаками ротными разыгрался...

Вот тогда я и задумался... И крепко-крепко задумался... Расстегнул ворот рубахи, вытянул складень с Николаем Святителем и прилип просто к нему губами... И задумался я вот отчего.

Не заболеет Орлик, и всего-то ведь на несколько часов... болезней таких быстротечных у лошадей не бывает – я бы был на нем, а не на этом дьяволе злющем. Да от меня, действительно, ключья бы одни остались... Да меня бы штыками бухарцы с седла сняли, именно, что в куски изрезали бы. Выручил Шайтан и сам поплатился. К ночи ослабел, свалился, а к следующему утру готов... Не выжил!.. Вот и вся моя история!

– Ах, как это интересно! – вскрикнула госпожа Терпугова.

– Удивительный случай!.. – заметил доктор... – А все-таки...

– Провидение! – склонил голову Ларош-д'Эгль.

– Именно, милость Божия! – добавил хозяин. – А хорошо ты рассказываешь: и сжато, и ясно, и очень уж картинно! Так вот перед глазами все и представляется!..

– Ну, что уж... Какой я рассказчик! – скромно ответил капитан и потянулся рукой – за яблоком, должно быть.

А мадам Терпугова заметила это и, взяв тяжелую вазу обеими руками, даже встала с места, чтобы прислужить Кара-Сакалу...

Сам же Терпугов, откашлявшись предварительно, стал, видимо, обнаруживать желание рассказать тоже что-нибудь очень интересное, и это было замечено зорким оком хозяина.

– Господа! – произнес Овинов. – Вот Иван Семенович расскажет нам что-нибудь в этом же роде из своей жизни... Он тоже человек бывалый и виды видалый... Ну-с, приступайте, почтеннейший...

– Да нет... что же я... к чему же... где уже мне тут с рассказами?!

Иван Семенович выразил легкое смущение и даже покраснел, но так как ему действительно хотелось очень что-нибудь рассказать, то, покашляв еще немного, переменял сигару и начал:

– Я, господа, совсем из другой оперы, как говорится... Тут в моем рассказе – ни боя, ни крови, ни смерти – ничего такого страшного нет, а все-таки дело крайне рискованное и серьезное... Случай не случай, но нечто, имевшее для меня роковые – и спасительные последствия...

Дело, видите ли в чем... Давно это было, во времена молодости. Служил я по особым поручениям, при министерстве финансов, был в дальней командировке, жалованье получал не бог весть какое и состояния еще не имел. Дальней командировке, конечно, был рад. Еще бы! Отпустили мне чуть не три тысячи на дорожные расходы, по аптекарскому счету, это значит в пять раз больше, чем предстояло действительных расходов... Чувствую себя просто Ротшильдом – и в первом же городе остановился отдохнуть... Представился губернатору, прочим властям, вечером попал в клуб. А поиграть я любил! Без душевного трепета зеленого стола видеть не мог... Меня ласкают, ухаживают просто, как за Чичиковым, до ноздревского разоблачения... Чувствую себя превосходно! Сели в вист, выиграл я десятка два рублей – вижу, везет... Поужинали... После ужина кое-кто разъехалось, осталось меньше народу, попробовали перекинуться... Приглашают меня – я, отчего же! С большим удовольствием!.. Сначала мне повезло действительно – я и разгорячился!.. Убили крупную карту, у меня круги заходили в глазах... Пошло и пошло – да все дочиста. Весь свой командировочный капитал! Каково положение!.. Отошел я от стола, выпил бутылку сельтерской, да и задумался. Да и было отчего задуматься! Командировка только вначале, а мне выехать не с чем. Город незнакомый... Проигрался, как юнкер, – это опытный чиновник, облеченный доверенностью самого министра... Писать, просить – не к кому... А ведь деньги-то не мои, а даны на казенные дела! Покаяться бы, под суд сразу – и вся карьера испорчена... Напало на меня отчаяние, и какой-то столбняк нашел. Сижусь и молчу, уставившись глазами в клетку паркета...

Вот в это самое время со мной и случилось... Да-с!.. Озлился кто-то за столом, да как швырнет колоду об пол... Карты по всему залу разлетелись, а одна, ну, вот, словно бабочка какая, порхала, порхала, да и, тихо так, спустилась как раз на наблюдаемую мной паркетную клетку... Смотрю: двойка бубен... И вдруг, словно повинувшись какой-то волшебной силе, забыл я все!.. Все роковые последствия, всю пошлость и низость моего поведения... поднял эту карту, да к столу...

– Ва-банк, господа! Со входящими!

На меня посмотрели – очевидно, поверили... Один даже кто-то «браво» крикнул. Вот это по нашему!.. Направо – налево, направо – налево... Она!.. Двойка бубен!.. Дана!..

– А если бы – бита? – прервал рассказчика доктор.

Терпугов остановился, взглянул на спрашивающего, брови у него как-то перекошились, и в горле захрипело...

– А если бы бита была моя двойка, я бы вышел куда-нибудь, да и повесился бы там же, у них в клубе. Больше мне ровно ничего не оставалось сделать... на это я шел. То есть, и не совсем прав – это я после, значительно после обдумал, что именно так бы и должно было бы поступить, а тогда я ничего не сознавал...

Подсчитали – оказалось отыгрался, со значительной даже прибылью. Вышел в соседний зал и слышу ясно – какой-то старичок допивает свой кофе и говорит соседу (что они там прежде говорили – не знаю, только я услышал одно последнее слово): «И не играй больше!» Как заряд дроби вlepилось мне это слово в ухо, а совсем не ко мне оно и относилось... Да, слушайте, что дальше!.. Перехожу я в столовую, у буфета кучка – пьют и смеются, а один кричит: «Баста! Пора и меру знать!» Только это я и услышал из всего их разговора, я даже вздрогнул слегка.

Поголял я, для приличия больше, простился, кому-то обещал приехать обедать завтра, выхожу в швейцарскую – спускаются тоже двое с лестницы, разговаривают, поравнялись со мной, слышу: «Все дело, я вам доложу, только в том, чтобы забастовать вовремя!» Фу, ты, пропасть! Сажусь в сани, еду, а через улицу кто-то кричит: «Ладно, что ушел в добрый час» .И это я себе намотал на ус... Приезжаю, раздеваюсь, ложусь спать, а сосед по номеру говорит кому-то: «Шабаш. И ни-ни!» Только это и сказал – и больше ни слова... ну, просто как для меня, нарочно!

Волнение страшное, спать не могу, ворочаюсь на постели... Как заснул – не помню... Просыпаюсь, вглядываюсь, а в углу кто-то висит, в шинели и шапке... оно, действительно, в углу висела и шинель моя, и шапка на вешалке, но мне показалось, что это я сам, да так явственно, что холодный пот выступил по всему телу... Вот тут-то мне и пришло в голову: будь моя двойка бита – мне бы только одно это и оставалось!

На другой же день я дальше!.. Разослал, кому надо, ответные карточки, извинился, за получением якобы экстренной телеграммы, и дальше, и дальше... Дальше от соблазна, от печальной перспективы самому лично уподобиться шинели, висящей на вешалке, и с тех самых пор действительно больше в руки карт не беру. Вот уже двадцать лет скоро, как это случилось, а твердо помню: двойка бубен... как

бабочка порхает и легла навзничь. «И не играй больше», «Баста! Пора и меру знать!» «Все дело, я вам доложу, только в том, чтобы забастовать вовремя», «Ладно, что ушел в добрый час» и, наконец, еще раз: «Шабаш, и ни-ни!» с шинельным финалом и холодным потом... Каковы-с случайности в такой последовательности?!

– Хорошо, что двойка бубен, а не пиковая дама! – сострил один из братьев Грызуновых.

Но никто этой остроты не заметил. Только полковник Ларош д'Эгль произнес в раздумье:

– Да, ну, уже к таким явлениям, как карточные увлечения, нельзя же пристегивать святое Провидение.

СЛУЧАЙНОСТЬ

Гамлет: «На свете, друг мой Горацио,
есть много такого, что и не снилось нашим мудрецам»

Шекспир

Собралось нас, несколько приятелей, у нашего общего друга, Овинова.

Хозяин наш был человек пожилой, давно за пятьдесят, холостяк и добрейший малый, хотя и проведший свою молодость очень бурно – да так, что из его похождения можно было бы составить целую эпопею. Служил он долго в глухой Азии, изрядно искалечен в боях и в настоящее время отдыхал с помощью весьма солидной пенсии на полной воле.

Собрались мы, главное, по случаю приезда капитана Кара-Сакала, из Маргелана – в Ферганской области есть такой город – лет восемь не видали нашего чернобородого чудака и общего любимца. Остановился он у Овинова, а тот и разослал всем сборные повесточки.

Пришел я (живу поблизости, всего через улицу), пришел полковник Ларош д'Эгль, тоже сослуживец, прикатил в своей карете Терпугов, Иван Семенович, с супругой... Ну, и замечательная же женщина! Глядя на эту важную грандам, кто бы мог подумать, что всего год тому назад она скакала через бумажный обруч в цирке Чифунчели!.. Пожаловал и доктор, добрейший Семен Иванович, но без супруги, братья Грызуновы, просто штатские люди, члены общества голубиных садов, хорошие стрелки и страстные охотники... Не пришел только тот, от которого никак уж нельзя было ожидать подобной неаккуратности – именно князь Чох-Чохов, при всех дружеских сборах первый, при разъезде последний, удивительно приятный тулумбаш и устроитель шашлыков под кавказскую зурну. А дело было в Петербурге.

Квартира Овинова помещалась в нижнем этаже, на улицу – ход прямо из швейцарской, и отделана была на славу дорогими персидскими коврами, отоманками, тигровыми и медвежьими шкурами, расшитыми золотом, бухарскими чепраками и такими богатыми арматурами по стенам, что один даже сутки не соскучишься, разглядывая эти диковины. В углу ярко пылал большой голландский камин, – и все мы сидели полукругом около этого камина. На низеньких столиках стояли графины с удивительной мадерой, а по случаю приезда дамы – могло быть и несколько – красовались вазы с фруктами и коробки конфет от Конради... Сигарами же гостеприимный хозяин угощал только настоящими гаванскими...

Хорошо нам было! Тепло и уютно... А на улице бушевала ужаснейшая погода, в окна хлестал дождь пополам со снегом, сквозь тяжелые портьеры даже слышно было! В печных трубах слышалось заунывное, зловещее такое завывание, и фонари еле-еле подмигивали, подслеповато моргая во мгле непогоды.

Нам же было, как я уже сказал, очень хорошо, и на непогоду мы не обращали ни малейшего внимания. Разговор шел очень оживленно и весело... Сначала, конечно, мы засыпали новоприезжего вопросами наперебой – капитан едва успевал отвечать, удовлетворяя наше любопытство; потом он рассказывал нам о последней экспедиции на Памир, мы его слушали очень внимательно: потом доктор вспомнил необыкновенный случай в своей практике, рассмешил нас до слез. Потом мадам Терпугова спела что-то очень веселое, по-итальянски – я ничего не понял, хотя она очень выразительно поводила глазками и выгибала талию весьма тоже выразительно; потом один из братьев-стрелков стал рассказывать про вчерашнюю садку и хвастать своим ружьем; потом сеттер Чарли, которому другой брат наступил на хвост, взвизгнул и ворча забрался под диван... И вдруг мы все сразу почему-то замолчали... Это бывает: говорят, говорят... весело так, бойко, да вдруг смолкнут все разом, и в комнате воцарится мертвая тишина – такая, что даже слышно, как часы тикают в жилетном кармане.

Прошло с минуту... Тишины этой никто не решался прервать... только доктор начал было:

– Да...

И замолчал.

Овинов провел рукой по лицу и, наконец, заговорил.

– Удивительное дело. Вот также тогда... смолкли мы разом... Помнишь? – он обратился ко мне.

– Еще бы не помнить!

– Так вот, сидели мы в заброшенной саклюшке и расшумелись на славу, а джигиты спали, как мертвые... Еще бы им не спать после восьмидесятиверстного перегона... на дворе чистая буря разыгралась!.. Расходились горные ветры да ливни – носу не высовывай, а мы пируем у огонька... Шумели, шумели – да сразу и смолкли... и слышу я далекий, чуть донесшийся до уха, звук... Да... выстрел!.. Непременно выстрел и не ружейный... тук... и снова все тихо...

– А вы знаете, господа, что значит ночью выстрел, да еще такой, которого причину вы объяснить не можете?

Овинов обратился не к нам всем вообще, а к братьям Грызуновым, доктору и господину Терпугову с супругой.

– Ну, обыкновенно, выстрел – и все тут... кто-нибудь... зачем-нибудь... Мало ли что!..

– Нет! По-нашему это вот что: мигом на коней и, на слух, все туда!.. Коли стреляют – значит, беда!.. А коли беда – иди на выручку!.. Вот, что это значит...

Полковник Ларош-д'Эгль поднялся с места, шагнул к хозяину и крепко стиснул ему руку...

– Помню и, конечно, никогда не забуду!.. – сказал он, сел на свое место и, обращаясь уже ко всем, пояснил: – Это была последняя, пятая пуля из моего револьвера. Затем оставалось только вынуть

шашку и погибать, потому что их было человек восемь... Не раздайся топот коней и голоса... не появись вовремя, как с неба свалившаяся, помощь – я бы, конечно, не сидел здесь, не пил бы этой мадеры и не любовался бы прелестными глазками нашей милой собеседницы!

– Merci! – протянула та полковнику свою ручку...

Терпугов сделал недовольную гримасу.

– Ну, как вы думаете, господа?.. Почему мы смолкли?..

Хозяин опять обратился к прочим членам компании.

– Да просто потому, что наговорились; речь оборвалась, ну, и перестали!

– Нет, я не про то... А почему именно в эту минуту?.. Ведь мы могли также замолчать и минутой позже!..

– Случайность!..

– Во всяком случае, для меня лично, очень уже счастливая случайность! – добавил полковник Ларош-д'Эгль.

– Ну, а теперь, вот тоже разом замолчали... Это тоже что-нибудь означать должно? – спросил скептик-доктор.

– На этот раз для того, чтобы дать повод рассказать мне тоже весьма интересную историю, по поводу тоже кажущейся случайности! – заговорил один из братьев Грызуновых, младший. – Действительно, как подумаешь, почему это, случайность, а так кстати?

– Расскажите! – одобрительно произнес хозяин дома.

– Да это было неделю всего тому назад. Вы все знаете, как я аккуратен относительно оружия!.. Ведь уж, кажется, осмотрительнее меня и спокойнее нет в этом отношении ни одного охотника...

– Это верно! – подтвердил его брат.

– Ну, вот; стою я в цепи, шестым номером... Медведя поднимают здоровенного!.. Внимание напряжено. Тишина в лесу, в цепи, то есть, мертвая, глаза так и пронизывают чащу, а слух работает так, что зайчишка за версту чихни – и то не прозеваешь... Стою уже с полчаса, а, может, и больше... Вдруг впереди, в кустах, что-то засопело и затрещало... Приглядываюсь: лезет косолапый!.. Ближе, ближе... шубу его уже ясно различаю. Пора! Я – бац! из одного... бац! из другого... Что за черт!? Тюк да тюк и всего тут... Я к замку – а патронов нету!.. Забыл вложить! Я-то? Да так с разряженным ружьем в цепи сколько времени простоял!.. Ну, и слава же тебе Господи!.. «Полегче, барин! – Это медведь-то мой, говорит. – Я староста Никон, иду доложить, что мишка, через загонщиков, задним ходом прошел к Никулинскому перелеску»...

Большинство слушающих невольно расхохотались.

– Чего смеетесь!? – покачал головой рассказчик. – Не смеялись бы, кабы я две разрывные послал в бок неповинному старосте Никону...

– Не лезь, как дурак, прямо на цепь! Обходи стороной! – вступился было брат.

– От этого, брат, не легче бы было! Конечно, не засудили бы за убийство человека, а все бы тяжелый камень всю жизнь на душе протаскал бы!

– Конечно! – согласились все.

– А ведь тоже, подобная забывчивость со мной в первый раз и, конечно, в последний! Ведь не будь свидетелей, никто из знающих меня не поверил бы... Случайность – значит, и весьма редкая, счастливая, тоже случайность!.. Я, вот, за такую случайность молебен служил в часовне Петра Великого; своему патрону – Николе угоднику – свечу поставил, да и всю жизнь не забуду... Так-то!

Охотно согласились и все мы, что молебен отслужить следовало.

Вошел татарин, слуга Овинова. И сапоги-то у него мягкие, и ковры мягкие-мягкие, взошел, как кошка, неслышной поступью, оглянул стаканы – у кого пусто было, долил и так же неслышно скрылся за дверью.

– А расскажи-ка им про Шайтана и Орлика! – обратился хозяин к капитану Кара-Сакалу.

– Да это, пожалуй, еще страннее будет! – согласился капитан. – Отчего же не рассказать...

– Пожалуйста! – попросил Терпугов.

Я этот случай знал, при мне все дело было, но все-таки приготовился слушать со вниманием и даже доктора подтолкнул, приглашая тоже к особенному вниманию, сказав:

– Да, вот, послушайте и объясните!

– Это было накануне Зара-Булакского боя, – начал капитан... – Надо вам заметить, что мы были приучены к победам легким... Появились, постреляли, пошли в атаку, неприятель бежит... Потери наши вздорные!.. До штыков почти никогда не доходило – ну, а на этот раз можно было ждать чего-нибудь посерьезнее... Видите ли, господа, нас было немного, а перед нами стояла вся бухарская армия, с самим эмиром во главе – и стояла близко... Да что близко!.. Накануне, весь день, их конница наседала на наши аванпосты, со всех сторон охватили, а лазутчики-персы доносили, что и вся гвардия эмира – наемные афганские бригады, тысяч семь, тут же перед нами и стоят на горах, на крепких позициях... Бой, надо вам сказать, предстоял решительный, и последствия поражения в этом бою для Бухары были безусловно роковыми... Эмир это признавал... признавали и мы...

Приказано было выступать перед рассветом, без всяких трубных и прочих призывов... Вставать, строиться и в путь! Часу в первом, сделав все нужные распоряжения, прилег я отдохнуть часок... Только заснул, слышу: будит меня мой конюх, Шарипка.

– Тюра, – говорит, – не знаю, что с Орликом случилось... Стоит, повеся голову, не ест, воды не пил и на заднюю ногу жалуется... Смотрел – ничего не видно, а седлать не годится... Я тебе Шайтана оседлаю! Замечу, господа, следующее: у меня всегда была образцовая конюшня, а в поход я взял двух коней – Шайтана да Орлика. Орлик – это был мой любимец, радость душевная, а не лошадка! Не боязлив, не спотыклив, вместо поводьев хоть паутинки подвязывай, такой мягкий – под ногами хоть детей спать клади. И шаг удивительный; не шелохнет! А скакун добрый, угону нет, из беды выручит, свалишься – не уйдет: тут, у тела, и станет, как вкопанный... Да что! Конь – цены нет!.. Шайтан же мой был зол,

как дьявол, за что и кличку свою получил... Сесть, кроме меня, никому на себя не давал, да и то попоной голову закрывали. Сядешь, а он норовит зубами ухватить за колено... на дыбы, да задом, пока не уморишь его, как следует... Едешь на нем, бывало, в стороне от других... ни поговорить, ни покурить нельзя... а близко кто подъедет, как тигр кидается... Одно было достоинство – препятствий не знал; стены и рвы брал с шагу... словно крылья у него выросли, и скакать мог верст тридцать, даже не запыхается. Я его, собственно, и держал для скачек, да и надежда была все-таки объездить его, как следует... Так вот судите сами, каково мое положение: перед решительным боем, командир пехоты, да на таком сокровище... Беда чистая!..

Выругался я в пространство, милого Орлика своего почтил недобрым словом за болезнь некстати. Ладно, говорю Шарипу, а у самого от неприятности сон прошел...

Выступили перед рассветом, как сказано; тронулись... Утренница уже разгораться начала... Держусь я стороной, руки все заныли дьявола моего сдерживать, а тот храпит со злости, глазами просто ест, кто хоть за десять шагов подъедет... и меня раздражает... Какое тут боевое спокойствие на этом черте!.. Идем!

Стало светло. Авангард далеко впереди. По донесениям из штаба, давно ему следовало бы бой начать, а не слышно канонады... что за странность?! А вся степь туманом и пылью затянулась, только левее – гряда невысоких холмов чуть выделяется легким силуэтиком...

Солнце стало подниматься, припекать начало... колыхнулся туман, стал ветер пыль относить... смотрим: задымились разом все гребни, и загрохотали бухарские пушки... Мы-то мимо прошли, и весь фланг растянутой колонны ему подставили... Генералы бухарские были неглупы, оплошность нашу заметили, да всей массой и перейди в наступление, а против их натиска всего только полтора батальона!.. Дело скверно!

Недолго думая, мы повернулись к ним лицом в атаку сами... чего зевать! Ронжи зазвонили... Стрелковая рота в густую цепь... головные взводы на руку... ура!..

Свалились все в общую кучу... И что тут только было!..

Окружили меня со всех сторон... Куда ни повернись – все черные рожи, бараньи шапки да красные куртки... заслонили от меня белую стену наших – не видать даже... И тишина настала... Верите ли? Смолкло ура, только и слышно хрип какой-то, тяжелое дыхание да стукотня прикладов... Расстрелял я свой револьвер чуть не в упор... Чувствовалось даже, как ствол, перед выстрелом, в чью-то голову упирался... А Шайтан остервенился... Топчет, бьет и задом, и передом, зубами расшвыривает и такую расчистил около меня эспланаду – на диво! А тут вижу, наше выгорает... Генерал у нас был малый находчивый, боевой генерал! Он сразу смекнул положение и извлек из худого хорошее: части авангарда уже заходили в тыл; на занятом холме загремели наши батарейные... Видим, и пестрый букет генеральских значков колыхнется, двигаясь к нам все ближе и ближе... Нет уже черномазых морд... все спины и спины... и сплошными массами, эти красные спины, медленно отступают, не оборачиваясь,

не отстреливаясь... остатки нашего батальона стоят неподвижно, опустив ружья к ноге, словно кошмар какой-то нашел на всех... А кругом вся земля покрыта телами, кровью залита...

– Спасибо, молодцы! – раздался знакомый нам генеральский возглас.

– Рады стараться! – гаркнули белые рубали... И все ожило разом, встрепенулось.

– Однако, капитан, вас отделали! Вы ранены?..

Это он ко мне обратился. Оглянулся я, осмотрелся: мой серый Шайтан – весь красный, по ногам кровь сочится. Сам я ничего не чувствую, а седло в крови... Боли никакой!.. Оно, ведь, когда раны не смертельные, так – царапины, так никогда, сгоряча ничего не чувствуешь...

– Нет, ничего, слава Богу, ваше превосходительство!

К полудню бой на всех пунктах прекратился; отошли мы к воде, расположились бивуаком... Стало мне худо... Ослабел, должно быть, от потери крови. Действительно, оказались не раны – царапины, да много уж очень, а все куда меньше, чем у Шайтана, присмирел даже, бедняга!.. Подошли обозы, явился конюх Шарип.

– Ну, слава Богу, жив капитан!.. А мне говорили, что тебя на куски изрезали...

– Нет, видишь, жив и цел почти! – отвечаю. – Позаботься о коне, осмотри его хорошенько...

– Видел... ничего!.. Это ему на пользу... А Орлик-то твой поправился... как будто и болен не был!..

Веселый такой и в обозе, на воле бегаёт, с собаками ротными разыгрался...

Вот тогда я и задумался... И крепко-крепко задумался... Расстегнул ворот рубахи, вытянул складень с Николаем Святителем и прилип просто к нему губами... И задумался я вот отчего.

Не заболел Орлик, и всего-то ведь на несколько часов... болезней таких быстротечных у лошадей не бывает – я бы был на нем, а не на этом дьяволе злющем. Да от меня, действительно, клочья бы одни остались... Да меня бы штыками бухарцы с седла сняли, именно, что в куски изрезали бы. Выручил Шайтан и сам поплатился. К ночи ослабел, свалился, а к следующему утру готов... Не выжил!.. Вот и вся моя история!

– Ах, как это интересно! – вскрикнула госпожа Терпугова.

– Удивительный случай!.. – заметил доктор... – А все-таки...

– Провидение! – наклонил голову Ларош-д'Эгль.

– Именно, милость Божия! – добавил хозяин. – А хорошо ты рассказываешь: и сжато, и ясно, и очень уж картинно! Так вот перед глазами все и представляется!..

– Ну, что уж... Какой я рассказчик! – скромно ответил капитан и потянулся рукой – за яблоком, должно быть.

А мадам Терпугова заметила это и, взяв тяжелую вазу обеими руками, даже встала с места, чтобы прислужить Кара-Сакалу...

Сам же Терпугов, откашлявшись предварительно, стал, видимо, обнаруживать желание рассказать тоже что-нибудь очень интересное, и это было замечено зорким оком хозяина.

– Господа! – произнес Овинов. – Вот Иван Семенович расскажет нам что-нибудь в этом же роде из своей жизни... Он тоже человек бывалый и виды видалый... Ну-с, приступайте, почтеннейший...

– Да нет... что же я... к чему же... где уже мне тут с рассказами?!

Иван Семенович выразил легкое смущение и даже покраснел, но так как ему действительно хотелось очень что-нибудь рассказать, то, покашляв еще немного, переменял сигару и начал:

– Я, господа, совсем из другой оперы, как говорится... Тут в моем рассказе – ни боя, ни крови, ни смерти – ничего такого страшного нет, а все-таки дело крайне рискованное и серьезное... Случай не случай, но нечто, имевшее для меня роковые – и спасительные последствия...

Дело, видите ли в чем... Давно это было, во времена молодости. Служил я по особым поручениям, при министерстве финансов, был в дальней командировке, жалованье получал не бог весть какое и состояния еще не имел. Дальней командировке, конечно, был рад. Еще бы! Отпустили мне чуть не три тысячи на дорожные расходы, по аптекарскому счету, это значит в пять раз больше, чем предстояло действительных расходов... Чувствую себя просто Ротшильдом – и в первом же городе остановился отдохнуть... Представился губернатору, прочим властям, вечером попал в клуб. А поиграть я любил! Без душевного трепета зеленого стола видеть не мог... Меня ласкают, ухаживают просто, как за Чичиковым, до ноздревского разоблачения... Чувствую себя превосходно! Сели в вист, выиграл я десятка два рублей – вижу, везет... Поужинали... После ужина кое-кто разъехалось, осталось меньше народу, попробовали перекинуться... Приглашают меня – я, отчего же! С большим удовольствием!.. Сначала мне повезло действительно – я и разгорячился!.. Убили крупную карту, у меня круги заходили в глазах... Пошло и пошло – да все дочиста. Весь свой командировочный капитал! Каково положение!.. Отошел я от стола, выпил бутылку сельтерской, да и задумался. Да и было отчего задуматься! Командировка только вначале, а мне выехать не с чем. Город незнакомый... Проигрался, как юнкер, – это опытный чиновник, облеченный доверенностью самого министра... Писать, просить – не к кому... А ведь деньги-то не мои, а даны на казенные дела! Покаяться бы, под суд сразу – и вся карьера испорчена... Напало на меня отчаяние, и какой-то столбняк нашел. Сажу и молчу, уставившись глазами в клетку паркета...

Вот в это самое время со мной и случилось... Да-с!.. Озлился кто-то за столом, да как швырнет колоду об пол... Карты по всему залу разлетелись, а одна, ну, вот, словно бабочка какая, порхала, порхала, да и, тихо так, спустилась как раз на наблюдаемую мной паркетную клетку... Смотрю: двойка бубен... И вдруг, словно повинувшись какой-то волшебной силе, забыл я все!.. Все роковые последствия, всю пошлость и низость моего поведения... поднял эту карту, да к столу...

– Ва-банк, господа! Со входящими!

На меня посмотрели – очевидно, поверили... Один даже кто-то «браво» крикнул. Вот это по нашему!..

Направо – налево, направо – налево... Она!.. Двойка бубен!.. Дана!..

– А если бы – бита? – прервал рассказчика доктор.

Терпугов остановился, взглянул на спрашивающего, брови у него как-то перекошились, и в горле захрипело...

– А если бы бита была моя двойка, я бы вышел куда-нибудь, да и повесился бы там же, у них в клубе. Больше мне ровно ничего не оставалось сделать... на это я шел. То есть, и не совсем прав – это я после, значительно после обдумал, что именно так бы и должно было бы поступить, а тогда я ничего не сознавал...

Подсчитали – оказалось отыгрался, со значительной даже прибылью. Вышел в соседний зал и слышу ясно – какой-то старичок допивает свой кофе и говорит соседу (что они там прежде говорили – не знаю, только я услышал одно последнее слово): «И не играй больше!» Как заряд дроби влепилось мне это слово в ухо, а совсем не ко мне оно и относилось... Да, слушайте, что дальше!.. Перехожу я в столовую, у буфета кучка – пьют и смеются, а один кричит: «Баста! Пора и меру знать!» Только это я и услышал из всего их разговора, я даже вздрогнул слегка.

Поголял я, для приличия больше, простился, кому-то обещал приехать обедать завтра, выхожу в швейцарскую – спускаются тоже двое с лестницы, разговаривают, поравнялись со мной, слышу: «Все дело, я вам доложу, только в том, чтобы забастовать вовремя!» Фу, ты, пропасть! Сажусь в сани, еду, а через улицу кто-то кричит: «Ладно, что ушел в добрый час» .И это я себе намотал на ус... Приезжаю, раздеваюсь, ложусь спать, а сосед по номеру говорит кому-то: «Шабаш. И ни-ни!» Только это и сказал – и больше ни слова... ну, просто как для меня, нарочно!

Волнение страшное, спать не могу, ворочаюсь на постели... Как заснул – не помню... Просыпаюсь, вглядываюсь, а в углу кто-то висит, в шинели и шапке... оно, действительно, в углу висела и шинель моя, и шапка на вешалке, но мне показалось, что это я сам, да так явственно, что холодный пот выступил по всему телу... Вот тут-то мне и пришло в голову: будь моя двойка бита – мне бы только одно это и оставалось!

На другой же день я дальше!.. Разослал, кому надо, ответные карточки, извинился, за получением якобы экстренной телеграммы, и дальше, и дальше... Дальше от соблазна, от печальной перспективы самому лично уподобиться шинели, висящей на вешалке, и с тех самых пор действительно больше в руки карт не беру. Вот уже двадцать лет скоро, как это случилось, а твердо помню: двойка бубен... как бабочка порхает и легла навзничь. «И не играй больше», «Баста! Пора и меру знать!» «Все дело, я вам доложу, только в том, чтобы забастовать вовремя», «Ладно, что ушел в добрый час» и, наконец, еще раз: «Шабаш, и ни-ни!» с шинельным финалом и холодным потом... Каковы-с случайности в такой последовательности?!

– Хорошо, что двойка бубен, а не пиковая дама! – сострил один из братьев Грызуновых.

Но никто этой остроты не заметил. Только полковник Ларош д'Эгль произнес в раздумье:

– Да, ну, уже к таким явлениям, как карточные увлечения, нельзя же пристегивать святое Провидение. Это как будто бы немного кощунство... А уж коли пошло на рассказы в жанре легком... Тонтаморес,

так сказать, – продолжал он, – то и я вам расскажу случай про удивительные, непостижимые стечения обстоятельств. Вот послушайте-ка.

Ехали мы раз в довольно большой компании – казахи офицеры к нам присоединились, ехали из Джюзака в Ташкент. Вы знаете эту дорогу, голодной степью, на Мурза-Рабат?.. Это совершенная равнина, говорят, будто дно какого-то древнего, давно исчезнувшего моря, и дорога по ней проложена как по океану – бесчисленные параллельные тропинки, местами едва намеченные, тянутся широкой, чуть не с версту, полосой, а растительность жалкая, сухая, местами и совсем оголенные плечи... Жара невыносимая стояла; мы и переждали ее в Мурза-Рабате, в тени его многовекового купола. Как стало спадать, так часов в пять вечера, выехали... Едем, не торопясь, легким тротом, чтобы засветло только попасть к Сыр-Дарьинской переправе. Так впереди кучкой едем мы, офицеры, а, поотстав от нас шагов на сто, наши джигиты... Едем, покуриваем да беседуем... Часов около восьми, к солнечному закату, уже впереди засинелись береговые камыши, и потянуло водой в воздухе. Вздумал я проверить свои часы, потянул за цепочку – что за оказия?.. Цепочка тут зря болтается, а часов как не бывало – крючок разогнулся, они и отлетели... Я помню очень хорошо, что дорогой, именно перед выездом из Мурза-Рабата, я справлялся по ним насчет времени. Хорошо помню, что положил их в карман; значит, если они и выпали – то на этом перегоне, то есть, между Мурза-Рабатом и тем местом, где я заметил потерю... И так мне стало обидно, что я невольно крикнул с досады. «Что такое?» – справляются товарищи. Говорю. «Поедем искать», – решил тотчас же один. «Поедем», – решили и остальные... Дело в том, что мои часы все знали и знали им настоящую цену. Это – роскошные старинные часы, подаренные еще моему деду самым королем Людовиком XVI. Мой дед служил капитаном в швейцарской гвардии короля и был его большим любимцем. Он погиб во дворце с товарищами своими, во время этой проклятой революции. На крышке этих часов изображены три лилии и сложенные накрест шпаги, а внутри вензель королевы Марии-Антуанетты, собственно она-то и пожаловала эти часы деду, король только вручил их капитану собственноручно. Конечно, это не то, чтобы потерять какую-нибудь дрянь, вещь историческая!.. От деда часы попали к моему отцу, одному из немногих гвардейцев, уцелевших при разгроме Версаля: тот эмигрировал в Россию – и по смерти очутились у меня. Вот эти-то знаменитые часы и вылетели у меня дорогой, между Сыр-Дарьей и Мурза-Рабатом.

Как ни глупо было в степи беспредельной искать потерянные часы, но мы рассыпались цепью на две сажени всадник от всадника и медленно пошли назад, устремив все внимание на то, чтобы возвращаться по собственным следам. Джигитам я обещал по золотому, кто отыщет, а глаза у них зоркие; не только часы – пяточок серебряный в пыли да в траве заметили бы... Едем...

Стало темнеть, остановились биваком на месте, всю темноту перестояли. Стало рассветать, опять тронулись и доехали так до самого Мурза-Рабата безо всяких утешительных результатов.

Джигиты даже все окурки наши папиросные подобрали, пуговицу нашли от казачьего кителя – действительно, оторвалась на дороге такая – часов же моих, как не бывало. Жаль, очень жаль мне стало

своей священной реликвии, однако пришлось покориться судьбе: что с возу упало, значит, действительно, пропало! Лошадей мы поморили, нужно было выкормить, как следует, и снова тронулись мы в путь так же, как и вчера, часу в пятом. А ведь пока мы кормились, и караванов протянулось по этому пути несколько, и так одиночные всадники ехали. Много народа прошло; тракто, ведь, бойкий!

Едем мы опять тем же порядком, курум, разговариваем, часы вспоминаем, жалеем очень, меня товарищи утешают. А Лавров, помнишь?.. Смеется еще, говорит: «Думала ли Мария-Антуанетта, что ее часы попадут когда-нибудь из Парижа да в самую глухую Азию, в голодную степь?»

Дошли мы до половины дороги, даже больше; вдруг из травы вылетает матерый волчища, шархнул от нас, оглянулся, видит, что его не трогают и рысцей затрусил меж кустами колючки. А вы знаете, что самая интересная охота, это – охота на волка вдогонку, взхлестку. Дело в том, чтобы поставить зверя между двух коней, чтобы ему ходу не было, и гонять, пока у него язык не вывалится, пока он не сядет от усталости, и тут уже брать в плети... Не знаю, как другие...

Рассказчик покосился на братьев Грызуновых: он заметил их недовольную, даже несколько презрительную гримасу.

– А я так – откровенно признаюсь – считаю такую охоту истинно царской забавой, наслаждением!.. Забыл я и про часы, забыл и про усталость, как гикну – да за серым... И началась у нас скачка – да какая! Несколько раз мы заставляли волка возвращаться на старый ход. Ведь не я один, все метнулись, как угорелые... Гоняли мы, гоняли, вот сейчас возьмем... Вдруг конь мой, должно быть, в сурчину ногой попал, споткнулся и через голову, на всем карьере; я, конечно, тоже через его голову и, с размаха, оземь... Свету не взвидел, в глазах потемнело... Кое-как опираюсь на локти, хочу приподняться и слышу: чик-чик-чик-чик... Ушам не верю... мои часы!.. Я прямо на них и свалился!.. Ко мне подсакивают, слезают с лошадей, хотят поднять меня, помочь...

«Ну, что, цел?» – спрашивают.

А я только одно мог выговорить, и то не своим голосом: «Господа!.. Часы!»

– Вот это так стечение обстоятельств!.. – закричал доктор и почему-то во все горло расхохотался.

Полковник обиделся, принял его смех за выражение недоверия – и торжественно вынул часы из бокового кармана и подставил их чуть не к самому носу неприятному скептику.

Действительно, часы были те самые, как было описано: старинная золотая луковица, в золотом же футляре, на крышке три лилии и скрещенные шпаги, а внутри вензель, под королевской короной, самой несчастной Марии-Антуанетты.

Сомневаться в рассказе полковника, значит, было невозможно. Несносный доктор и тут, кажется, не вполне убедился. Это свойство вообще ученых людей; они все такие материалисты!.. Нет у них способности к настоящей, теплой, животворной, всеулаживающей вере. Им же хуже от этого!

– А помнишь мой эпизод в клетке? – обратилась мадам Терпугова к своему мужу.

Она спросила это очень тихо, но мы все расслышали ясно ее вопрос и также ясно расслышали, как супруг нахмурил брови и проворчал:

– Пора бы и забыть...

Этого было довольно, чтобы поймать красавицу на слове и добиться, во что бы то ни стало, рассказа. Мы все и приступили к ней с атакой, не хуже афганцев под Зара-Булаком... Стали стыдить ее мужа: «Фу, мол, какое варварство, какое стеснение воли!» Все в этом роде. Пахнет, мол, замоскворецким Тит Титычем... Самое больное место Ивана Семеновича...

– Да нет, я не запрещаю... Я только хотел заметить, что стоит ли... и вообще...

– Значит, можно? – поторопилась бывшая наездница и тотчас же приступила к рассказу...

– Это было года три, нет... немного больше тому назад...

– Тринадцать! – резко поправил супруг.

– Разве?.. Да нет же! Мне тогда было уже двадцать два года...

– Все-таки тринадцать... если не больше! – настаивал беспощадный Иван Семенович.

– Я лучше не буду рассказывать... если ты будешь все время перебивать и вставлять свои замечания... стоит ли...

Мадам Терпугова обиделась и действительно-таки замолчала. Но мы приступили снова к убеждениям и просьбам; она сдалась, но поставила условием, чтобы на время рассказа убрали ее медведя, потому что дело идет обо льве.

– Ну, болтай, не буду больше! – безнадежно махнул рукой медведь.

И действительно, притих, так что убирать его не понадобилось.

– К нам, господа, в наш цирк, приехал гастролировать знаменитый капитан Блэк. Помните – громадный негр, атлетически так сложенный, замечательный красавец при этом?.. Даже именно то, что он был, как чернила, черный – все типичные признаки его расы, все это удивительно шло к нему... он был замечательно хорош и, вообще, успех имел необыкновенный... Он был женат на толстой такой, краснощекой голландке... Ах, какая сварливая, неопрятная, мерзкая женщина!

– К чему же эти ненужные предисловия? – заворчал было снова Иван Семенович, но мы крикнули ему «тс!» и он отретировался.

Красавица только покосилась в его сторону и продолжала:

– Блэк приехал к нам со своими шестью дрессированными львами. Один из них, Абделькадер, был особенно страшный, угрюмый такой и большой-большой... грива косматая... он был уже старый лев – у Блэка уже лет десять, да еще у прежнего хозяина не помню сколько – главный сюжет всей труппы... Я была тогда еще не «prima», а так выезжала больше на грациозных па, и главный номер мой был качуча на двух седлах с кастаньетами. Ко мне удивительно шла испанская куафюра и черное кружево... и всегда выходило на бис... Скоро я заметила, что Блэк перед моим выходом стал накидывать на свой костюм (трико золотистого цвета) пальто и появлялся в партуре с биноклем... Он этого почти никогда не делал, но теперь стал с каждым моим появлением... Он особенно был ко мне внимателен, чего не

разделяла его противная голландка, шипевшая на меня, как змея, раз даже пребольно меня ущипнула – этакая злока!.. Раз как-то встретилась я с капитаном просто на улице... Мы пошли вместе, повернули в сквер и сели на скамейке, в глубине сада. Негр долго мялся, готовился, должно быть, к объяснению, и, наконец, бухнул мне сразу:

– А ведь эта Эмма мне не жена!

– Неужели?.. – Я сделала вид, что меня очень удивило это открытие.

– Совсем не жена, – продолжал негр... – Она моя просто кузина...

И он опять засмеялся... прямо-таки захохотал во все горло, скаля свои превосходные белые зубы. Даже прохожие стали оборачиваться.

– А вы будете моей женой! – бухнул капитан и еще громче захохотал... – Настоящей женой, с пастором и всякими гербовыми бумагами с печатями... ого-го!.. У меня, – продолжал он, – вы видели сами, сколько орденов и медалей; у меня даже есть орден с настоящим бриллиантом... у меня есть уже десять тысяч долларов в нью-йоркском банке, я вам после даже книжку покажу... и я очень знаменитый человек!.. Меня, я вам скажу по секрету, даже третьего дня одна настоящая графиня к себе приглашала, но я не поехал... Вы, мисс, гораздо лучше той настоящей графини и вы будете моей женой!

Я ему отвечала на это, что еще подумаю, что я так молода и все такое, и что я, вообще, очень боюсь всяких злых животных.

– Мои львы совсем не злые!.. Они добрые и очень смиренные...

Бедный негр не понял моего намека и отнес его к членам своей труппы.

– Но я еще не так знаменита, не так известна, как вы, – стала я скромничать... – Мне, маленькой выходной наезднице, соединить свою судьбу с таким известным укротителем львов!..

– Вы будете скоро так же знамениты! – закричал негр... – Вы войдете в клетку и положите свою головку прямо в рот Абделькадеру, и вам будут много, очень много аплодировать... И знаете, как это будет эффектно?!

На афише ничего не стоит, обыкновенная афиша. Вывозят клетку, открывают доски; львы ревут, я кланяюсь и вхожу к ним, Эмма входит тоже. Львы прыгают, делают труппу, я кладу голову в пасть Абделькадеру, Эмма тоже... Тут экспромт – вы выезжаете с кастаньетами и говорите публике: «Я тоже ничего не боюсь, я тоже могу входить в клетку и тоже могу класть голову в рот Абделькадера...» Публика кричит: «Не надо, не надо!» Директор говорит: «Я не могу пускать, сам господин полицмейстер не позволяет...» Я молча открываю клетку, вы прыгаете с лошади и кладете голову в рот льву. Bravo!.. Бис!.. Аплодисменты... Газеты все трубят, печатают ваш портрет, и вы сами делаетесь большой знаменитостью... Хотите? Мы завтра же делаем репетицию?

Негр так увлекся, что схватил меня за талию и чуть было даже не начал целовать...

И представьте себе, господа, мне не на шутку вскружила голову идея негра... не то, чтобы сделаться его женой, даже с пастором и бумагами, как он говорил, но именно проделать все им

рекомендованное... Если негр ручается, если он предварительно проделывает репетицию, он так ведь уверен!.. Да, наконец, звери его так удивительно дрессированы!.. Отчего же не попробовать.

– Я согласна! – прервала я свои размышления...

– Быть моей женой?! Ого!.. О, как я рад!.. Какой ты, Блэк, теперь счастливый!..

Негр вскочил и стал хлопать в ладоши...

– Нет, я согласна репетировать, а женой вашей я буду после, когда уже стану такой же знаменитостью, как вы...

– Мы будем репетировать завтра! – решил негр.

– А мисс Эмма?.. Она ничего не будет иметь против этих репетиций?..

– Эмма завтра будет очень пьяна: я ей нарочно забуду бутылку доброго джина, а перед этим сильно побью... Она будет много пить джину и потом много спать... Она ничего знать не будет.

На этом мы порешили, и завтра, по окончании спектакля, я не поеду никуда, вернусь в цирк, в сарай, где стоит клетка со львами, квартира капитана Блэка, и мы сделаем все по расписанию. Кстати ни на следующий день, ни далее еще один день представлений не предполагалось, и времени у нас было довольно... Конечно, я вам скажу откровенно: связывать свою судьбу с судьбой этого глупого полудикого колосса мне и в голову не приходило, но выдвинуться самой хотелось очень, хотелось, что бы обо мне заговорили погромче, хотелось именно стать настоящей знаменитостью... Заговорило тщеславие, и сердце мое сильно забилося при одной только мысли, как все это должно быть эффектно, как интересно!..

На другой же день у Блэка с его кузиной вышла бурная сцена: он ее жестоко побил, та нашла подставленную бутылку джина, напилась и свалилась, как мертвая, даже не у себя в сарае, а в конюшне, в стойле пони Боби... Наступила ночь. Кончилось представление, я переделась в уборной в мой испанский костюм, как советовал Блэк, и пошла на репетицию... Все уже спали, даже дежурные конюха забрались куда-то; я должна была пройти через всю длинную конюшню, коридором, между стойл... в конце которого только чуть светилась маленькая лампа в фонаре.

Мне стало страшно, и я чуть было не вернулась назад. Самолюбие вдруг зашевелилось. Я чуть не бегом прошла остальную половину коридора, подняла занавес, отделявший конюшни от арены, несмотря на темноту перескочила барьер, пробежала через весь цирк мимо буфета, к боковой выходной двери. Здесь были широкие холодные сени, из которых дверь вела в сарай – квартиру Блэка и его львов.

Этот сарай отапливался двумя большими железными печами и был освещен. Хозяин ждал уже меня, во всем блеске своего величия: на нем было его золотистое кольчужное трико и даже все ордена и медали были налицо. При моем входе он важно раскланялся, подал мне руку, сказав:

– Это хорошо! – и запер дверь на ключ.

– Это зачем? – спросила я, немного, по правде сказать, струсив.

– Так надо! – ответил Блэк.

Из угла сарая, за драпировкой из старой декорации, слышался тяжелый храп с присвистом.

– Там спит моя пьяница, – пояснил мне хозяин эти неграциозные звуки. – Она очень крепко спит, ее можно изрезать на куски, и она не проснется... Я ее могу, если хотите, отдать скушать львам, и она очнется разве уже в их желудках... Хотите, я это сделаю?

– Нет. Ради Бога!.. Что вы!..

Я поверила, что он это способен сделать, и меня охватил положительный ужас, даже отчаяние.

– Ха, ха!.. Нет, я этого не сделаю; это может испортить мою дрессировку... нарушить и подорвать дисциплину... я этого не буду делать... это вредно для моих львов. Ну, начинаем!.. Сбросьте ваше манто!

Я последовала его приказанию и очутилась в трико и в короткой испанской юбочке... Негр посмотрел на меня такими глазами, что глаза Абделькадера мне показались гораздо кротче в сравнении с этим ужасным взглядом...

Клетка стояла длинной стороной к наружной капитальной стене и была задернута толстой суконной занавесью; доски были уже сняты, и, когда негр отдернул занавес, я увидела темную, сбитую в угол, сплошную массу звериных тел, а в полумраке искрились их глаза, и слышалось глухое, недоброе такое рычание.

– Ого! Го! – крикнул укротитель, и звери разделились, беспокойно заметавшись по клетке.

Засовы завизжали, маленькая дверца отодвинулась, негр согнулся и одним прыжком очутился в клетке. Звери снова собрались все в кучу, в противоположном от входа углу.

– Входите смело и быстро! Ни малейшего колебания! – ровным голосом произнес Блэк, не оборачиваясь ко мне и пристально глядя на своих питомцев. – Входите смело!

Я вошла.

Я не могу вам передать, господа, что я испытывала в эту минуту... Я не боялась... во мне была полная уверенность в обаятельную силу этого страшного негра: я не смела и думать, чтобы эта сила могла поколебаться, могла бы уступить победу над собой, я верила и все-таки положительно не владела собой... более казалось, что я уже не имею своей воли, ничего своего... я – манекен, игрушка в руках этого человека и его свирепой труппы... я была ноль!

– Абэль! Сюда! – произнес громко Блэк (он так сокращал имя Абделькадера; полностью это имя значилось только на афишах). – Абэль, сюда! – повторил он.

Косматая громадная голова старого льва выдвинулась из массы. Зверь глухо зарычал, словно задохнулся отчего-то, униженно припал на передние лапы и тихо пополз к укротителю.

– Абэль, сюда! Гоп!

Лев сделал попытку к прыжку и очутился у самых моих ног. Мне показалось, что зверь смотрит на меня очень подозрительно и вовсе недружелюбно.

– Это твоя царица! – отрекомендовал меня капитан. – К ногам!

Лев зарычал, высунул свой шершавый язык, оскалил зубы и лизнул мою туфлю.

– Погладьте его, но смело!..

Блэк не взглянул на меня ни разу: он не спускал глаз с своих зверей. Он их положительно магнетизировал этим холодным, бесстрастным, мертвым каким-то взглядом...

Я положила руку на лоб Абделькадера и погладила его по голове. Лев снова зарычал, видимо, избегая моей ласки.

Блэк вытянул его гуттаперчевым хлыстом вдоль спины; зверь зарычал жалобно и попятился... В дальнем углу тоже раздалось хоровое грозное рычание... Капитан сделал шаг вперед, львиная куча еще более сжалась. Абэль воспользовался мгновением и быстро ретировался...

– Довольно! – вырвалось у меня тихое восклицание.

– Пустяки! Абэль, сюда!.. Это что такое?.. Сюда, Абэль, ближе!.. – и снова великолепное животное очутилось у самых моих ног.

Капитан взял одной рукой за нос льва, другой за его нижнюю челюсть и раскрыл страшную пасть...

Он быстро наклонил туда свою голову, пробыл несколько секунд в таком положении и освободился...

– Вы видите, как это просто!.. Эмма тоже боялась сначала, а теперь сама видит, как это просто, – заметил он мне вполголоса. – Повторяйте!..

Он снова раскрыл львиную пасть... Какая-та сила потянула меня – я только помню ощущение острого зуба на моем подбородке, горячее и вонючее дыхание зверя... но дело было сделано и показалось мне действительно очень просто, Мы прорепетировали еще раз. Блэк сказал:

– Довольно! Выходите, но тихо, покойно...

Я вышла, но едва только ступила на последнюю ступеньку лестницы – упала без чувств...

– Ого! – вскрикнул доктор... – Для негра это было кстати!

– Вы дурно воспитаны, – заметила ему рассказчица. – Негр же был джентльмен!

– Что же дальше? Рассказывайте, бога ради. Да это прелесть что такое! – вмешался хозяин, видимо, желая замаять неловкость доктора. Хорошо еще, что Иван Семенович не сразу сообразил в чем дело...

Следующим вечером, правильнее ночью, мы повторили репетицию, но уже без обморока, и сюрприз наш, экспромт этот самый, решен был на следующее представление. Кстати, был мой бенефис, и сбор был вполне обеспечен. Репортерам нарочно я, всем без исключения, разослала даровые билеты, а семейным даже ложи... Это лишило меня сотни рублей, но входило в мой расчет. К семи часам цирк был освещен, публика собиралась – съезд громадный! Особенно много было карет, это все шло хорошо!

Оба мои выхода, в первом и во втором отделении, вышли блистательны. Последним номером, перед пантомимой – капитан Блэк, его супруга Эмма и шесть львов. Я, помня заговор, не переодевалась, осталась в трико и приказала не расседлывать моего серого Гарри... Конюх удивился, но приказание исполнил; директор так был занят на арене и доволен всем, что не заметил этой якобы неисправности и беспорядка.

Роковая минута приближалась...

Из своей уборной я слышала, как грохотали по доскам колеса громадной клетки, когда ее катили по коридору... я надела уже длинное манто и собиралась пробраться в конюшню, вскочить на Гарри и выехать на арену, ожидая условного знака укротителя, как тут случилось одно совершенно уже неожиданное обстоятельство, разрушившее все наши планы и для меня, конечно, к лучшему – этого мало... для меня это была милость Неба, мое спасение!

Мой Гарри, мой крепкий Гарри споткнулся как раз в ту минуту, когда я хотела перескочить барьер, чтобы неожиданно появиться на арене; я упала на что-то твердое, на какую-то декорацию и сломала себе ребро... это случилось еще в начале коридора, публика не могла видеть, представление продолжалось... Меня отнесли пока в уборную, вызвали доктора, а через несколько минут страшный крик пронесся по всему цирку. Публика, охваченная ужасом, бежала, и через входы, и через наши конюшни... слышались выстрелы на арене, рев зверей... Смятение полное!.. Мне только крикнули: – Не беспокойтесь, все благополучно!.. Клетка заперта. Абделькадер разорвал капитана Блэка, мисс Эмма спасена...

Это наш директор называл «все благополучно!»

Рассказчица остановилась и перевела дух.

– А если бы мой Гарри не споткнулся, и я не сломала бы себе ребра, ведь я была бы в клетке вместе с несчастным Блэком! Вы знаете, что я после купила моего доброго Гарри, и он уже теперь совсем старый-престарый, даже слепой и покойно отдыхает у нас в имении. Иван Семенович обещал даже, что когда Гарри сдохнет, заказать из его кожи чучело и поставить у себя в кабинете.

– Ах, да! Кстати! – словно спохватилась мадам Терпугова. – Я должна добавить, что мой серый старик никогда до того не спотыкался, даже после ни разу. Я в прошлом году, летом, велела его оседлать – и что же? Лошадь ничего не видит, а идет верно и твердо. Удивительно, как у него сохранились ноги!.. Отчего же он тогда именно споткнулся? Отчего? Отчего?.. Нет, вы мне скажите; отчего именно это случилось?..

Мадам Терпугова сильно взволновалась, повторяя нам свой вопрос, и успокоилась только тогда, когда к этому вопросу присоединился и ее супруг, повторив:

– Да-с, милостивые государи, извольте вот ответить категорично и убедительно: отчего-с? Случайность?.. Нет, милостивые государи, тут нечто иное, высшего порядка... так-то-с!

Конечно, насчет высшего порядка мы согласились единогласно, даже наш скептик-доктор не возражал. Он был в очень дурном расположении духа, помня резкое замечание рассказчицы, и даже делал вид, что его несколько не занимает продолжение рассказа; но это он притворялся: я хорошо заметил, что слушал он, так же как и мы, очень внимательно.

Послышался мелодичный, точно где-то на далекой башне, бой часов... Отсчитали мы двенадцать – полночь... В соседней комнате, за портьерой зазвенела посуда, завозились около стола...

Время приближалось к ужину, в половине первого, по заведенному порядку... Овинов кликнул своего татарина и спросил:

– Принесли?

– Так точно!.. И повар сам пришел, на конфорке соуса подогревает...

– Устрицы принесли тоже?

– И устрицы принесли, балчык раскрывает...

Переговоры эти не могли, конечно, не возбудить нашего аппетита, и доктор улыбнулся даже, сменив свое мрачное настроение духа на более положению соответствующее.

Как вдруг за окнами, на улице, послышалось дребезжание бубенчиков и грохот колес... Словно тройка лихо подкатила к крыльцу, да не одна, а целых две, потому что подальше слышались еще бубенцы, кони остановились, фыркая, у нашего подъезда...

В передней загремел голос князя Чох-Чохова, а через мгновение и сам он предстал перед нами во всем своем блеске...

– Это что же такое!.. Господа... это уже свинство.

Но тут он, осмотревшись хорошенько, заметил между господами одну госпожу и сконфузился...

– Пардон, мадам, это к вам не относится, но они, они, ну, ей-богу же, так поступать не по-дружески!..

– Во-первых, здравствуй! – остановил его хозяин. – А во-вторых... Ты-то за что на нас в претензии? Мы можем быть недовольны тобой, это правда! А ты чего не приехал, когда тебя звали к восьми? Ты чего это прямо к ужину разлетелся?.. Это по-дружески, по-твоему?..

– Ты меня звал? – взглянул на него Чох-Чохов.

– Звал!

– Ты меня завтра звал, а не сегодня. Я получил сегодня утром твою записку, там написано: завтра...

Вот посмотри, она у меня в кармане... На, читай сам...

Князь вынул измятый клочок бумаги и протянул его Овинову.

– Да ты смотрел число? Написано восьмого, девятого, значит, завтра, то есть, сегодня, так как сегодня девятое...

– Так ты так и напиши, что завтра значит сегодня. А со мной какая история!.. Удивительно!.. Вы знаете, какая со мной история?..

– Рассказывай, князь, в чем дело?..

– Я сегодня нечаянно узнал в штабе, что родился я девятого ноября, а не пятого августа, как всегда праздновал. В штабе верно в бумагах показано... Это, значит, я на целых три месяца стал моложе... Удивительное дело!

И князь молодецкато подбоченился и закрутил свой черный с проседью ус... Выстрелил, как из пистолета, взглядом в сторону мадам Терпуговой. Та кокетливо погрозила ему пальцем.

– Ну, вот, по такому радостному событию, мы сейчас и выпьем, и закусим чем бог послал, и до холодненького доберемся, – произнес хозяин и добавил, указывая на дверь столовой: – Милости просим, дорогие товарищи!

Сам же лихо согнул руку калачиком и подставил ее единственной даме.

– Стой, стой, стой! Не туда поехали! – закричал во все горло князь Чох-Чохов... – Не туда совсем! Все остановились в недоумении.

– Говорю, не туда, значит – назад! По случаю своего рождения, я заказал в Зеленом кабачке шашлык, чахиртму, пилав и согнал цыган со всех таборов. Там уже поехали Мечмелеев, Чучеладзе, Поль, Мишель, Пьер лысый... Все туда поехали, а я взял две тройки и вас начал разыскивать – приезжаю к одному, говорят, пошел к Овинову, приезжаю к другому – тоже ушел к Овинову, к третьему – тоже. Я сюда, и застаю вас всех в сборе, как раз на две тройки... Одеваться и марш!

– Послушай, да это неловко, – обиделся немного Овинов. – У меня уже ужин на столе, нарочно заказан в Английском клубе... Наконец, поздно!

– Ничего не поздно... А ужин – пустяки... Ну, подари своему Шарипу свой ужин... Шашлык лучше...

– Ехать в такую даль, по такой погоде... – заворчал было доктор.

– Не ездь, коли не хочешь! Не смущай, душа, кампанию! – огрызнулся князь.

– Погода-то точно... – вставили от себя братья Грызуновы.

– Ах! Я очень люблю слушать цыган... – заявила госпожа Терпугова.

– Мало ли мы их слушали! – недовольным тоном проговорил ее супруг.

– А это кто?

Князь стал пристально всматриваться в капитана Кара-Сакала. Тот сидел в тени и молчал, веселыми и радостными глазами глядя на Чох-Чохова.

– Николка, ты?.. Так вот какой сюрприз!.. Ты приехал... Ну, как же я рад, как я рад... Нет, теперь уже баста! Не поддамся!.. Не хотят ехать, я тебя одного увезу... Здесь не оставлю. Ах, ты, друг мой единственный!

И два друга, восемь лет не выдавшие, заключили себя в такие могучие объятия, что повалился даже стол с фруктами.

Во время этих объятий, мадам Терпугова успела шепнуть Овинову, что ужин его не пропадет, что она завтра приедет к нему к позднему завтраку, и огорченный было хозяин повеселел.

– Так как же? – начал он нерешительно – Я право не знаю...

– Ехать, так ехать! – решили братья Грызуновы.

– Поедем!.. Устрицы только, которые открыты, выбросить даром надо! – согласился доктор.

– Непременно едем! – энергично крикнула мадам Терпугова.

– Конечно едем! – оторвался-таки от Кара-Сакала князь Чох-Чохов... – Мадам, большое мерси... Как здоровье вашего почтеннейшего супруга?..

– Да сам-то я налицо, у меня и спрашивай! – заметил тот.

– А ты сам знаешь? Ты почему сам можешь знать?.. Здоровье мужа знает только его жена; ласкова с тобой была, ну, ты здоров. Сердита на тебя жена, ты болен... Ха... ха... ха!..

– Князь, вы прелестны! – заявила мадам Терпугова.

– Так одеваться, господа, живо! – засуетился князь. – А насчет твоего ужина, – он обратился к Овинову, – я распоряжусь сам... Я сию минуту!

Князь исчез за портьерой, и мы тотчас же услышали его распоряжения:

– Это ты поставь в холодное место, хоть три дня постоит, не беда! Это ты в комнату, в шкаф... Это выбрось вон... Это ты хорошо сделал, что еще не раскупоривал... Это назад в бочонки и на лед... Это к черту! Дичь переложить почтовой бумагой... и т.д.

Мы переглянулись, пожали плечами и стали собираться в дальнюю дорогу, в Зеленый кабачок... Капитан Кара-Сакал предложил мадам Терпуговой свою непромокаемую бурку, и, через десять минут, две тройки уже неслись по городским улицам, направляясь к Нарвской заставе...

Не буду рассказывать о том, что происходило в Зеленом кабачке. Подобные шумные, многолюдные оргии все до такой степени бессодержательны и похожи одна на другую, что, описав одну, можно составить себе полное понятие и обо всех других, а так как подобные описания не раз уже появлялись в печати, то я и пропускаю подробности великого события и чествования новооткрытого дня рождения милейшего князя Чох-Чохова.

Дело только в том, что когда, с тяжелыми головами, с безобразным гулом и звоном в ушах, мы вновь сели в экипажи, чтобы возвращаться домой – мы, несмотря на мерзейшую погоду, с таким наслаждением вдыхали свежий воздух, ну, точно как рыбы, побывав на берегу, вновь попали в свою родную стихию...

Начинало рассветать, а мы повиновались неизбежности ехать еще раз к Овинову, пить у него утренний кофе. Наш хозяин требовал реванша, и отказать ему в этом требовании было невозможно.

Мы уже проскакали половину еще спящего Петербурга; еще два поворота – и мы дома... Но тут нас поразил необычайный для такого времени шум и движение именно в той стороне, где находилась квартира Овинова... Там чернела толпа народа, и зловеще мелькали в этой темной волнующейся массе медные каски пожарных... Ни пламени, ни даже дыма не было видно, а тревога все росла и росла, народ прибывал...

Мы подъехали, пробились к подъезду и остолбенели просто... перед нашими глазами была картина страшного разрушения... Два этажа, тот, который занимал Овинов и под ним, были в развалинах. Вместо красивых окон с цельными зеркальными стеклами зияли безобразные дыры, и сквозь них мы видели только груды обломков и мусора, в которых местами виднелось нечто похожее на остатки мебели, бронзы, картин, вообще всего, что составляло роскошную обстановку квартиры.

Оказалось, что ровно в час, в тот именно час, когда мы все должны были бы сидеть за столом, наслаждаясь устрицами и дорогим вином, взорвало газометр, устроенный как раз под столовой Овинова, в подвальном помещении... Много бы от нас тогда осталось...

Овинов стоял бледный, как полотно, не слушая расспросов брандмейстера и еще какого-то полицейского офицера...

– Делайте, господа, свое дело... Я после... после... не теперь! – проговорил он и направился вновь к экипажу.

Мы тоже молча заняли свои места в экипажах...

Тронулись... Знаете ли куда?.. Нет?.. Ну, так я вам скажу!

Мы поехали... Словно сговорились, а ведь ни словом не перекинулись... Одна мысль руководила теперь всеми нашими, окончательно уже протрезвевшими, просветленными головами.

Мы поехали к Неве, далее, через Троицкий мост, прямо, к часовне, что на том берегу... Мы, переехав этот бесконечно длинный мост, оставили свои тройки и дальше пошли пешком... Неловко стало с бубенцами да к такому святому месту, и...

– Эх, господа! Несчастные, право, несчастные, жалкие даже те люди – людишки просто, кто не умеет жарко, всей душой и сердцем, забыв все земные помыслы, молиться перед престолом Всевышнего.

Это – тоже случайность!..

Таук

(Из записной книжки разведчика).



I. Часы раздумья

Мой Дауд положительно начинает меня тяготить. Когда я его нанимал, он казался мне таким простоватым, добродушным малым; он даже обнаруживал свойство некоторой преданности. Конечно, я должен был знать, - и знал, - что имею дело с первоклассным негодяем...

Человек молодой, чуть не мальчик, - ему ведь всего двадцать два года, - успевший уже набродиться вволю с шайкою конокрадов, предавший главного вожака этой шайки в руки казачьего правосудия, из-за почетного халата, бронзовой медали и сотни серебряных коканов, - не может внушать особого доверия... но... Вот тут-то и являются эти "но", обыкновенно разрушительно действующие на логику мышления... Когда я его в первый раз увидел, - это было как раз в ту минуту, когда его вели на ротный двор, где его ожидала по крайней мере дюжина ударов нагайки за попытку присвоения чужого ковра на базаре, - он показался мне таким симпатичным... Он так весело и бодро шел на истязания, словно его приглашали на

жирный плов и добрую выпивку... Я тогда не мешал правосудию, но, выждав конец, вступил в переговоры с пострадавшим...

Он превосходно знал все самые малейшие горные тропинки, ему знакомы были все самые сокровенные уголки суровой, недоступной страны (еще бы ему не знать всего этого!); он отлично ухаживал за лошадьми, знал их свойства, понимал, что они думают, и умел заставлять их понимать себя... Он не трус; это редкость между киргизами; он даже не раз доказал это на деле... Он был очень общителен и разговорчив... Он успевал всегда прежде всех узнать все более или менее интересные новости... Правда, он врал невыносимо... почти ни одному слову его нельзя было поверить, - однако "почти"... Дауд был необыкновенно находчив, а находчивость великое качество в нашем опасном, многотрудном и весьма рискованном деле...

А все-таки он меня начинает тяготить... особенно вот эти последние девять дней... И мне кажется, будь я один, совсем один, в этой ужасной пустыне, я бы чувствовал себя покойнее... Я бы спал не так, как теперь: спишь и все видишь и слышишь. Целый рой сновидений носится перед глазами; сонные грезы уносят далеко-далеко, рисуют давно оставленные милые, дорогие образы... а тут же слышишь, как лошадь хрумкает, пережевывая сухой бурьян, как трещит, коробясь, сырая ветка, попавшая на раскаленные уголья потухающего костра, как гудит ветер, вырываясь из узкой боковой ложины, как эхом разносится в горах глухой гул далекого обвала... И сквозь ресницы не закрытых вплотную, а нередко прищуренных глаз - видится красноватый отблеск огня на оледенелых сталактитах пещеры, яркая звезда - в щели темно-синего холодного неба, видится и широкая спина моего спутника в ватном стеганом халате, словно бронзовый, мясистый затылок и растрепанные космы его бараньей шапки... Он, вишь ты, тоже спит... А может быть, прикидывается спящим?... Мне вот так и кажется, что засни я как следует, - он тихо повернется, прислушается, незаметно пододвинется поближе... и...

Он вооружен очень хорошо. Я ему дал нарезной карабин - превосходный! - и к нему сотню патронов... Такой же точно, как и у меня самого... Впрочем, револьверы оба при мне: один, поменьше, бульдог, - у меня в кармане, другой, большой, - в кобуре седла... У Дауда нет револьверов; это мое перед ним преимущество... Я и большой переместил из седла к себе за пояс: тяжело, но покойней!.. У нас у обоих по ножу, - так называемые псяки, для всякого случая, такие кривые, с ехидно загнутыми, острыми, как шило, кончиками... Дауд превосходно распоряжается своим... Я видел не раз, как он им обрабатывает баранье бедро... удивительно! Стальное лезвие так ловко, так послушно играет в его неуклюжих пальцах!..

Я положительно начинаю тяготиться своим спутником...

"Надо все тщательно обдумать, взвесить и на что-нибудь решиться!.." И вот я начинаю обдумывать... Вместо того, чтобы после такого трудного, утомительного перехода пользоваться удачными часами отдыха, набираться в здоровом сне новых сил для следующего,

неизвестного, может быть, гораздо труднейшего завтра, - я гоню прочь неотвязные обрывки тревожного сна и думаю:

"Что знает Дауд, что он может предполагать, каковы могут быть его дальнейшие намерения?.."

По порядку!..

Дауд знает, что я, его господин, плачу ему по пяти коканов в сутки, и получить эту очень хорошую плату он может только по благополучном возвращении... Вот я уже почти месяц брожу с ним по горам... Может быть, еще придется бродить столько же, может, и дольше... День возврата не определен... все зависит от обстоятельств, а главное, от воли Аллаха... Ведь, вернувшись благополучно, Дауд может рассчитывать на целый капитал! Это - что-нибудь да значит! Стоимость моих коней, оружия и одежды, - может быть, несколько и больше составит, но ведь там - законное приобретение, почетная заслуга, а здесь - дело темное... это тоже что-нибудь да значит! Таких поездок ведь не одна!.. Раз зарекомендовав себя хорошо, - честный джигит имеет все шансы на новое приглашение... Это уже составляет, то есть должно составлять, для Дауда прямой расчет! Он не так глуп, чтобы не понимать этого...

Дауду известна и цель моей поездки... Не может же он знать то, что я знаю только один... Он знает хорошо, что я поверенный торгового дома братьев Хмуровых. Он слышал не раз об этой богатой, известной по всей Средней Азии купеческой фирме. Мои хозяева отправляют караваны с товарами в страны, совершенно не известные, не исследованные; не могут же они посылать эти товары зря! Ведь может случиться, что, не зная потребностей обитателей, они пришлют такой товар, которого здесь не нужно... Ценная клажа протаскается по горам даром, а возить ее крайне дорого стоит... Надо прежде узнать, какой товар нужен, что можно рассчитывать продать без остатка, что взамен купить можно, чтобы не с пустыми руками возвращаться... Наконец, как провезти этот товар? Можно ли еще провезти? Бывает так, что не во всякое время есть дороги... Надо знать, - когда и куда именно следует направлять караваны... Вот это-то все я и должен сделать, - то есть: расспросить, запомнить дорогу, переговорить с беками и старшинами разных горных и долинных племен и родов, и затем уже, все подготовив, везти караваны с товарами. Вот настоящая цель моей поездки! И Дауду это все рассказано мною самим. Правда, он не удовольствовался только моими объяснениями; он сделал вид, что не поверил... и я знаю хорошо, как он рыскал и выпытывал все перед отъездом, но это ничего!.. Может проверять сколько угодно! Везде он мог получить и получил на самом деле только подтверждение всего, мною уже ему сказанного.

Дауд, когда нам случалось находить по пути аулы и селения полудиких обитателей области, всегда начинал первый объяснения, какие мы важные люди, и что в будущем году мы тоже вернемся, только уже не одни, а с целыми богатейшими запасами товаров, на тысяче верблюдов... Да что тысячи! Гораздо больше!.. - Что товары такие придут с нами, каких и во

сне не всякому доводилось видеть... потому что кто же не знает богатейшей в мире фирмы братьев Хмуровых?! А если они, эти невежды, и не знают, то он, первый поверенный хмуровского поверенного, им сейчас объяснит и все растолкует.

Тут, обыкновенно, Дауд пускался в такие фантастические рассказы, что мне становилось за него подчас совестно... Впрочем, наивные дикари ему слепо верили и молча сидели, не спуская глаз с рассказчика, не вынимая изо ртов "пальца удивления".

Все это было весьма успокоительно. Ведь эти полудикари, весь век свой промышленяющие больше грабежом, чем своим убогим скотоводством, могли также сообразить, что гораздо выгодней оказать мне ласковый прием, чем посягнуть на мою голову ради небольшой наживы и лишиться в таком случае возможности ограбить фантастически богатые караваны в недалеком будущем...

Одно, что меня смущало, это его, с некоторых пор, привычка шептаться при случае с людьми, ему совершенно незнакомыми; и всегда такие переговоры сопровождались косыми, воровскими взглядами в мою сторону... Другое, - что Дауд мой стал немного зазнаваться... Он, например, первый входил в гостеприимно отворенную кибитку и, забывая о своей прямой обязанности остаться при лошадях, - первый же приступал к предложенному угощению. Он как будто бы хотел приравнять себя ко мне в глазах туземцев или как будто даже возвышаться надо мною... Он всегда очень усердно и с пытливостью опытного следователя подвергал меня самому тонкому допросу относительно мельчайших подробностей моего поручения и моих обязанностей. Мне все припоминался один подобный же слуга. Года три тому назад в Бухару был послан также один из приказчиков - другой торговой фирмы; с ним ехал и вольнонаемный джигит, переводчик. Приказчик не вернулся домой... Его убили разбойники, где-то по дороге, а джигит приехал и прекрасно выполнил поручение, завещанное ему Якоби - покойным. Этот джигит получил достойную награду за свой подвиг, доказавший преданность его хозяйскому делу, пользовался впоследствии большим почетом и уже теперь сам исполняет обязанности немаловажные и доходные. А был он прежде "байгуш" (бедняк) бездомный и годился только разве на простую джигитскую службу...

"Пожалуй, - думалось мне, - и этот вздумает на моем горле построить себе блестящую карьеру?"

Затем, Дауд стал уже очень интересоваться политикой. Такие разговоры начинались обыкновенно с вопроса религиозного.

- Зачем вы держитесь, - спрашивал он, - своей веры, а не переходите в нашу?..

- В какую? - задавал я ему вопрос в свою очередь.

Ответ, видимо, затруднял Дауда: он сам не знал, какой он веры, и потому отделявался обыкновенно неопределенно:

- Да в нашу, настоящую!

- Бог велел всякому держаться в той вере, в какой он родился! - отвечал я тоже уклончиво.

- Говорят!.. А почему же вашу веру называют собачьей верой?..

- Это определение взаимное! - отвечал я, пытаюсь переводить вопросы на другую почву.

Я в себе не чувствовал призвания к миссионерству и потому не считал нужным распространяться в данном направлении.

- Ну, да мне все равно!.. - кончал, обыкновенно, Дауд... - "Было бы мясо, а зубы найдутся!"

Это была его любимая поговорка.

- А что, - начинал он снова, - кто сильнее? Ваш ли царь, или коканский хан? (Тогда еще Кокан было сильное, независимое ханство, и мы только ощупью подбирались к его пределам).

- Наш царь, конечно, сильнее! - отвечал я с уверенностью,

- Не думаю! - возразил Дауд... - Я бывал в Кокане, был и в Кашгаре... Я во многих городах здесь бывал и видел ханскую силу... С такою силою никто померяться не смеет, разве эмир бухарский...

- А у нашего царя, думаешь, мало силы?

- У вашего!.. Гм... Это три пушки, что в крепости стоят, да двести солдат?.. Это немного!.. Ружья у вас хороши, это точно, а силы мало!

Конечно, Дауд не был виноват, что дальше маленького пограничного форта он к нам не забирался. Когда же я ему рассказывал, он мне не особенно верил; он судил, конечно, по себе. Меня только этот предубежденный взгляд моего спутника наводил на мысль: не вздумает ли он выслужиться перед могучим и сильным коканским ханом?.. Впрочем, ведь он не знал, кто я в действительности. Вот если бы знал, - тогда другое дело!.. Тогда...

И вот последнее время мне стало чудиться, что в голову моего хитрого джигита запало легкое подозрение.

Раз он сыграл со мною, по наивности, конечно, прескверную шутку; да и не глаз на глаз, а, словно нарочно, в присутствии нескольких окружавших нас оборванцев, самого неуспокоительного вида.

- Что это, скажи мне, у тебя в кармане, на что ты посматриваешь так часто? - задал он мне ошеломляющий и совершенно неожиданный вопрос.

Надо сказать, что при мне была маленькая карманная буссоль, - инструмент, крайне для меня необходимый. Я обыкновенно отмечал ходом коня, уже изученным до точности, пройденные расстояния, - отмечал цифрами часы и минуты хода. Два ряда параллельных цифр - показывали румбы направо и налево... На полях я делал необходимые заметки, на всякий случай по-французски... Если бы моя книжечка попала кому-нибудь здесь в руки, то, пожалуй, нашелся бы индивидуум из беглых, который бы мог докопаться до истины, - с французской же грамотою можно было быть совершенно на этот счет покойным. Таким образом, в моей крохотной

карманной книжечке образовался мало-помалу ряд данных, по которым на месте можно было с приблизительной верностью восстановить маршруты пройденных пространств.

Вот эта-то буссоль и заинтересовала моего проныру.

Находчивость в данную минуту выручила меня, может быть, и из очень больших неприятностей. Я тотчас же задал вопрос Дауду, и нарочно громко, чтобы все слышали:

- А с какой стороны дует самый северный для пути ветер?

Дауд стал соображать, где должен быть север, - и указал направление, хотя и не совсем точно. Это подтвердили и остальные собеседники, хотя между ними и возник легкий спор по точности определения.

- Ну, так вот, возьми эту штуку в руки - и посмотри, куда указывает кончик стрелки!

Я вынул буссоль и передал ее Дауду.

Тот посмотрел внимательно, покачал головою и улыбнулся. Его вплотную окружили члены встреченной нами шайки, и я видел, как мой Дауд пытливо проверял истину моих слов. Уж он вертел-вертел буссоль, а все стрелка упорно показывала одно и то же направление. Наконец, он передал мне инструмент, сплюнул на сторону сквозь зубы и проговорил:

- Гм!.. Шайтанлык (чертовщина)! Впрочем, у нас, у русских, и не такие хитрые штуки водятся! - добавил он, совершенно уже неожиданно для меня подчеркнув слово "у нас" и окинув гордым взглядом всю оборванную компанию.

- Ну, гайда своею дорогою! - крикнул он. - Мы своею, а вы своею... Да держись подальше, а то знаешь!

И он выразительно прищелкнул рукояткою нагайки по ореховому прикладу своей винтовки.

А все-таки я очень сожалел, что, вместо этого проныры, не взял другого джигита, который сам ко мне напрашивался. Тот был совсем кретин, а все-таки было бы лучше! Лучше, если бы я совсем один поехал... Покойней было бы на душе; а то сон клонит до невозможности, а не спится... все думы в голову лезут черные... Да и ночь какая-то длинная, унылая. Ветер гудит, словно кто-то прирезанный храпит и стонет... Щелкнуло железное стремя об окованный ремень, словно колокол, отдалось под сводами... И медный кунган с чаем, придвинутый к потухающим угольям, перестал бурлить весело, полегоньку, а затянул какую-то тоскливую, печальную песню...

Хоть бы рассветало скорее!..

II. Аркар

Было ясное, морозное утро.

Как бесконечно далеко видно кругом! Невооруженный глаз свободно выслеживает покрытые вечными льдами очертания главного хребта, параллельные кряжи, бесконечную, хитрую путаницу боковых отрогов... Ни одного облачка на зеленовато-голубом фоне неба. Прозрачные тени причудливо борются с серебряным светом, змеями сползают в глубину ущелий, сгущаясь

в бездонных провалах. Свободно разносится малейший звук, бесконечно подхватываемый эхом... Расстояния исчезают, обманывая глаз, и чудится, будто вот эта красная, отвесная скала сейчас тут перед вами несколько шагов, - и вы у ее подножия... Нет, между путником и этою скалою - еще не один день пути! Много спусков и подъемов придется преодолеть, прежде чем вы туда доберетесь. Это ведь отрог главного хребта, это там, по ту сторону долин, новый хребет поднимает одну из своих бесчисленных глав... И вот, вы подвигаетесь вперед и видите, как словно из-под земли, словно со дна глубоких ущелий, вырастают один за другим новые отроги, заслоняя собою и эту красноватую скалу, и голубые ступенчатые ледники, огибающие ее подножье зубчатым полукругом... Волшебная картина!..

Дорога наша шла прихотливым карнизом, самую природою, Бог весть по какой причуде, сооруженным по склону хребта... Слева, прямо из-под ног наших коней, поднимались почти отвесные скалы, грозно нависая над головами; справа - чуть не бездонная пропасть... Полоска карниза то расширялась, образуя даже небольшие площадки, то безжалостно суживалась перед путником, суживалась до такой степени, что даже привычные горные кони пугливо поводили ушами, тревожно фыркали заиндевелыми ноздрями и робко, ощупью пытая почву, переступали своими кованными на острые шипы копытами... Не тронь коня, не понуждай его в такую минуту!.. Предоставь ему полную волю... или, уж если не хватает у тебя мужества довериться своему четвероногому спутнику, слезь с него, пусти его вперед, а сам, хоть ползком, пробирайся за ним следом...

А Дауду все равно!.. Он распустил поводья и бесом вертится в седле... Он едет впереди и все оглядывается, все болтает разный вздор... За ним тянется на волосяном аркане наш вьючный чалый, а за чалым я... Хоть Дауду говорить со мною и не так удобно, а поговорить, должно быть, хочется...

- Гей, тюра (начальник), - кричит он, - вон тут года три тому назад, два человека *наших* пропало...

- Как так?

- Да так... Отогнали мы косяк китайский, да запоздали... В ночь ушли недалеко... В косяке матки с жеребятами попались, а бросать не хотелось... За нами погнались... Мы и ушли по этой самой дороге... Солнце, подлец, подогрело, подгрызло сверху... Оттуда как шарахнут на нас камни... много камней... один такой, что больше комендантского дома у вас в форте будет... Стали после считать, - двух нету... Там они... фюю!..

И Дауд выразительно свистнул и указал на гребень обрыва.

- Нашли? - спросил я.

- Зачем?.. - пожал плечами Дауд.

И правда!.. Зачем искать то, что с грудой камней горного обвала, как ничтожные соринки, унесло в бездонную глубь, завалило сверху и затянуло синим, клубящимся туманом?!.. Да и как искать?!.. Кому?..

Громадный, старый гриф без шума, словно не летя, а плавая, наискось прорезал воздух как раз над нашими головами и скрылся за уступом... За ним другой синеватой тенью скользнул по ярко освещенному снегу, испуганно и сердито крикнул, словно ржавое железо о железо лязгнуло, и, повторив взмах могучих крыльев, вытянул вперед когтистые лапы, ткнулся ими в гребень выступа, задержался на лету, качнулся раз, два и, сложив крылья, солидно уселся, гордо осматривая нас: что вы, мол, за люди, и за какими такими делами принесло вас сюда, в мое поднебесное царство?..

- Вот эти, может быть, когда-нибудь "отыщут"! - промелькнуло у меня в голове.

- Не к добру! - произнес Дауд. - Ишь, собака, кровь чует!.. И чего это он сидит, не летит?!.. Вот и тогда тоже так было...

- Шагов сто двадцать... Славный выстрел!.. Промаха не дам!.. - думается...

Да стрелять-то нельзя: как раз бедовое место!.. Ноги коней чуть-чуть устанавливаются на ленточке карниза. Косогористо больно!.. Вьюк трется о камни, шуршит зловеще... Дауд, тот даже сполз на круп, прилег вплотную к седлу... и одобрительно бормочет...

- Ого-го-го!.. Гайда... Трогай, душа моя!.. Джирайда... Джирайда [одобрительное - "ходко"]!..

Выручили небесные силы! Кому помог Аллах, кому Никола-угодник. Перебрались...

И оба грифа, - первый тут же присоседился, - недовольны остались, надо полагать: проскрипели злобно, снялись и полетели дальше...

Свистнул им вслед Дауд и захохотал громко.

- Жрать хотелось тоже!.. Гей, тюра! Даудка тоже жрать хочет... Мяса у нас давно уж нету, а от чая да сухарей только живот пучит напрасно!..

Это точно, что у нас мяса с неделю уже не было... В эту пору в горах охота трудна... да и зверь тоже зябнет, книзу больше держится... Аулов тоже давно не попадалось... Страна была мертвая, совсем безлюдная... Привычные кони совсем подвели животы... Не разъешься на тощих былинках, что кое-где, примерзшие накрепко, торчат из-под льда, кроются под толстым слоем плотно спаянного морозом снега...

- Гляди!

Гляжу пристально...

Понизил голос Дауд, прошептал чуть слышно это "гляди", и сердце у меня словно биться перестало, замерло, остановилось...

На той стороне, близко, шагов за триста, немного больше, словно изваяние, стройное, неподвижное, стоит красавец аркар, вытянув по ветру свою голову, украшенную чудными колоссальными, загнутыми назад и в стороны, могучими рогами. Не руками, нет... Бог весть

как... сама собою вылетела из чехла винтовка... Пыхнул синеватый дымок... И не выстрел сам, а одно эхо выстрела, то дробью рассыпчатое, то далекое, металлически гулкое, замирающее, коснулось уха...

Аркар исчез...

- Промах! - показалось мне в первую минуту.

- Свалился! - весело захохотал Дауд, рассеяв мое сомнение.

Ему виднее было... Не он стрелял, а я...

Где же теперь искать убитого? Куда он свалился?.. Глаза как ни напрягаются, нигде не видят и признаков трупа...

- Жив не буду, не найду если! - решил тут Даудка и даже слюну подхватил языком на лету.

Он уже мысленно освеживал аркарью тушу, уже он и хребтовину вырезал, и стяги отделил, и на угольях поджаривал вкусное, сочное мясо, пережевывая сырьем обрезки жира, пока, на досуге...

- Найду!.. Нам, тюра, спешить некуда... Солнце еще высоко, до ночи вернусь... Я знаю, как его найти... Я пойду...

И в голосе моего спутника послышалась просительная, заискивающая нота.

- Иди! Ищи!.. - согласился я.

Дауд захлопотал... Он приладил коней, сбив их головами вместе на зазубренном железном приколе, распустил подпруги... Снял с себя лишнюю одежду, остался в одном суконном бешмете, потуже подтянул ременный пояс; а сам, пока собирался, сообщил мне скороговоркою план предстоящих многотрудных поисков... Он, вишь ты, хотел вернуться назад версты три, не больше: там заметил он боковую трещину, - след летнего размыва, - эта трещина пересекала наш карниз и спускалась извиристо на дно лощины... Там, - говорит Дауд, - можно, а дальше - видно будет...

- Уж найду же я его! - проговорил он еще раз и неуклюже зашагал по тропинке.

- Что же... Нам, действительно, спешить некуда! - решил я и приготовился к продолжительному ожиданию...

Однако за полдень стало морозить не на шутку... Хорошо еще, что небо чистое, ниоткуда не предвещает ветра... А поднимись этот ветер, разгуляйся он по ущельям, под ними, взбудоражь эти, пока, до времени, покойно лежащие снега... Гм!

- И черт возьми этого, некстати подвернувшегося аркара! Черт возьми эту нелепую охотничью горячку!.. Ведь надо же было не промахнуться!

Завернулся я в бурку поплотнее, раскурил трубочку, прилег, прикрыл ноги Даудовой шубою...

"Что же, подождем!.."

Чалый, вытянув лысую, горбоносую голову, снег нюхает; буланый глаза прищурил, дрожит слегка, значит - дремлет... Мой пегаш один только глядит бодро и ухом резаным пошевеливает...

Тихо так стало... Словно замерло...

Час прошел, другой... Солнце много уже прошло своего пути... Где прежде, словно алмазы, сверкали освещенные льды, там теперь синюю дымкою затянуло... По верхам покраснелось... Согрелся под шубою; давным-давно докурена трубка... Самому дремлетя...

Встревожился пегий и заржал вполголоса: чалый тоже насторожился, даже соня-буланый и тот встряхнулся... Ясно слышен стук копыт конских за утесом... Навстречу нам, по одной дороге, едут люди, да и порядочно их... Не видать пока, а слышно, что не одна, не две лошади, много больше будет.

Поднялся я на ноги, спустил с плеча бурку, обошел коней с той стороны, гляжу пристально... выжидаю: кого это Господь посылает, - друга или недруга?..

Нет Даудки моего! Наказал ему голос подавать, когда возвращаться будет... Пока ничего в той стороне похожего не слышится.

Из-за утеса показалась конская голова, за нею высокий бараний малахай передового всадника. Чумазая, скуластая рожа испуганно откинулась и затянула повод... Конь встал, как вкопанный.

- Геть! - послышался тревожный оклик.

- Что там такое? - послышались и другие невидимые голоса.

- Человек на дороге! - объяснил первый, осадил еще коня своего и совсем спрятался.

Я стою, прижавшись к отвесу, молчу, выжидаю, что дальше будет...

Говорят за откосом так тихонько, шепотом, а больше не показываются... Положил я около себя и Даудову винтовку, револьвер из кобуры вынул, изготовился... Чувствую, что позиция моя хорошая... Сколько бы их ни было, больше как вдвоем не сунутся... У них тесно, у меня просторнее... Чу, переговоры начинают!

- Эй! Что за человек там, на дороге, сидит?..

- Божий! - отвечаю я.

- Мы все Божьи... - слышу в ответ. - Откуда и куда?

- Еду с того места, где был, а туда - где буду... - отвечаю.

Опять загалдели меж собою, ничего не разберешь...

- Один ты, или с тобою еще есть люди? - опять начинают...

- Нет, не один!.. - соврал я, на всякий случай.

- Нас тоже много... Нас больше тысячи! - слышу, хвастают за утесом.

- У Бога еще больше!.. - соглашаюсь я.

Снова продолжительная пауза, - переговоры промеж своих.

- Ну, думаю, держись теперь крепко!.. Путного человека сюда не принесет нелегкая... Известно, какого сорта народ шляется в горах в эту пору...

И самому смешно стало... Ведь вот меня-то с Даудкою носит нелегкая!..

- А ведь, дорога, брат, не твоя только... - начинаются разговоры... - Дорога-то для всех Аллахом предназначена...

- Это верно! - соглашаюсь я.

- Так мы пойдём...

- Идите!

- А ты стрелять будешь?

- Буду!

- Мы тоже стрелять станем... У нас ружья хорошие!.. Наши ружья далеко и метко стреляют, Мирза! Проедем - я говорю?..

- Проедем! - отвечает невидимый Мирза... - У нас и пушка есть с собою! - добавляет он и кричит кому-то сзади: - Эй, тащите сюда скорее пушку, что на колесах... Самую большую!..

Экие черти, брехуны! Даже смех разбирает... А все-таки жутко на душе... Вот принесла же их чертова сила!..

Стихли опять разговоры. Теперь надолго... Косматый малахай нет-нет да и высунется из-за утеса... Высматривает...

- Урус, должно быть! - слышу я ясно... - Этот начнет палить, так и не перестанет... У них ружья сами стреляют... без счету!

Догадался, значит... Ну, ничего! Это мне же на руку... Не так охотно вперед сунутся... А Даудки все нет как нет!..

Впрочем, теперь, в компании, не так скучно... Подождем, чем все это кончится!..

Темнеть стало... На нашей высоте еще сумерки, внизу совсем ночь залегла, а наверху, на самом дальнем, высоком хребте еще ярко играют лучи заходящего солнца... Скоро и они потухнут: вот уже все багровее и багровее становятся... И малахай за утесом не так уже заметен... Уже он в полуфигуре высовывается... Темнота подбодряет...

- Э-ге-ге-ге!.. Ау! - чуть-чуть доносится, а откуда?! - путем не разберешь... Словно Даудкин голос...

- Эгей! - откликнулся и я.

За утесом завозились.

Прошло еще с полчаса.

По тропинке тяжелый шорох слышен, - и дыхание усталое. Это, очевидно, Дауд аркара нашел-таки и тащит... Молодчина!

- Дауд, ты?

- А то кто же? Вот я и приволок!.. Ух... да и тяжелый же!..

Еле говорит джигит мой от изнеможения... Шагов десяти не доволок аркарьей туши, повалился и говорит:

- Пстой, дай отдышаться!

Дал я ему отдышаться, а сам говорю:

- Дауд, а у нас тут неладно... Чужие люди завелись, а кто, - не знаю!

- Где люди?

- Там, за утесом! Я уже часа три с ними разговариваю. Теперь вот примолкли...

- Много?

- А кто их знает!

- Погоди, отдохну... Я их проведу... Больше некому быть, как чиргалинским...

Стерегу я утес, а сам одним глазом на аркара убитого люблюсь. Что за чудесный зверь! И как его доволок Даудка? - В одних рогах, думаю, до двух пудов будет... страсть какие!

- Что же? Мы так и ночевать будем? - донеслось из-за утеса...

- А ведь это Джюра-подлец! - встрепенулся мой джигит, забыв усталость...

- Даудка, ты? - слышалось с вражеской стороны...

- Может, и Дауд... А с тобою кто?..

- Со мною наши... Шарип и Мирза-бай... Массол-бека нет, не бойся!

- Да мне чего бояться!.. Я ничего не боюсь... Я и самого хана не испугаюсь... Что мне твой Массол, - все равно что блоха на кошке... А где он?

- А его еще в прошлом году старшина нарынский на кол посадил. Он на вороной кобыле попался...

Не без любопытства прислушивался я к этим дружеским разговорам старых приятелей...

- Ты посиди здесь, постереги!.. - произнес Дауд. - Я подойду поближе, потолкую... Это свои, не тронут!..

Пошел Дауд. "Ну, ничего, - думаю, - "своих" встретили..."

Вернулся джигит мой скоро. С ним и малахай косматый, и руку мне протянул приветствия ради...

- Это ничего... Это... они, видишь ты, девять лошадей скрали - и гонят, а ты им помешал... Боятся, как бы время не ушло даром, - нагнать могут... Эти ничего, - это хорошие люди... Так Массола, - ты говоришь верно, - на кол посадили? Это тоже хорошо! Он брат будет Аблаю, и поклялся меня, рано или поздно, зарезать... Вот и зарезал!.. Сам на кол уселся! Ха-ха!..

Отношения теперь для меня выяснились. Аблай и был тот вожак конокрадов, слишком уже известный близ наших пределов, вероломно преданный моим честолюбивым Даудом, - а эти встречные господа - остатки его разрозненных шаек.

Что же, не беда! Человеку в таком положении и при таком деле, как я, надо быть не слишком щепетильным в выборе общества... Переночуем в приятной компании...

Заглянул и я за утес... При моем приближении двое оборванцев благоразумно попятились... Видно мне, что гуськом по карнизу вытянулась вереница отощальных, сильно загнанных коней, все вольно, т. е. без седел и уздечек, прямо косячные... Скорючило их, бедняг, от холода и начинающего уже пронизывать ночного ветра, щелевой тяги; здесь, у нас, за откосом, тепло и тихо, а там пробирает... Сзади всех, чуть видны две оседланных лошади и около них тоже двое людей, значит, с двумя передними четверо... А вон еще пятый, не то ребенок, не то карлик, горбатый, головастый, жметя меж коней и откосом, и сюда потихоньку пробирается... Ружей за плечами ни у кого не торчит... Гм... - "Пропустить разве их всех, поодиночке?.. Что их, в самом деле, задерживать... Еще беду наживут из-за нас..."

Дауд переговоры ведет.

- Мы, - говорит, - вот как сделаем: вы все проходите и за нами по ту сторону станете, а мы тут ночевать будем, перед вами... Куда вам теперь идти?! Все обезножили... Там, на Лысом камне, - погибель, пожалуй, найдете... Теперь темно... Мы вот, и засветло, и на свежие силы, - еле переползли... Вы теперь ночуйте... Если к утру кто нагонять станет, мы подзадержим, поразговоримся, пока что... А вы ноги уносите... Мы ведь долго разговаривать будем... Так лучше!.. Проползай поодиночке!..

Вернулся я к нашим лошадям, попятил их к горе поближе, сам впереди стал, револьвер под полою держу...

- Ну, трогайся!

Посустились немного, погалдели... Стали перебираться... Чуть-чуть бредут измученные лошади, скользят, спотыкаются... Одна белая матка на трех ногах дыбает, правую заднюю приподняла, и из опухшей бабки кровь капает: засеклась больно!

Карлик, как добрался до аркарьей туши, думает, что я не вижу... Отколопнул комок замерзшей крови, вместе с шерстью в рот засовал и сосет с наслаждением.

- Эй, ты! - обратился к нему Дауд... - Гайда наверх, за дровами!..

Вздрогнул урод, откатился от аркара и стоит истуканом, - словно не понимает, что ему такое приказано...

Дауд и Джюра принялись объяснять, оба разом, впереводку:

- Там, повыше, с полверсты назад, горный кустарник порос, с гребня заиндевелым кружевом свешивается, так вот туда иди, наруби, сколько под силу станет, и сюда тащи...

Поручение нелегкое, особенно для этого истощенного урода... А идти надо... Кто-то сжалился над карликом, помогать вызвался... Пошли вдвоем и исчезли в густом мраке вполне уже воцарившейся ночи...

А пока что, - вся вереница лошадей продефилировала перед моими глазами, злобно закладывая уши при приближении к нашим, тоже несколько взволнованным коням... Один из

шайки ушел вперед, заслонить дальнейший ход "вязке" - не ушли бы сами собою... Джюра с другим остался, двое ушли, да двое нас - как раз семеро, самое счастливое число у воров...

Дауд уже с аркаром возится... Замерз зверь, - тяжело поддается промерзшая, хрустящая шкура... Мне больше всего рогов жалко... Редкие рога! Хоть в любой музей! Да тащить не под силу... Разве порознь разнять, расколов темя надвое?... Нет, придется, надо полагать, бросить!..

Кряхтит Дауд, ругается непечатно вполголоса, стал нож о камень натачивать; Джюра тоже хлопочет, за задние ноги держит аркара, сам верхом на него уселся...

А ночь стала совсем горная, только небо вверху яркими алмазами вызвездило... И нет от этих звезд свету, словно на сукно нашитые, - дрожат они, искрятся, переливаются...

Вернулись через час посланные, - притащили две громадные охапки мерзлого хворосту... Карлик принялся костер устраивать... Трудное дело разложить яркий костер с таким поганым материалом! Однако привычные руки справились, и скоро багровый свет озарил часть нашей площадки, косматую фигуру Джюры, присевшую у огня на корточках, - широкие плечи Дауда, с засученными рукавами, управлявшегося с мясом, карлика, уже дремлющего и подползшего к самому огню, морды наших коней... Все остальное исчезало и тонуло, расплываясь в густом мраке... Снежинка, другая - замелькала, закрутилась под нами... Погода ли сдавать начала, огнем ли разогрело, - только как будто потеплело...

Гуууу!.. Загудело далеко в горах... Обвал, должно быть...

- Где захватили?

- А в камышах, на речке, от аулов полташа, не больше... Нельзя было всех... Мало нас... Захватили больше, да дорогою отбились... Тут есть один жеребец, хороший... Я его знаю: карий с лысиною... Я уже давно до такого добирался...

- Никто не видал?

- Один видал, должно быть, - теперь уже он ничего не видит!

- Зарезали?

- Зачем так?! - Задушили... Он спал...

- Гм!.. Ты куда это сдвигаешь, дьявол?.. Не тронь!..

- А тебе мало, что ли?.. Что, вы вдвоем его - что ли - сожрете?

- Отдали тебе передки, - и довольно... Нам еще далеко ехать... Не тронь!

- Ну, не трону...

- Эй, Таук [Курица]! - донеслось издали.

Карлик встрепенулся и заморгал глазами.

Теперь только, при свете огня, я разглядел эту странную, обезображенную судьбою и природою личность: старческое, скуластое лицо, без признаков бороды и усов, с косо разбегающимися вверх и в стороны бровями, с широким расплюснутым носом, с беззубым ртом до ушей, с кончиком жесткой косы, комично торчащей из-под рваного, словно собаками

изгрызанного, малахая... Крохотная, не более аршина с четвертью фигура, руки длинные, как у обезьяны, такие же косматые... Только глаза, - хитрые-прехитрые, - так огоньками и бегают... И не злые совсем, - а больше испуганные, забитые... Щенки иногда так смотрят, которые попадают из понятливых.

- Ты принеси и мне, хоть кусочек! - доносится издали.

Это тот, что голову табуна стережет, голос подал... Почуял его голодный нос запах жареного.

Часу не прошло, и ужин был готов. Жареное на углях аркарье мясо - блюдо вкусное, особенно с голоду, а Дауд кунганы медные поставил, снегом набил и чай заварил - пиршество полное! Поделились с новыми приятелями, - жрут как волки!.. Дауд бросил карлику кусок, тот не взял, не заметил, должно быть. Пододвинул я этот самый кусок, - схватил моментально, всосался в него просто, и глаза его заискрились весело-весело. Те - попрошайки страшные, все им мало! Одного не доели, за другим куском тянутся, мычат с полными ртами, пальцами куски поправляют, а Таук молчит, рук не протягивает, только глазами просит, и все у меня... Посмотрит, - и нельзя отказать... от своего куска отрезал бы...

Поели, - стало тепло, даже жарко как будто... Ко сну клонит. Таук сам вызвался сторожить с одной стороны. Шарипа послали сменить переднего товарища. Джюра свернулся клубком, как собака, и захрапел.

- Ты, тюра, первый спать будешь, я после! - решил Дауд и стал поправлять огонь.

- Да, уж обоим нам спать тут с этими не приходится!..

Завернулся я в бурку поплотнее, к камню прижался спиной, ноги к огню поближе. И опять начинает томить меня одна и та же неотвязная мысль. На душе опять черт знает что стало несообразное делаться.

Тихо все кругом. Косится Дауд в мою сторону, храпит Джюра с товарищем. И мне самому через силу дремлется...

Вздрыгнул я чего-то и открыл глаза. Много ли, мало ли спал, - не знаю. Еще темно, и на востоке признака света не показывается. Только вершина одна ледяная, дальняя, словно фосфорическим, золотистым светом подернулась.

Дауд мой спит во всю мочь. Хорош сторож! Джюры нет на месте... Гляжу: к моим лошадям подбирается ползком и из моего вьюка что-то тащит... Чуть краснеются полупотухшие уголья костра, в темноте не видно...

- Ты это что, собака паршивая?! - крикнул я.

- А ты разве не спишь?

- Нет!

- Ну, хорошо! Если не спишь, - я и трогать не стану. Я думал, ты заснул: Дауд заснул, и ты заснул... А коли не спишь, я у тебя ничего не трону; я лучше опять спать буду. До утра далеко!..

Сказал это, мошенник, и, как ни в чем не бывало, свернулся опять в три узла, пытаясь поплотнее завернуться в свои рваные охлопья.

Чу! Не то котенок мяучит, не то ворчит кто-то за камнем. Прислушался: это карлик Таук. Тот стережет и, от скуки, должно быть, мурлычет какую-то песню.

III. Таук

С полным рассветом расстались мы, наконец, с своими случайными товарищами по ночлегу. Те пошли своею дорогою, мы - своею.

Одному карлику, кажется, очень не хотелось продолжать путь с шайкою Джюры, - он так просительно смотрел мне в глаза, да я, признаться, не понял тогда его истинного желания; - я думал, что это он больше насчет съестного... Мне и в голову не могло придти, что этот обиженный судьбою, странный человек будет мне впоследствии очень полезен, даже более, чем только полезен.

Конокрады услали его передовиком. Джюра при этом наградил его подзатыльником, мой Дауд тоже поусердствовал, толкнув карлика под зад носком сапога. Таук безропотно снес обиду от первого, но зато на моего оруженосца посмотрел так, что даже мне стало холодно. В жизнь свою я не видал такого злобного, полного ненависти взгляда. Дауд даже со смеха прыснул.

Посадились на коней, - разъехались.

Дауд думает, даже уверяет меня, что еще дня два надо будет подниматься, прежде чем мы достигнем высшей точки перевала; я же думаю, что это должно случиться несколько скорее. Я даже уверен, что, если бы мы сегодня не запоздали, а вышли до свету, то, пожалуй, сегодня же и были бы на этой высшей точке. Подождем, увидим! Дорога стала несколько разнообразнее, она поворачивает вправо, почти под углом двадцати пяти градусов. Даудка едет впереди и занят чем-то у себя в бороде. Я справляюсь с bussолью и отмечаю. Становится теплее, даже заметно. Показываются кое-где жидкие заросли арчи и еще какой-то кустарной растительности; дальше, впереди синеют уже сплошные чащи, а за этими лиловато-синими пятнами горных пролесков ярко белеет усеянный круглыми валунами, серпообразный ледник. Об этом леднике мне давно уже говорили, только тот ли это самый, пока не особенно уверен.

Справляюсь с моими таблицами, мысленно восстанавливаю маршрут, соображаю с расстоянием. Должно быть - тут!

Еще час пути, - и вправо открылся пологий скат, чуть прикрытый снегом, сквозь который всюду пробиваются стебли прошлогодней травы. Обильное пастбище, - брезговать нельзя. Наши лошади долго не видали такой роскоши. Было бы бесчеловечно и нерасчетливо отказать им в этой законной потребности. Порешили сделать двухчасовой привал.

Не расседывая, только облегчив вьюки и ослабив подпруги, мы стреножили коней и пустили их поудовольствоваться, а сами стали завтракать. Теперь у нас на этот счет обильно.

Слышу я: гонит кто-то, - и шибко, - с той стороны, откуда мы приехали.

- Это Таук! - присмотрелся из-под руки мой оруженосец.

И впрямь он!

Карий жеребец с лысиною во весь лоб скачет утомленным галопом, сопит ноздрями так, что сюда слышно, спотыкается... На спине у него, без седла треплется жалкая усталая фигурка горбуна - цепко, по-обезьяньи держится... Доскакал, свалился - и прямо ко мне... Присел на корточки и смотрит просительно...

- Что ты?

Молчит... Только подполз вплотную, ухватил обеими руками мой сапог, целует его и к глазам своим воспаленным прикладывает.

- Что тебе надо?

- Я с тобой пойду... Не хочу с теми!.. - пробормотал, наконец, карлик.

- Ну тебя к дьяволу! - гаркнул Дауд.

Таук даже глазом не мигнул в его сторону... Опять пробормотал просительные слова.

- Я, - говорит, - от них ушел. Я сзади ехал, нарочно на этого жеребца сел, - он у них самый лучший, - чтобы не догнали. Отставал, отставал, да и совсем отстал... Им нельзя было гнаться. Где им, собакам, гнаться?! Они боятся назад вернуться, а я не боюсь... Я хоть сейчас под ножик, только чтобы с тобой идти...

Что, мол, за пылкая такая привязанность, думаю. Подозрительно, признаться, стало. В моем положении простительно, даже очень, быть подозрительным... Однако соображаю дальше: с уродом хуже, чем с собакою, обращались, а ведь человек тоже! Жизнь их была тоже хуже собачьей! Голодно, холодно, да и колом грозит судьба ежечасно... А тут все-таки покойнее и сытнее. Вот с ним обошлись хорошо, накормили, не побили, слово сказали ласковое, - он и размяк, расчувствовался. Дело понятное... Тяготы не составит... Лошадь ведь есть запасная, пригодится дорогою... Взять разве?

- У нас не воровской притон! - вмешался мой Дауд. - Увидят тебя с нами, - беды наживешь!

- Меня-то не узнают, - тебя не узнали бы! - ответил карлик, волком глянув в его сторону.

- Я тебя! - Дауд замахнулся нагайкою.

- Не тронь! - остановил я, и остановил энергично, так что мой джигит даже потянулся.

- Будешь со всякою дрянью знаться, - так тебе и поверят, что ты купеческий поверенный!

Засмеялся Дауд сквозь зубы и отошел в сторону.

"К чему это он сказал? Нет... что он хотел сказать этими словами?.."

Сердце мое сжалось болезненно. Я почувствовал, что побледнел как полотно. Слой грязи и копоти на моем, уже месяц не мытом лице, конечно, достаточно скрыл охватившее меня волнение. Но, клянусь Богом, что если бы у меня, в настоящее мгновение, кобур револьвера был расстегнут, если бы мои дрожащие пальцы могли мигом справиться с этою оледенелою,

плотно врезавшеюся в ременный прорез пуговицею, - я бы пустил пулю прямо в низкий лоб моего проныры.

- Ты поедешь с нами! Я тебя беру! - обратился я к Тауку.

Тот оскалил зубы, захохотал и снова кинулся к моим сапогам.

У чалого седло поползло набок: вот-вот свалится. Дауд пошел поправлять и что-то очень медленно возился с таким простым делом. Вернулся как ни в чем не бывало...

- Чай варить, что ли?

- Вари!

Таук кинулся подбирать сухой помет по дороге и разные годные для огня былинки.

.....

Таким образом, Таук остался с нами. Карлик-конокрад клялся всеми, и святыми, и черными силами, что его в тех кочевьях, куда мы направляли путь, не знают, но все-таки вороного жеребца взять ему я не позволил: краденую лошадь наверное бы признали, с первого нашего появления, и это навлекло бы на нас подозрение. Я обещал купить ему коня при первом случае, а пока предложил воспользоваться вьючным конем, благо недалеко ехать осталось, и дорога начиналась на спуск, все легче и легче.

Измученный вороной конь, едва передвигавший ноги, попытался было потащиться за нами, но, сделав несколько шагов, печально заржал нам вслед и принялся щипать выбивающиеся из-под снега, должно быть, вкусные на голодные зубы, - стебли.

IV. Пришли на Нарын

А ведь дорога-то все идет на спуск! Характер долинных предгорий обозначается ясно. Перевал, очевидно, пройден. Самая высокая точка - это место нашего последнего ночлега. Загляну в свою записную книжечку...

Стало заметно теплее. Перейденный нами хребет стоял за нами прочным заслоном от северо-восточного ветра. В долине, под ногами у нас, лентою вьется туманная полоса, - это Нарын, свободный от льда. Далее за ним чуть видны очертания главного хребта, а влево безобразно громоздятся одна на другую дикие, причудливые высоты. Это - группа Чаргалинских предгорий... Конечно, так!.. Там предгория богаты небольшими долинками, котловинами, где кочуют полунезависимые орды горных киргизов.

- Вы где коней скрали? - спросил я у нового моего спутника. - Там, что ли?

Я указал нагайкою в сторону предгорий.

- А там! - ответил Таук, пристально всматриваясь вдаль. - Послушай, тюра! Нам дорога теперь все правее и правее. Вон туда, где густая арча растет... Не ходи туда влево... не надо!

Шепотом сказал мне это Таук, а Дауд все-таки расслышал.

- Ты что за проводник?! - крикнул он на карлика. - Твое дело?! Это он боится с чаргалинцами встретиться... Я и то жду с минуты на минуту... Чаргалинцы спохватились уже и в погоню за конями своими пошли, - вот он и боится...

- А что мне бояться?.. Меня никто не видал, никто не знает...

- А я вот и укажу на тебя... Вот, мол, берите, это из тех самых!

- Не посмеешь!

Карлик произнес это решительно и с уверенностью в голосе, однако на меня посмотрел такими просящими заступничества глазами, что я поспешил ободрить его утвердительным кивком головы.

И это мое движение не укрылось от глаз наблюдательного Дауда.

- Смотри, тюра, - процедил он сквозь зубы, - наживешь беды с этою чумазою обезьяною!

- С тобою не нажил бы... Что ты про меня знаешь худого, что?

Карлик оживился, глаза его загорелись недобрым огоньком. Он заговорил торопливо, быстро, словно задыхаясь от злости...

- Что знаешь... что?.. - повторил он. - Аблай меня на дороге нашел... Я совсем издох... Он кормил меня, он поил... Он меня редко бил, а ты часто... За что дрался? Я не заманивал Аблая, я не продавал его... А ты это сделал... Ты хуже собаки!.. Ты и этого доброго тюра-уруса продашь... Я тебя по глазам понимаю... "Таук коней стереги, дрова таскай!"... Таука все обижают, а Таук умнее вас всех... Я пропаду, - ты пропадешь раньше... Я все скажу, что знаю... Вот что!..

Признаюсь, эта пылкая тирада меня озадачила, а моего Дауда еще больше. Он вдруг будто смирился, - пожал плечами, улыбнулся и кротко, насколько мог только подделать свой голос на этот лад, произнес:

- Ну что окрылся?.. Я пошутил... Отчего не посмеяться от скуки?..

- То-то! - проворчал Таук и самодовольно повернул своего вьючка на боковую тропинку, круто поворачивавшую вправо и прихотливыми зигзагами спускавшуюся в самую гущу зарослей.

Мы с Даудом последовали за ним.

Как тут хорошо!.. Какая разница с тем обледенелым, опасным карнизом, который мы, слава Богу, уже миновали. Совсем тепло. Я даже сбросил бурку со спины и приторочил ее за седлом. Заросли становились все гуще... По мере того, как мы спускались все ниже и ниже, к арче стали примешиваться и другие виды предгорной растительности; кое-где белелись даже кривые стволы нашей родной березки; круглые, поросшие густым мхом камни проглядывали из-под талого, разрыхленного оттепелью снега... Ноги лошадей местами вязли по колена. Часто в кустах слышался шорох и шумный взлет куропаток... Красавец фазан раза два перебежал нашу

тропинку... Сама тропинка была проложена не человеческими, даже не конскими ногами, и на ней виднелись бесчисленные кабаньи следы... Экая дичь! Экое приволье для охотника!..

Я было приготовил свою двустволку...

- Не надо, тюра, не надо! - испуганно остановил меня, поняв мое движение, Таук. - Не надо шуму... надо тихонько!.. Ты выстрелишь здесь, а там, далеко, услышат... Смотришь, - пойдут... Не надо, чтобы тебя видели...

- Да мы и не прячемся... Дауд, расскажи ему, кто мы такие...

- Стану я всякому рассказывать... - отвечал мой джигит. - Он все равно не поймет... Мы вот с ним послы, к самому хану кокандскому едем... Вот кто мы такие!..

- До хана далеко еще - сомнительно покачал головою карлик, - а тут народ такой, что и на хана не посмотрит. Тише пойдём, скоро пройдем... Никто не увидит, - целее будем...

- Тише так тише... Что же, провизии у нас пока довольно!

Однако мы забирались в такую непролазную глушь, что движение наше становилось с каждым часом все труднее и труднее. Лошади уставали заметно. Короткий день догорал, сумерки сгущались быстро... Надо было засветло позаботиться о месте ночлега...

Первое условие стоянки, важнейшее, - это вода поблизости. В настоящем нашем положении - это условие могло быть легко устранено: кругом снег, значит, вода, - становись, где хочешь, где кони стали. Мы на южном склоне, теперь тепло... Сырые облака, впрочем, окутывают нас со всех сторон, медленно ползут, цепляясь за выступы скал, и группы хвойных деревьев, осаживая на наши одежды легкий слой серебристого инея, а все-таки тепло, - не так, как там, на проклятом перевале. Станем хоть тут, здесь вот посуше как будто... Сейчас огонь разложим, чаю заварим, напьемся, да и спать...

Дауд говорит:

- Ну, ты, обезьяна, принимайся за свое дело, - собирай дрова, зажигай огонь!..

- И огня не надо... и так тепло!.. - отвечает карлик. - Огонь ночью далеко видно... Там скажут: что такое там за огонь?... место нежилое, а огонь!.. Смотреть придут... Не надо на нас смотреть... нехорошо!..

- Да что мы, дьявол ты этакий, вору, что ли? - закричал Дауд. - От кого нам прятаться?.. Теперь бы нам прямо на кишлаки идти, в чай-хане бы с людьми сидели хорошими, разговоры бы вели дельные... Уж и так тюра тебя послушался, в сторону взял, а тебе все мало...

- "С людьми хорошими!" - передразнил его Таук. - С хорошими людьми еще успеешь наговориться. Дай время худым уйти сначала!

- А откуда худые люди пришли? Ты почему знаешь?

- Лисица бежала, - хвостом махала: вот я и понял... Я, ведь и по-лисьему понимаю!..

- Кто такие?

- Сарбазы ханские, краснохалатники, вот кто!

- Видел, что ли?

- Нет, не видал, а по времени ждать надо: семь дней на Рабат стоял, в трубы трубил, горлом громко кричал и бумагой махал... Пять дней Чим-Булан приходил, Шарипа-бая ограбил, две девки увез да шесть баранов... Бумага махал, опять громко кричал и в трубы трубил, два дня на Нарын лошадей купал... Броду нет, каик (лодка) развалился, переправы нет... очень ругался, прочь пошел... Ему на эту сторону надо, а где переправа? Ты знаешь?

- Переправа?.. - Дауд задумался и начал что-то соображать. - Переправа... гм... - повторил он...

- Если на Чим-Булане нету, в Кара-су есть...

- А где Кара-су?

- Кара-су?..

- То-то, забыл, должно быть...

- Блиско...

- Как раз против нас, внизу... Светло было бы, - видно было бы...

- Вот оно что! Надо тюра моему доложить... - решил мой джигит... - Я вот ему скажу все и посоветую, как дальше идти и что делать надо... Тюра, ты спишь?..

Я откликнулся не сразу. Прилегли на бурку, я притворился дремлющим, а между тем внимательно вслушивался в разговоры моих спутников, хорошо освоившись с их особенным воровским жаргоном. Сообщение Таука о ханских сарбазах меня более чем заинтересовало, даже не на шутку встревожило. Очевидно, в долине бродят ханские отряды. С какой целью?.. "Бумага махал, громко кричал, трубы трубил" - ясно, что с отрядом ездили глашатаи, о чем-то объявляющие народу, а о чем именно?.. Вот тут-то и представляется широкое поле для всяких предположений и опасений... А ну, как дело касается именно меня или моего товарища К., выехавшего месяцем раньше, с подобною же, также замаскированную целью... Положим, что документы мои все в порядке, даже свидетельство коканского посла в Ташкенте с его собственной печатью, а все-таки надо быть очень и очень осторожным... Это вот и карлик смекнул разом, и рассуждает дельно... Конечно, гораздо лучше не встречаться на пути с ханскими сарбазами, да и вообще избегать густонаселенных местностей... Все это хорошо, но очень стеснительно... А все-таки, о чем объявляли ханские глашатаи, - надо узнать непременно... Дауда одного послать разве туда вниз, а самому переждать?..

Слышу, Таук говорит моему джигиту:

- Знаешь что? Ты здесь оставайся с тюра, а я пешком схожу один. Тут меня не знают... то есть, хоть и видали, да худого я ничего не сделал им: песни пел да милостыню собирал, это ничего... Я опять в чай-хане Мурад-бия зайду и все там разузнаю: у Мурада много народу собирается... он на дороге сидит и все знает... Нигде, как у него, сарбазы чай пили... Поразузнаю и приду сюда сказать... Ты посиди здесь, я живо сбегая: день пройдет, да еще полночи, - я и назад ворочусь... Только напой меня чаем да мяса дай... Таук очень есть хочет!

"План недурен", - подумал я.

- Это я все скажу тюра, ты не в свое дело не суйся! - заметил, подумав немного, Дауд и, подтянувши кушак, снова подошел ко мне:

- Проснись, тюра, дело есть, и даже очень важное дело!

- Ну, что скажешь?

- Да вот, узнал я, что внизу казенный человек...

- Какой казенный?..

- Ну какой? Известно, который самому хану служит, - сарбаз, значит, самый, может, первый у хана человек будет, и ему попадаться на глаза не следует...

- Да ты почему знаешь?

- Кто, я-то?.. - хвастливо воскликнул мой проводник. Да я все знаю, я сквозь землю вижу. Я по звездам могу читать. Вот что! Разве ты меня не знаешь, кто я?

- Знаю.

- То-то... Так чем нам идти вниз, лучше я сам один съезжу, все расспрошу, - ну, и там это окажется... Нам, положим, бояться некого, сами мы не последние люди, а все-таки лучше узнать...

- Съезди...

- Или лучше Таука послать... Пускай скажет там, что, мол, такие-то важные гости к ним едут, чтобы приготовили все, что следует... Я велю, чтобы Таук ехал? Что ему, даром, что ли, хлеб наш жрать? Пускай служит!..

- Ну, скажи Тауку!..

Наглый тон моего слуги положительно начал меня раздражать не на шутку, и я пристально стал вглядываться в глаза Дауда. Тот смутился слегка и стал почему-то усиленно разглаживать складки своего левого рукава.

- Сказать?.. - пробормотал он, потупившись...

- Теперь скоро светать будет! - заговорил я покойно, но только не в тоне сообщения, а прямо в виде приказа. - Вот уже белеет туман наверху. За тем камнем ты разведи самый маленький огонь, - его не видно будет. Согрей чайники и накорми Таука; он очень голоден. Таук не поедет, а пойдет пешком и в полночь назад вернется, он и узнает, что там читали *казенные люди*, и куда пошли, и сколько их было, - все узнает...

- Ты слышал разве?..

- Я все слышу и больше тебя знаю. Так и помни! Ты подумать еще не успел, а я уж знаю, что у тебя в голове. Ты видел это?

Я протянул правую руку и показал перстень с печатью на своем указательном пальце.

- Знаешь ли ты, что это такое?

- Кольцо... Как же, знаю... - смущенным голосом пробормотал видимо опешивший Дауд.

- Так вот видишь, какое это кольцо. Мне стоит только повернуть его печатью на ладонь, - и я сейчас скажу, что у человека на душе, а захочу, чтобы дурного человека скорчило в три погибели, так сейчас, как подстреленный волк, содохнет передо мною... Ты знаешь это?

- Я тебе предан, тюра, я за тебя в огонь и в воду... Я знаю, что ты сильный и властный... За что же ты на меня сердишься?..

Сказать откровенно, так я и сам не знал, за что именно я на него рассердился, даже до угроз, но чтобы не уронить себя в глазах моего пройдохи, я покойно добавил:

- Пока я не сержусь, а худо будет, если ты провинишься передо мною... Вот и старайся... Вари чай, да с огнем осторожнее!..

- Слушаю, господин... Сейчас будет готово... - и Дауд принялся за бивуачное хозяйство.

Рассветало. Туман наверху подернулся золотистым отливом утренней зари, стало свежей, и с невидимой еще внизу реки повеяло холодом. Дремавшие лошади стали пофыркивать и шумно отряхивались от насевшего на них за ночь инея. В воздухе протянулась струйка дыма от нашего костра, и аппетитно запахло гарью и копотью медного чайника, дразня усиленный аппетит.

V. Сарбазы

Пока Дауд варил чай, а Таук, чтобы не терять времени, запикивал за обе щеки остатки холодного мяса аркара, я соображал свое настоящее положение.

Обогнув озеро Иссык-Куль с северо-восточной стороны, мы направились на запад, вдоль хребта Терек-Тау, и перевалили на южную его сторону у День-Герме. Затем мы отыскивали перевал через Джатым-Тау; этот очень важный перевал - Суок, что значит "холодный", был как раз тот, где мы встретили конокрадов. Перевалив через него мы могли бы сразу спуститься в населенную долину Нарына, но предпочли уклониться от многолюдства и долго шли в полугорье, пока не стали ночлегом на данном месте. Вся долина - под нами, и сквозное сообщение с этой долиною найдено. Более половины моей задачи, именно основная ее часть решена. Все это сделано в самое невыгодное время года, зимою, когда о перевале Суок ходили слухи, что он только летом переходим, и то для пешего человека, в крайнем случае для вьючных ишаков. Открытие бесценное и важное! Собственно говоря, я мог бы с вполне спокойною совестью вернуться назад тою же, уже знакомою дорогою. Можно, положим, рискнуть двинуться в горный лабиринт, лежавший на северо-западе и совершенно не исследованный, держась направления на Аулиэ-Ата, но это слишком рискованно, почти неодолимо. Вернуться назад спокойнее, но зато крайне неудобно по некоторым соображениям, чисто психического свойства. Мы, доверенные приказчики известного торгового дома Хмурова и Комп., едем с целью показать образцы наших товаров, расспросить местных жителей о том, что им именно надо, и вдруг, не видав почти этих жителей, повернем оглобли, да как раз в такую минуту, когда ханские люди ездят и об чем-то объявляют! Неловко! Прямо, значит, более, чем навлечь на себя подозрение, - просто выдать настоящую нашу миссию... Перед кем, однако, выдать? Перед

Даудом да этим юродивым карликом? Да хоть бы и перед ними! Впрочем, и то сказать, опасность есть, бесспорно; но разве эта опасность стала больше, чем прежде? Может быть, даже встреча с этими ханскими сарбазами не только для нас не опасна, но даже очень полезна: я сильно возлагаю свои надежды на свидетельство Хаким-бая, коканского посланника в Ташкенте. Именно перед ханскими чиновниками эта бумага должна иметь большую силу и значение, чем перед безграмотным полукочевым населением гор Агели. Под охраною этих бумаг, мне удастся попасть в такие людные центры ханства, как Наманган, может быть, даже самый Кокан. О, как бы это было хорошо! Какое бы это было блистательное исполнение возложенного на меня поручения! А разве уже это так опасно? Все-таки, пускай сходит, попытается Таук, а когда он вернется, мы тотчас же спустимся на Нарын, переправимся на ту сторону и поедem на настоящую, уже разработанную, культурную дорогу. Дальше видно будет, смотря по обстоятельствам. Но почему только этот карлик думает, что встреча с ханскими чиновниками может иметь роковые для нас последствия? Почему он предполагает, что я должен всеми силами стараться избегать этой встречи? Почему он так видимо оберегает меня от этой встречи? Все это тоже вопросы еще не совсем решенные. Во всяком случае, нужно держаться крайне осмотрительно...

- Я еду, тюра! - перебил мои размышления Таук.

Он дожевывал что-то, и изо рта его валил пар от горячего чая.

- Я еду, тюра! - повторил он и, проходя около меня так близко, что даже задел своим малахаем, шепотом добавил: - А ты Дауду не верь и меня жди... слышишь? Жди!!!

Через минуту он скрылся в чаще арчи, быстро не то сбегая, не то скатываясь по разрытым, усеянным камнями склонам обрыва.

- Верь мне, тюра, - не то обиженно, не то пророчески, во всяком случае очень многозначительно, произнес Дауд. - Этот горбатый черт не доведет до добра... Не к хорошему он к нам привязался... Гнал бы его в шею, а то лучше мне бы позволил спустить его как и куда следует!

- Это не твое дело! - заметил я своему джигиту. - Думай только о том, что, когда я вернусь и буду тобою вполне доволен, то получишь медаль и денег гораздо больше, чем мог бы получить на службе у самого коканского хана... Вот об этом думай. Да помни об этом также!..

И я снова показал ему перстень на пальце.

Дауд даже вздрогнул и, потупясь, произнес:

- А я разве тебе, тюра, не верен?

- Пока - да! Ну, давай и мне чаю... Ты заварил свежего?

- Готово, тюра.

Тем временем солнце высоко вошло над горами, и его животворные лучи окончательно разогнали туман; только высоко, под снежною пеленою глетчеров, неслись золотистые

разорванные клочья облаков, отбрасывая на сверкающих гранях скользящие голубые тени. Внизу, под нашими ногами, не более как в одной версте, вилась широкая, сизо-свинцовая лента Нарына, с берегами, поросшими редкою растительностью. Густые камышовые заросли широко расплзались в сторону долины, где виднелась почти отвесная стена матерого берега; далее, кое-где прорезывали легкую дымку тумана группы садов, и чернелись закопченные верха кибиток и сакель. Дальше всего поднимался гребень дальних гор, местами оголенных, местами покрытых снегом; в самой долине снег лежал только по впадинам, да по северным склонам невысоких холмов, изредка увенчанных сторожевыми вышками и глинобитными куполами могильных сооружений. В мой сильный бинокль можно было хорошо рассмотреть и узкую полосу дороги, тянувшейся к реке от ближайшего кишлака, и стадо верблюдов, уныло бродившее по оголенной почве. Но что особенно обратило на себя мое внимание, - это конная группа, столпившаяся у самого берега, там, где в камышах виднелись две больших лодки (каика) с тяжелыми носами, кормами и низкими, почти в уровень воды, бортами. Здесь были разложены костры, поднимавшие к небу густые столбы дыма, и стояло несколько шалашей из камыша, покрытых черными, прокопченными войлоками. Люди у берега видны были совершенно ясно, чему особенно помогали их красные халаты. Очевидно, это и были сарбазы; у двоих ярко сверкали на солнце большие медные трубы за плечами. Лошади были на привязях и расставлены просторно: значит, это злые жеребцы, разобщенные, чтобы не бились друг с другом. Дальше виднелись и вьючные, скромные кони, столпившиеся в плотную кучу. Доносился по временам даже неясный гул голосов, особенно в те минуты, когда ветер, повинувшись непонятному капризу, менял направление и дул в нашу сторону.

- Слышал?

- Теперь они по нашему пути вплоть до Суока пойдут... Это они, верно, за теми конокрадами гонятся... Только ау! - Не догнать... *Наши* теперь уже за вторые горы прошли, они уже далеко теперь. Не догонят... опоздали... ха, ха!..

Дауд видимо радовался, что наши *ушли*, а тем не догнать, но он, наверное, ошибался. Ошибался не в том, что сарбазам не догнать воровской шайки, а в самой цели следования ханского отряда: стали бы те с такою силою гоняться за несколькими безоружными ворами?!..

- Вот те сарбазы, о которых Таук говорил! - протянул руку Дауд. - Ишь ведь, хорошо, что мы в сторону с дороги сошли, да повыше забрались, а то бы как раз им встретились Они сюда, на нашу сторону переправляться хотят, - надо быть, в чиреевские аулы, больше некуда. Это те аулы, что мы ночью стороною объехали... Еще собаки лаяли... Слышал?

С усиленным нетерпением я ждал ночи и возврата моего посланного, который наверное сообщит мне истинную причину появления военного отряда в этом захолустье.

- Ты думаешь? - улыбнулся я.

- А то зачем же им шляться здесь?.. Они сюда и не заглядывают вовеки. Последний раз, я еще маленьким был, когда приходили сарбазы. Тогда чиреевцы ханского сборщика податей зарезали и казну ограбили. Тогда приходили... Да *мы все* ушли!.. Что мы, их ждать, что ли, станем?!.. Как прослышали, что идут и ханский гнев несут, мы сейчас все в горы и скотину отогнали. Они пришли, саклюшки пожгли, да ни с чем и ушли; а больше вот по сие время не приходили. Зачем им сюда ходить?

- А ты разве сам чиреевец?

- Я-то? Я-то не здешний, да все равно, я ведь маленький тогда был, сказано, совсем... Я сборщика не резал... Я ведь еще не понимал ничего. Вот Джюра, - тот помнит, да Массол покойный помнил; это он сяркера резал, а я еще маленький был... Я тогда курицу не мог бы зарезать... Где же мне, ребенку глупому?!..

Я успокоил провравшегося слугу, сказав, что мне решительно все равно, резал ли он кого или не резал. Я приказал ему только не увлекаться и не высовываться очень из-за утеса, да лошадей наших убрать куда-нибудь подальше.

Дауд понял, что это давно пора было сделать и, забрав в руки все три чумбура, повел коней выше, в первую попавшуюся расщелину, а я остался на своем удобном наблюдательном посту.

Между тем переправа уже началась. Все вьюки и люди забрались на каики, кроме одного, который разделся донага и, сидя на расседланной белой лошади, смело погнал коня в воду. Несколько человек пеших, оставшихся на берегу, с криком, махая палками и плетями, погнали весь табун за белою передовою лошадыю; слышно было, как вода с плеском раздалась, принимая в себя эту живую кучу конских тел. Первая лодка, полегче, оттолкнулась шестом с отмели и поплыла вслед за табуном; вторая, большая, последовала за ними. Всю плывущую группу сильно сносило по течению. Я рассчитывал, где бы они могли пристать к этому берегу, и, следя вдоль берегового ската, только теперь заметил еще двух человек, тоже конных, но не краснохалатников, которые скакали во всю прыть, ныряя в береговых зарослях, махая руками и указывая плывущим удобное место пристани.

Откуда же эти люди явились? Раньше ли успели переправиться, как местные, знающие жители, или провели ночь на этом берегу вместе с нами, даже так близко?..

- Это не здешние! - заметил Дауд. - И. кони у них не здешние: смотри, какие хорошие! Лучше, чем у сарбазов, казенные! Не знаю, что за люди, а узнать надо... Вот посмотрим, вместе ли пойдут, когда переправятся, или дальше своею дорогою погонят... И что за люди такие появились?..

- Смотри, не шли ли они за нами, по нашему следу? - говорю я.

- За нами - может, а по следу - нет: какой тут след, когда снег метет? Никакого следа нет. Да мы и не дорогою шли, все стороною держались... Я нарочно так вел. Вот погоди, увидим... Хочешь, я поближе подойду, повиднее будет?

- Сиди со мною! Лошадей хорошо ли припрягал?

- Шайтан не скоро найдет... Эх опять задымил, проклятый!

Это уже относилось к остаткам нашего утреннего костра, который Дауд поспешил окончательно притушить комьями грязи со снегом...

- Так-то лучше!

Передовой белый жеребец уже достиг отмели и в галоп вынес своего голого всадника на сухое место. Поднимая тучи водяных брызг, с шумом и плеском выбрался и весь табун, перехваченный всадниками с этого берега... Стали подтягиваться и немного отставшие лодки...

Голый сейчас же соскочил с лошади и стал бегать и кричать, размахивая руками и щелкая себя по бедрам: озяб, должно быть, сильно, бедняга. А один из загадочных всадников спешил тоже и стал набирать сушняка для костра... Я наблюдал внимательно за всем, что происходило внизу... Мне казалось, что отряд ханских сарбазов, переправившись, немедленно оседлают коней и поедет дальше: судя по расположению бивуака на том берегу, они там провели всю ночь, - значит, и сами отдохнули, и лошадей выкормили. Надо бы им пользоваться ясным днем: ведь азиаты никогда по ночам не ездят, а между тем, судя по всему, что творилось, сарбазы, очевидно, готовились стать продолжительным лагерем... Уже не один, а несколько костров ярко пылали на берегу, с вьюков снимали котлы и приладили их к огню, даже шалаш начали строить и лошадей своих, снова оседланных, расположили в порядке на приколы. Что бы это могло значить? Удивление мое возросло еще более, когда я увидел, что человека три конных, теперь с лошадьми уже, снова разместились на большом каике и тронулись обратно, на тот берег; с ними отправился и один из этих новых всадников: другой остался на этом берегу. Что за причта такая? Что за перемена диспозиции?.. Очевидно также, что виною всему эти двое новых. Оставшийся здесь что-то очень энергично говорит с начальником отряда... Не слышать только, но зато в мой бинокль видно отлично... А Дауд так и без бинокля лучше моего видит!..

- А ведь я его узнал этого, что в белой чалме, - говорит мой джигит: - это, помнишь ты, тот андижанский купец, что мы в Верном видели. Это он самый... Чего его сюда принесло, собаку?!

Да, конечно, они становятся здесь лагерем... Я даже вздрогнул, и в сердце у меня похолодело: мне показалось, что этот андижанский купец показывает рукою в нашу сторону... Я даже попятился немного. Дауд, - должно быть, ему тоже это показалось, - припал головою к самой земле и затаил дыхание.

Ну, это, положим, вздор... Мы их видим - это точно; но чтобы они могли видеть нас, - это невозможно: мы так хорошо скрыты и этим утесом, и широко расползшимися ветвями арчи, что никакой острый глаз не мог бы открыть нашего убежища... И действительно, это просто случайность... Вот они уже и не смотрят в нашу сторону, а спокойно уселись оба у огня, и старший даже заглянул в котел, открыв на минуту его крышку... Это случайность, не более...

- Это вот он что видел, - шепчет Дауд: - видишь, орел над нами летает, вон и другой тоже... Экие разбойники! Что им, гадинам, надо? Это они орлов увидели... ничего!..

- Должно быть, орлов!

- Когда стемнеет, мы совсем отсюда уйдем. Мы вон туда пойдем, вверх, а после спустимся к воде, верст за двадцать отсюда. Пускай стоят, стерегут, - нам не мешают, и мы им также!

- Вот ночью подождем Таука!

- Не жди ты его, дьявола, тюра: ну его к черту!.. Без него все хорошо было, а с ним - как бы хуже не вышло! Не жди!

Но я все-таки решил дождаться карлика: я был убежден, что мы от него больше узнаем, чем от всех наших догадок и предположений, и опять послал Дауда наведаться к лошадям, не прерывая лично своих наблюдений над всем, что происходило в лагере.

Так прошел томительно длинный день, - хоть и зимний, сравнительно короткий, но мне показавшийся длиннее всякого летнего... Спустилась ночь и с нею неразрывно связанный густой туман. Теперь мы были в полной безопасности. Проголодались мы оба ужасно; последнее мясо было доедено на рассвете. Огонь для чаю разложить вновь было крайне опасно... Горные козы подходили близко, почти на пистолетный выстрел, да стрелять нельзя: положение свое выдать... И не дремлет, сна нет, а Таука тоже нет как нет... Вернется ли еще?..

И самого меня стало одолевать сомнение, не тронуться ли в путь, не теряя времени, подальше от подозрительного лагеря?

- А как ты думаешь, - обратился я к Дауду, - найдет ли нас Таук, если мы уйдем отсюда?

- Лучше бы не находил!

- Ты все свое!

- Жареным будет пахнуть, - найдет... Вот хоть бы так, как оттуда!..

Действительно, снизу, где виднелись три багровых, расплывающихся в тумане световых пятна, до нашего голодного носа доносился вкусный запах жареного сала.

- Знаешь что, тюра? - вдруг встрепенулся мой джигит. - Они ночью крепко спят, и часовой заснет... Я знаю, всегда часовые спят, а собак с ними нету. Я тихонько спущусь и все мясо у них выкраду. Право, выкраду... Я раз так из-под носа у сарбазов целого барана унес и еще халат впридачу... Тогда и собаки были, да я их отманил и прирезал, а барана скрал. Я это сделаю. Вот погоди только, уснут покрепче!

Предложение это было очень правдоподобно, но я все-таки строго запретил приводить его в исполнение.

Вдруг к моим ногам подкатилось какое-то жалкое живое существо. И как оно незаметно подкралось?!

- Это я, тюра! - послышался голос Таука, и я почувствовал поцелуй на своей руке. - Это я... Только тише...

- Пришел! - недовольным голосом проговорил Дауд.

VI. Роковое известие

Бедный карлик, должно быть, очень утомился: он присел на корточки и пригоршнями глотал снег. Он даже не мог сразу заговорить толково от утомления и только бормотал:

- Надо бежать... сейчас бежать... Я знаю, куда!.. Бежать надо!..

- погоди! - остановил я его. - Переведи дух и говори покойно, толком, в чем дело?

Отдышавшись и оправившись немного, Таук сообщил мне все подробности своей рекогносцировки. Во-первых, он еще вчера переправился на тот берег. Связав несколько охапок камыша, он уселся на этот плотик, и его снесло по течению, как раз против селения Нарын. Пользуясь предутреннею мглою, он перебежал песчаные дюны реки и незаметно очутился в самом центре базара, где в чай-хане какого-то Кассим-бая еще горели огни и, несмотря на раннюю пору, толпилось очень много народа. Одно это несвоевременное собрание в чай-хане заставило его усилить внимание. Сам же он не мог заинтересовать собою никого особенно: бедный урод, нищий оборвыш, просящий подаяния, - кто мог обратить на него внимание? Он покойно пристроился в проездных воротах чай-хане, откуда было все и видно, и слышно. Здесь он узнал, что в том же чай-хане, в особой сакле, лежал связанный урус, а около, прикрытый кошмою, труп его проводника, джигита, которого прирезали ханские сарбазы. Двое из этих сарбазов караулили дверь, ведущую в саклю пленного. Этот урус был с маленькою рыжею бородою, среднего роста и с темно-красным пятном на левой щеке...

Бедный мой товарищ Кутаев: по описанию Таука, это был он!..

Урус этот уже неделю как жил в чай-хане, говоря, что поджидает своего товарища. Он выдавал себя за приказчика богатого торгового дома Хмурова, показывал образцы товаров, хвастал, что при первой летней дороге приведет богатые караваны, показывал бумагу от самого Хаким-бая, посланника в Ташкенте, - первого человека у хана коканского, - и эта бумага вызвала такое уважение к урусу со стороны даже старшин всех окрестных кишлаков, что к нему приезжали на поклон и даже привозили ценные подарки. Эта-то бумага и погубила его окончательно... Сначала пошли разные темные слухи. Джигит, слуга рыжебородого уруса, советовал ему не ждать товарища, а ехать дальше, но урус не послушался, все чай пил с самим хозяином и умные разговоры разговаривал. А тут, неожиданно-негаданно, пришли конные сарбазы ханские, затрубили в трубы, и юсбаши прочел бумагу ханскую, в которой было сказано, что по их стороне бродят злые люди с русской стороны, разведчики, узнают про пути и дороги, все записывают да запоминают, чтобы летом придти с войском и все ханство покорить под своего "Белого Царя" и всех в свою поганую веру обратить, мечети и мазары срыть, а народ погнать в холодную сторону, на смерть лютую, - и чтобы тех людей непременно изловить и доставить, живыми или мертвыми, пред светлые очи хана Худояра; а кто изловит, тому за живого пятьсот золотых тиль, а за мертвого - половину, а тех собак, что их водят, - из

нашей земли перебежчиков, - резать на месте или какой угодно казни предавать, чтобы другим потом неповадно было.

А узнать этих людей можно вот по каким приметам: оба поехали дорогами разными: один с черною бородою и с молодым джигитом, на трех конях, - буланом, кауром и чалом, - с хорошими ружьями и с пистолетами такими, что по шести раз кряду стрелять могут. А товара с ним немного, и бумаги у него как будто бы настоящие, есть и открытый лист, как и у другого, с подписью и печатью Хаким-бая, - потому что русский генерал, который в Ташкенте живет, - мирзу Хаким-бая обманул, сказал, что купцы едут, а сам послал своих ученых людей с совсем другим делом, злым для хана нашего и опасным для всего ханства... Другой же нехороший человек - с бородою рыжеватою и красною меткою на щеке и едет на двух лошадях, обе вороные. Так вот, чтобы по этим верным приметам изловить их непременно... Не изловят, - великий ханский гнев будет на всю страну, а от гнева ханского спрятаться некуда...

Все это сарбазы говорили, а юсбаши читал и еще раз в трубы трубил. Хозяин же Кассим-бай очень испугался и говорит: "У меня такой есть уже один, как раз по приметам подходит". А урус этот спал, выходит и спрашивает: "В чем дело?" Юсбаши говорит: "Тебя-то нам и надо!" Велел его сейчас вязать... Урус за пистолетами было назад, в саклю метнулся, да хозяин Кассим-бай его поперек тела схватил, а другие под ноги бросились, связали накрепко... Урус кричал, что у него бумага Хакимова, а юсбаши смеется и говорит: "Эта-то бумага нам и нужна, по ней-то и знаем мы теперь, что ты за птица!"

- Я как узнал все это, так сейчас же скрал на дворе мешок лепешек, - рассказывал Таук, - да назад к тебе, тюра, поскорее. Вот и мешок приволок... Бегу меж кустов, ближе напрямик взял дорогу и как раз набежал опять на сарбазов, что к реке пошли еще с ночи. Вижу, что переправу готовят, я с ними и остался, только не совсем с ними, а с каикчи, лодочниками; говорю им: дадите горячего чаю поесть, я вам помогать буду. Каикчи мне сказали, что дадут: нищему калеке и Бог велел давать есть... Вот я остался и все слушал, что сарбазы говорили. Хотели они переправиться и по нашей дороге на Суок идти, да встретились люди, двое, купцы наманганские, и сказали им про тех, кого сарбазам надобно, что они купцы, все по следу нашему шли и дня три всего как след потеряли, а что теперь негде быть им, как тут где-нибудь, поблизости... Вот и порешил юсбаши стать на переправе лагерем и разведку к Суоку послать... Сами, говорит, наедут: деться им некуда больше; не станут же в горах с голода и холодадохнуть?!

- Скажи, тюра, ведь у тебя тоже есть Хакимова бумага?.. Ведь ты тот самый, чернобородый, на трех конях: чалом, кауром и буланом?.. Ведь ты тот самый, что нам зло и погибель несешь?.. Да?..

- Видишь, что тот самый! - произнес я, стараясь быть возможно покойным.

Карлик несколько минут пристально смотрел на меня и вдруг горько заплакал.

- Бедный я, Таук, бедный... За что только Таука так Аллах наказывает?..

- Ну, что же?! Ты теперь бедный, а можешь богатым быть: пятьсот золотых тилей большие деньги... Поди скажи сарбазам, что ты меня здесь нашел, и веди их сюда. Я тоже скажу на тебя, что ты никто иной как мой поимщик. Будешь богатый, сытый... Всю жизнь просидишь в чайхане, на мягком ковре. Довольно с тебя маяться в голоде да холоде... Хочешь?

Таук молчал и все пристально смотрел мне в глаза. В темноте ночи я чувствовал на себе этот насквозь пронизывающий взгляд. Потом он вдруг вскочил и бросился приводить в порядок лошадей.

- Скорее, скорее, тюра, пока темно... ночь еще длинная, мы далеко уйдем... Я знаю такое место, где нас никто не отыщет... только скорее, скорее!

К горлу моему подступили слезы, я сделал усилие, чтобы не разрыдаться и не броситься обнимать моего карлика. Холодной водою обдал меня другой голос, настолько изменившийся, что я его узнал не сразу.

- Так ты говоришь, что того джигита зарезали? - спросил Дауд у карлика. - Ты говорил, что этих джигитов, что водят русских лазутчиков, велено лютой казни предавать?

- Да! - проговорил Таук...

- Гм... Так вот ты, тюра, на какое дело меня с собою взял! Что ж, поймают тебя и Даудку! Кому хуже будет, не знаю... Как ты думаешь, - ты ведь ученый, - что пятьсот тилей больше будет того, что получу от вашего коменданта, или меньше?

Не помня себя от гнева, я выхватил револьвер и приставил его почти в упор ко лбу джигита...

Дауд, словно предвидя это движение, ловко согнулся и одним прыжком спрятался за лошадь.

- Что же, стреляй!.. Авось, там услышат... Они только и ждут того, чтобы им голос подали... Ой!..

Я видел, что голова моего джигита, выглядывавшая из-за конского крупа, вдруг исчезла, и что-то тяжелое, как грузный мешок, повалилось на землю... - Ох! - еще раз, чуть уже слышно, прохрипел Дауд и стих... Я бросился туда. Бедняга лежал, скорчившись на боку, и его тело только вздрагивало в последней агонии... Таук сидел перед ним на корточках и смеялся... Да как смеялся! Сердце леденило от этого истинно дьявольского, тихого, чуть слышного смеха.

- Ха-ха-ха... Это тебе за Аблая... его собственным ножом... Вот этим самым... слышишь... Да слышишь же?!.. Это не от меня, - это от Аблая, это он тебя прирезал, собаку продажную, - он! Слышишь: Аблай, Аблай...

Страшный карлик нагнулся к самому уху убитого, отогнул ему ворот чапана, оттянул наушник шапки и все настойчиво продолжал:

- От Аблая, от него самого, собака паршивая!

Да, этой минуты, этой страшной драмы, разыгравшейся в темную ночь, в горах, я никогда не забуду. Этот ужасный смех до сих пор еще звучит в моих ушах, когда что-нибудь, случайно, напомнит мне далекое прошлое моей полной приключений, скитальческой жизни.

VII. В пещере

Дело было сделано. Свершилось что-то роковое, бесповоротное. Маленький человечек, самую судьбою мне посланный, стал моим руководителем. Это приниженное существо овладело моею волею. Мне казалось даже, что не он, а я стал торопливо помогать ему готовить лошадей к трудному ночному переходу. Таук сунул мне в руку лепешку, и я ее машинально ел, торопливо проглатывая куски; я ведь был, собственно говоря, очень голоден, но как будто неясно сознавал это ощущение. Карлик быстро обобрал труп: снял с него верхнее платье, богатую лисью шапку, обшарил карманы убитого, забрал сумку с патронами и даже его дорожный нож, и все это пристроил к вьючному седлу. Затем он куда-то исчез, и я видел, как лошади, насторожив уши и слегка похрапывая, тронулись в путь, - это Таук повел в поводу переднего коня, - я пошел следом... Мы все удалялись от того места, проклятого места, на которое я бы ни за что на свете не хотел вернуться, и с трудом вытягивали ноги из глубокого снега. Мы все шли и шли... Куда? - не знаю... Я шел за Тауком, а тот знает... Я был глубоко убежден, что мой новый джигит, мой преданный друг, ведет меня совершенно сознательно.

Давно ли я встретил его? В каком виде? В каком сообществе?! Но я ему верил безгранично.

Мы шли таким образом по глубокому снежному замету, очевидно, ложиною, часа два. Туман все становился гуще и, наконец, окутал нас сплошным, непроглядным облаком... Я едва различал круп буланого коня, хотя мог достать до него рукою. Наконец, дорога стала тверже, под ногою чувствовался камень; мы, значит, перевалили замет... Здесь мы остановились на минуту. Таук что-то соображал, и результатом этих соображений было его одобрительное "Сюда!"

Началась густая чаща, кони поминутно спотыкались об оголенные корни... Мелкий камень с шумом и зловещим шуршанием скатывался куда-то далеко вниз. Мы же подымались все круче и круче, снова остановились на совершенно чистой площадке и опять перевели дух... Не знаю, оттого ли, что уж очень мы высоко забрались и вышли из облачного слоя, но стало как будто бы светлее, и я мог различать туманные силуэты всех трех лошадей и крохотную фигуру Таука, сидевшего на корточках перед мордой передней лошади.

- На дороге? - спросил я вполголоса.

- Эге! - ответил он громко, вовсе горло, и засмеялся. - Теперь можно! - добавил он, как бы оправдывая свою неосторожность. - Теперь они нас не услышат!.. Теперь и стрелять можно, - не беда!.. Скоро светать будет... А нам еще до света надо Орлиное гнездо обогнуть... Гайда!..

Немного спустились, повернули совсем на север и опять стали подниматься, все выше и выше, но этот подъем был горше первого... Только привычные, горные, каракиргизские лошадки, да

еще кованные только на передние ноги, могли взбираться на эти скользкие, изрытые крутизны... Иногда конь срывался и несколько шагов скользил назад, бессильно царапаясь передними ногами, но все-таки справлялся и, где нельзя было иначе, скачком одолевал препятствие, да еще в такую минуту, когда я невольно хватался за хвост, чтобы самому не потерять равновесие...

- Ну, тюра, теперь смотри в оба... Сейчас поворачивать станем... Береги левую сторону!..- говорит Таук и почему-то тревожно понижает свой голос...

"Берегу левую", а почему - не знаю... и слева, и справа одинаково молочный туман стоит стеною; а кони храпят и жмутся усиленно вправо: они, знать, инстинктивно чувствуют опасность... Вдруг что-то произошло... Там, где должна была находиться средняя, то есть, вторая выючная лошадь, что-то усиленно зашуршало и смолкло... Этот шорох еще раз повторился, но уже где-то далеко внизу и опять смолк...

- Тюра! - испуганно крикнул Таук...

Мне показалось, что он находится далеко впереди, гораздо дальше, чем я думал.

- Гей! - отозвался я.

- Что там?..

- Не знаю...

- Иди осторожно... бедовое место... идешь?

- Иду!

А как идти, когда мой конь передо мною заупрямился и боится ступить ногою? Он совсем сел назад и испуганно храпит...

- Ай-ай-ай! Беда! - говорит Таук. - Теперь совсем близко... Пропал конь каурый... и выюк весь пропал... Ну... небось... ну, вперед!..

Эти возгласы относились уже к моей лошади: Таук взял ее за повод и тащил за собою...

- Подгони ее сзади!..

Подогнал... Тронулся конь, и я за ним... Ступил ногою на камень, но камень тот зашатался и выскользнул из-под ноги... Я ухватился руками за землю и присел, чтобы удержаться... А Таук все говорит:

- Иди, не бойся!.. Все равно пропадать надо!..

И то правда! Встал я, шагнул, куда Бог приведет, - держусь... еще шаг, еще два...

- Теперь хорошо! Спускаться станем!.. - веселее перевел дух мой новый покровитель...

Точно. Мы стали спускаться, и лошади пошли бодрее и прытче.

- Сядем! - сказал Таук.

- Сядем! - решил и я.

Уселись верхом... Оно было и кстати: ноги сильно разболелись в коленях, спину ломило от сильного напряжения... Но, увы! Недолго тянулся этот отдых, - мы снова должны были слезть и вести коней в поводу... Вновь пошла такая заросль, такая невылазная чаща, что приходилось

пробиваться силою, оставляя ключья одежды на колючих ветвях арчи и горного можжевельника.

Опять остановился Таук и опять стал соображать что-то... Теперь я видел, что прямо перед нами поднимается какая-то бесконечно высокая стена. Далеко ли, близко ли эта стена от нас, разобрать трудно: должно быть, что близко, потому что она растет и растет с каждым нашим шагом вперед.

- Казак! - говорит Таук, показывая ногойкою в сторону. - Теперь скоро!..

Утро разгоралось, Все становилось светлее и светлее. Если бы не этот туман, можно было бы прекрасно осмотреться, но эта мертвая, убийственно холодная мгла томит душу, - отнимает веру в прочность самой почвы под ногами.

Вот слышно, вода где-то стремительно падает с высоты и разбивается брызгами... Вот захлопали тревожно незримые крылья... Как будто бы пахнуло теплом... Стало еще светлее... Я взглянул наверх. Там, под туманом, в недостижимой высоте, на голубом небе, загорелся золотой гребень гор и вдруг погас, сменившись неожиданно словно внезапно охватившим нас мраком ночи...

- Что это? - вскричал я невольно.

- Пришли! - возвестил веселый голос Таука... - Пришли... Теперь ау! Теперь нас не отыщет... Тот собака знал, тот бы нашел... знаешь, тот, кого Аблаев нож прирезал... Тот знал, - я знаю. Аблай знал, да Массол, что на кол посадили, а больше никто не знал на свете. Погоди... сейчас тепло, хорошо будет... теперь долго отдыхать будем, пока совсем на неделю не выспимся... Чай варить будем! - добавил он с особенно торжественностью и стал расседлывать наших лошадей, теперь, увы, уже только двух... Об участи третьей, нашего злополучного вьючка, я не мог себе составить еще полного понятия... Я догадывался только, что она оборвалась... Но мы-то почему остались, почему не оборвались все вместе? Все шли ощупью; значит, уж каурому участь такая, печальная, досталась.

Я стал, однако, соображать: что мы потеряли вместе с конем? Что было во вьюке? Припоминаю: - ягдаши с образцами товаров, ну, это к лучшему: теперь эти образцы бесполезны! Котел походный... жалко, очень жалко!.. Наш запас чаю и...

- Таук, посмотри, там у тебя, на седле, есть ковровые коржумы?

Спрашиваю, а самому даже страшно сделалось... что скажет?

- Есть! Эти, что ли?

Не вижу, что он показывает.

- Сейчас огонь буду раскладывать, - бормочет Таук. - Ого-го!.. Никто без нас не был. Шестой год никто не приходил!.. Вон и дрова наши остались... Кш!..

Целая туча летучих мышей, задевая за нос, пролетела своим беззвучным полетом. Послышался их характерный писк, похожий скорее на легкое, тихое ворчание... Утомленные кони только тряхнули своими понуренными головами, побрякивая прямиками уздечек.

- Спички давай!

- Вот!..

Вспыхнуло пламя; затрещали смолистые, высохшие за шесть лет ветви арчи, и быстро разгорелось веселое, яркое пламя. Мы осмотрелись.

Это была высокая пещера, с узким, сходящимся сверху сводом. Все стены этой пещеры были изборозжены глубокими трещинами, и в этих трещинах копошились мириады летучих мышей, гроздьями висая на когтях задних лапок, головками вниз... Свет нашего костра произвел сильную тревогу между ними: они залетали над нашими головами, испуганно шараясь в сторону, попадая в густой столб кострового дыма...

Почва пещеры была мягкая, усеянная отбросами вампиров и птичьим пометом. В одном месте лежала порядочная груда топлива, и виднелись клочья истлевшей от времени кошмы. Кое-где белели кости, и блестела, Бог знает как уже сюда попавшая, старая жестянка от сардинок... Сколько я ни осматривался, понятно, сильно заинтересованный нашим новым убежищем, но никак не мог понять, как мы сюда попали... Утро, а я нигде не вижу его света... Где вход, там должен же проникать сюда хотя бы один луч денного света? Должно быть, сделали несколько поворотов по коридорам этой пещеры. Я спросил Таука, тот сказал: "Там" и добавил: "А где же чай?.."

- В коржумах... в тех, ковровых...

Но, после самого тщательного осмотра этого вместилища, там оказались только кусок мыла, две пачки патронов и совершенно обрезанная ножом, оглоданная даже зубами аркарья кость... Чаю не было, а запас был порядочный!..

Мы внимательно осмотрели выюки, чтобы определить точно, что же погубило вместе с бедным конем. Оказалось, - увы! - многое истинно необходимое... Погибло белье, погиб чай и сахар, погибли бутылки с остатками коньяка и спирта, погиб мешок с сухарями, запасная одежда, оружие Дауда, постельные войлоки, ковер, складная палатка и, как я уже сказал, походный котелок и ягдаш с образцами товаров - за исключением последнего, все крайне для нас необходимое. Кроме мешка с десятком сухих лепешек, что Таук скрал в кишлаке, у нас не осталось никакой провизии.

Я сообщил все это Тауку. Тот закачал головою, поскреб затылок, так что его косматый малахай сполз на самое лицо, и проговорил:

- Ой-ой-ой! Плохо... Надо доставать... Вот отдохнем, пойдем посмотреть, можно ли будет добраться, где лежит каурый?

- И то правда! Может быть, и найдем труп нашего вьючка, может, что-нибудь и уцелело.

Таук все-таки сбегал куда-то, на четверть часа, принес медный кунган, что всегда висел за моим седлом, снегу, да еще набрал этого снегу в свою шапку и приладил к огоньку.

- Иссык-су... Якши иссык-су... (т. е. хорошо горячая вода) то же, что и чай... Нету чаю, иссык-су есть. Будем есть лепешки, да спать ляжем. Ой-ой... как спать хочется!..

Но прежде, чем лечь спать, он опять отправился на поиски, на этот раз что-то долго, и вернулся с целую охапкою свежего хвороста для корма лошадей. Новый джигит заботливо расседлал их, осмотрел спины и положил принесенный корм. Голодные животные с жадностью принялись хрумкать своими могучими челюстями, перемалывая это грубое подобие сена.

- Ну, готово! Ложись спать, тюра! Выспимся, голова лучше думать будет!

Сказал это, Таук и свернулся комочком, закрывшись с головою потником седельным.

Устроился на покой и я, и скоро заснул как убитый, заснул покойно, без боязни, заснул, как дома, так как уже много, ох как много ночей мне не доводилось спать. Ведь я теперь своему джигиту верил.

VIII. За чужим добром

Долго ли мы спали, тот ли еще день тянулся, или другой начался, - сказать трудно: часы мои, на беду, остановились. Проснулись мы в совершенном мраке: костер потух; мы снова зажгли огонь и отправились на разведки. Я чувствовал себя бодрым и сильным, только голодным до крайней степени.

Кое-как утолив мучения этого голода, опять все теми же лепешками, мы выбрались к выходу из пещеры. После двух крутых поворотов, мы заметили, значительно выше нас, небольшое отверстие, сиявшее чудным, голубоватым светом дня. Чуть не бегом бросился я туда и через минуту зажмурил глаза, ослепленные светом солнечного полудня, вдыхая полную грудью чистый горный воздух. К этому отверстию вел узенький карниз, исчезая неподалеку за отвесным утесом, но по этому карнизу можно было еще идти довольно удобно, только чтобы не смотреть пристально вниз, в эту зияющую под нашими ногами бездонную пропасть... Пройдя с полверсты по своим же следам, которые сохранились довольно ясно местами, мы очутились над пологим спуском, густо поросшим горною растительностью. Отсюда спуск становился все круче и круче. Мы оглянулись назад, и Таук мне показал на маленькую черную точку, над которою клубились еле заметное дымное облачко.

- Там! - сказал он.

Я полагал, что это был вход в нашу пещеру. Да, это наш ночной путь: вон - сломанные вишни; вон - клочья нашей одежды и целая прядь с гривы буланого... И как это мы могли идти ночью, да еще в такой туман, эту непролазную чащу?.. Но удивление мое достигло крайних пределов, когда мы выбрались-таки из зарослей и, спустившись пологим откосом, усеянным валунами, добрались до края пропасти, вдоль которой змеился карниз, вдвое уже первого. В одном месте карниз почти прервался... Там торчали выступающие из горного массива

остроконечные камни, осколки, и виднелись свежие следы горного обвала... Там идти нельзя. Даже теперь, днем, и то я не решался более ступить ногою...

- Что же, пойдём! - понукал меня Таук.

- Не могу!

Я уже прямо попятился, оказав жожаку легкое сопротивление, когда тот одобрительно потянул меня за полу.

- Ведь шел же за лошадью... Темно было - шел, светло стало - боишься!

- По этой дороге не ходят!

- А это что?

Я взглянул по указанию горбуна и ясно увидел отпечатки кованых ног конских и мои собственные следы...

- Не могу! - отрицательно качал я головою...

- И никто не может! - строго и внушительно произнес Таук. - А мы пойдём... Это - великая дорога, дорога Божья... По этой дороге люди не ходят, а их сам Бог переносит. Когда человеку все равно помирать надо, он идет, и если Бог захочет спасти его, - перенесет... Нам все равно помирать приходилось, мы пошли... Видишь, живы: перенес Аллах. Теперь этот самый Аллах нас из беды выручит, а все-таки и мне страшно... Поползем как-нибудь... Уже очень хочется посмотреть: что с конем случилось?..

Да, мы буквально поползли, цепляясь руками, плотно прилегая всем телом к обледенелым камням, тщательно выбирая место, где хоть на минуту можно было более или менее надежно опереться ногою... Если бы не явные следы, я мог бы не поверить, что это наша вчерашняя, уже, значит, знакомая нам дорога!.. Однако трудно... Я весь в поту от непосильного напряжения... Таук ползет впереди. Вот он остановился и пристально смотрит вниз...

- Здесь! - сказал он и безнадежно махнул рукою.

Как ни приглядывался я, ничего не мог рассмотреть на дне пропасти, да еще затянутой легким, быстро скользящим облаком.

- Пропало все!.. Ни отсюда, ни снизу нельзя добраться... Птицы, те склюют, а больше никому не дотронуться... Что же? Будем и без чаю, и без араку... Ползем назад, - нечего тут больше делать...

Поползли... Ух! С какою отрадою я ступил после на более надежную дорогу... Сели отдохнуть.

- Аблай ходил два раза, Массол три, Дауд один раз, а я четыре! - вспоминая минувшее, заговорил Таук. - Вот это, с тобою, - четвертый... За нами гонялись, как раз до того места, где Даудка, паршивая собака, лежит, они ходили тут... много ходили, да все лежат там, где наша лошадь... только мы уцелели... Божья дорога, не для человека она сделана!..

Отдохнули, вернулись в оставленную нами пещеру... Таук сводил коней на снег "попоить". Затем мы стали обдумывать свое дальнейшее положение. А оно было поистине безвыходное: в горах погибнешь, здесь сидеть без пищи - погибнешь тоже, вниз спуститься, в долину, другою дорогою, которую Таук знает хорошо, - чего только Таук не знает? - это теперь стало моим несокрушимым убеждением. Ну! Идти в долину: там, меж людьми, после опубликования наших, т. е. теперь только моих, примет, после всего, что случилось с беднягою Кутаевым, это значит идти тоже на верную смерть или плен, еще горше первого, а потом, все-таки, публичную казнь. Нет, и вниз идти очень опасно!.. Да, но здесь, в горах, смерть неизбежна, а там?.. Все-таки там, внизу, есть хоть какой-нибудь шанс на спасение...

Я думал, и Таук думал... И, кажется, додумались мы до одного и того же, только у моего джигита вылилось это в особую, своеобразную форму...

- Я пойду вниз, я два дня пропадать буду, может, и больше, я пойду за хлебом, за мясом, за чаем... только араку не будет, араку там нигде нету!

- Я тебе дам денег. Этого добра у меня много!.. Можно купить...

Не успел я закончить своего предположения, как Таук громко расхохотался и фамильярно толкнул меня в бок кулаком...

- Как мы можем покупать? - хохотал он, - Я покажу деньги, сейчас спросят, откуда, что за человек?.. Нет, мы покупать не можем... Украсть надо.... Красть мы можем, а покупать нельзя... Только когда я пойду красть, назад вернусь, ты сдохнешь от голода! Не вытерпишь...

- Очень может быть, если очень долго! - согласился я с таким основательным предположением.

И порешили мы идти воровать вместе. План похода был совместно разработан и представлял много вероятия в успешности исполнения.

Те сарбазы, что мы оставили бивуаком на берегу Нарына, против переправы, получив сведение от наманганских купцов, будут или дожидаться нас на переправе, или пойдут нам навстречу, разыскивая нас на пути; ведь они не знают, что мы уже предуведомлены о предстоящей нам опасности. Они вполне уверены, что, ничего не подозревая, мы станем открыто продолжать наш путь и, по примеру уже одного такого пойманного, посетим людные, населенные места ханства; сами, так сказать, попадемся им в лапы... Вот если б они могли предполагать, что мы знаем, в чем дело, и от них скрываемся, - они, может быть, и пошарили бы поаккуратнее в окрестных предгорьях... Но азиаты ленивы на поиски и на бродяжничество в диких пустынных местах, да еще в таковую бедовую, зимнюю пору. Да, они, наверное, стоят на месте, или пошли низом, удобною дорогою, к подошве Суока, перевала, единственного сообщения с долиною Нарына, а то, может быть, что всего вероятнее, вернулись в кишлаки, если не пошли на Наманган и Кокан, удовольствовавшись пока первую поимкою.

Значит, если мы осторожно, с оглядкой спустимся сами, конечно, ночью, прячась днем где-нибудь в камышах прибрежья, то сарбазы никаким образом не могут подозревать нас так близко в своем соседстве. Сарбазы такие же люди и так же могут уставать, а после спать, как и все. Мы будем только уставать, когда они спят, и отдыхать скрытно, когда они бодрствуют. Таук выразил это положение в такой лаконической образной форме:

- Сарбаз спит - мы ходим... Сарбаз заходил - мы легли спать. Хорошо будет! - и добавил при этом: - Мы на сарбаза смотрим в оба и знаем, что он делает. Сарбаз на нас не смотрит и ничего об нас не знает. Только вот беда! Сарбаз знает, что у нас кони буланый да чалый. Не надо ему лошадей показывать, - сарбазы знают, что урус с черной бородою. Черных бород и у них много, да шапка баранья, высокая, и кафтан с буркою, вот где беда, - и об этом надо подумать...

Значит, изменив несколько бороду, а главное, платье, можно и днем, с осторожностью, где-нибудь показаться; значит, эту меру предосторожности принять непременно надо.

Итак, чем с голоду пропадать, решено было идти вниз, в долину, другою дорогою, преобразившись, сколько возможно, и, конечно, оставив лошадей здесь, хотя бы на время, до подходящего случая. Жаль было оставлять добрых, выносливых, так много мне послуживших коней. Но что было делать? Оставлять их где-нибудь в камышах опасно: джул-барс слопают ночью, днем как-нибудь ржанием отзовутся, людей намят и след покажут.

Таук уверяет, что они кони умные, далеко отсюда сами не пойдут, поглотать что-нибудь сами отыщут и в бурю снежную сами теперь найдут знакомую дорогу в пещеру-убежище, и что вообще Аллах не только к людям, но и к скотам очень милостив и попасет наших лошадок, пока мы что не устроим к лучшему!

Из остального платья я выбрал самое подходящее; рваный чапан Даудкин, что он подстилал вместо войлока, остался мне в наследство, а шапку мою черную, барашковую, сменила серая чалма, свороченная из двух поясов полотенец. Цвет же моей бороды до такой степени изменился от слоя грязи и копоты, что вряд ли отличался от цвета самого лица. Револьверы я взял с собою, один дал Тауку, показав, как надо с ним обращаться, с винтовкою же мне очень жаль было расставаться, и я ухитрился-таки, хоть в разобранном виде, спрятать ее в полах халата.

Мы сняли недоуздки с обеих лошадей, погладили их, поласкали на прощание и тронулись в путь после полудня, рассчитывая засветло пройти опасные места, не тот карниз - Боже упаси! - а другую дорогу.

- Тоже Божью? - недоверчиво спросил я Таука.

- Нет, человечью... Там даже и аркары ходят... Медведь раз ходил, я видел, ничего; а у него нога такая же, как и наша... Там ничего, можно!

Эту возможную дорогу мы, хотя и с большим трудом, однако одолели засветло. Мы даже подвигались довольно быстро и к закату солнечному были верстах в пятнадцати от пещеры.

Когда мы остановились отдохнуть, то отсюда снова ясно была видна долина Нарына, окрашенная багрянцем заката. Совсем было темно, когда мы вошли в густую чащу камышей, и мой Таук обнаружил чувство не только робости, но даже заметного страха. Но он боялся не людей. Нет, его пугала возможность встречи со страшным обитателем джунглей, с полосатым джул-барсом, и он мне шепотом рассказывал невероятные ужасы про свирепость этого колоссального хищника. Я поспешил собрать винтовку, уверяя его, что с этим оружием никакой джул-барс не страшен.

Благополучно пользуясь кабаньими тропами, мы добрались до воды и принялись изготавливать плот для переправы. Таук очень ловко справлялся с этим делом, устройством саллы, и скоро все было готово.

Мы улеглись, и нас тихо понесло по течению. Связав несколько камышин потолще, мы сделали что-то вроде руля и полегоньку направляли плот наискось. Однако, нас долго еще тащило все ниже и ниже, унося от места отправления. Тяжелое сопение и какое-то грузное шлепанье по полузамерзлой грязи обратило на себя наше внимание. Мы заметили несколько черных тел у самой воды. Это были кабаны. Животные, пришедшие на водопой, даже внимания не обратили на какую-то кучу камыша, проплывшую от них шагах в десяти, не более; мы, конечно, тоже не пытались их побеспокоить и продолжали свой путь.

Выбрались мы, наконец, на отмель, у пологого песчаного берега, оттолкнули саллы, чтобы те продолжали свой путь и не указывали бы места пристани, и зашагали по ровной и мягкой дороге. Судя по звездам, было около полуночи. До света было еще часов семь, не считая утренней мглы. Времени довольно! Впереди мигали красноватые огоньки селения, только не того, что мы видели прежде, где попался бедный Кутаев, а другого. Таук говорил, что и этот кишлак он знает: Алты-Агач называется, а от кишлака Нарын - верст сорок, если не больше. Говорит также, что сюда сарбазы еще прежде приходили, что через Алты-Агач ведет большая арбяная дорога на Наманган, и что этот кишлак и больше Нарына, и богаче, а караван-сараев с чай-хане два...

Когда мы подошли, конечно, обойдя с задов, к селению, огни были только в караван-сараях. На базарной же улице, где находились крытые лавки, и в узеньких переулках было темно и тихо. Народ спал крепко. Мы забрались на какой-то пустой дворик, всполошили было с десяток собак, поднявших лай, похожий скорее на волчье вытье, но моего путеводителя несколько не беспокоивший: полаяют да и отстанут, а лай ночью - дело привычное и никого не потревожит. С этого дворика мы пролезли через какое-то отверстие в глинобитной стенке и попали на другой, просторный. Противоположная сторона этого дворика была повыше; - это, значит, задняя стена примыкающей к дворнику сакли. Правее стенка была полуразрушена, и сквозила узкая щель бокового переулка. Таук оставил меня на полчаса одного: ему надо было сделать разведку поподробнее. Когда он вернулся, он сказал мне решительно:

- Пойдем!

Мы вышли в переулок и скоро очутились на широкой улице, ведущей к базару.

- Я смотрел, сторожа нет. Один только человек спит тут неподалеку, под арбою, а там верблюды лежат и большие мешки, батманы целые, с рисом. Я и торбу захватил с арбы, наберем рису, пригодится!

Действительно, тихо пройдя мимо распряженной арбы, мы нашли верблюдов и соблазнительные мешки, и Таук, проковыряв пальцем ближайший, насыпал полную торбу. Тут он повел носом и, как кошка, шмыгнул куда-то в темноту. Я тоже за ним.

- Сиди и жди! - шепнул он.

Я послушался.

Через минуту Таук появился с большим бараньим стегном в руках, тщательно пряча эту добычу под полою.

- Вот бери все и ступай назад, в переулок, - я к караван-сараяу пройду, с тобою неловко... Ты ведь пока непривычный!

Забрал я все это некупленное добро, и рис, и мясо, и пошел в переулок, присел там в темноте, прилег даже в арык, и дыхание притаил. И кажется мне, что мое сердце бьется так сильно, так громко, что удивляюсь, как это беспечные, сонные обитатели кишлака не слышат и не проснутся с грозным криком: "Держите, ловите... Воры... Разбойники!"

Но спит мертвым сном аул, только собаки на все голоса надрываются. "Тук, тук, тук", - чуть донеслись с другого, дальнего конца базара сонные удары в бубен сонного сторожа и смолкли... Как это хорошо для воров устроено, - подумал я, - постучит, и слышно, где ты, сторож, сидишь, ну, и покойно!

Казалось мне, что долго я ждал Таука, очень долго, однако дождался. Прибежал, тяжело чем-то навьюченный, и говорит:

- Довольно пока, пойдем, а то не дотащим, пожалуй...

Мы пошли торопливо, только не тою дорогою к реке, откуда пришли, а совсем в другую сторону. Я выразил свое недоумение Тауку, а он ответил, что скоро утро наступит, что все равно к Нарыну не успеем, что там опасно теперь, а ночевать, то есть проводить день, совсем в другом месте будем.

Мы довольно долго шли садами, между стен, пока не вышли за пределы селения. Здесь мы свернули по направлению большой дороги, пересекли ее и направились к дальнему мазару, купол которого темным силуэтом отчетливо выделялся на побледневшей уже восточной полосе горизонта.

Почти рассветало, когда мы подошли к мазару. Это могильное сооружение, увенчанное полуразвалившимся куполом, стояло особняком от других могил, и над входом его торчал длинный шест с навязанными тряпками, приношениями богомольцев.

- Здесь никто не ходит. Когда только хоронят, тогда приходят, а сегодня и вчера никто в кишлаке не помер!

- Ты почему знаешь?

- Знаю... Помер бы кто, всю ночь бы выли, и огни горели; народ бы собрался и плов жрал бы всю ночь, - а ничего не слышно такого... все, значит, живы!

- Ну, и слава Богу!

Перелезли мы высокий порог у входа в мазар. Там стояло что-то вроде глинобитного саркофага, и пол весь бурьяном зарос; мы за этими саркофагами и приютились. Разобрали *покупки*.

Кроме мешка рису и бараньего стегна, Таук еще стащил - говорит, в самом караван-сараяе - мешок лепешек, связку сальных свечей, кунганчик чугунный и, о радость! целый капшук с зеленым чаем, да еще две дыни, в оплетенных камышовых сетках. Их так подвешивают для сбережения: почти до половины зимы хорошо сохраняются.

- Я бы еще много кое-чего набрал... весь коржум мог бы у одного проезжего стащить, да не надо... зачем обижать? Может быть, в коржуме у него деньги. Не надо обижать проезжего человека!

Варить что-либо было опасно. Поели мы лепешек да одну дыню. Таук даже сырой баранины поглотал немного, и стали дожидаться дня. А день-то не за горами! Стало светать; послышались голоса; верблюды заревели: значит, выючить их стали; заскрипело немазанное колесо арбяное, и над плоскими крышами просыпающегося аула там и сям поднялись густые столбы хозяйственного дыма.

За рабочую ночь да предшествовавший тяжелый переход с переправой мы устали-таки порядочно. Таук на всякий случай зарыл добычу в землю под саркофагом, велел мне спать, обещая посторожить, пока не разбудит меня на очередную сторожу, и я заснул снова очень крепко, заснул с совершенно спокойною совестью: ведь мы, действительно, совершили все ночные деяния по необходимости и никого, в сущности, не обидели...

Я выглянул из мазара. Отсюда открывалась панорама всей окрестности. Верстах в полутора ясно виднелась проезжая арбяная дорога, еще не оживленная путешественниками. За нею изрезанные водопроводными арыками поля маиса, джугары и рису, - все это уныло торчало из-под тонкого снежного покрова своими пожелтелыми комлями, за полями туманная полоса реки. За этим туманом - знакомые нам горы, гряда над грядою, все выше и выше, сливаясь, наконец, своими скатными группами тяжелых кучевых облаков. Правее - обнаженные от листвы сады и сакли аулов. Левее, значительно далее, тоже сады и тот же синеватый дым жилого места.

- Знаешь? - прервал мои наблюдения Таук. - Идем!

- Куда? Теперь, когда так светло?

- Смотрю я на тебя и думаю, - произнес мой новый джигит, - и думаю, - повторил он, - ну кто признает в тебе того, чем ты был? Да если бы я сам тебя встретил, то признал бы за своего, такого же бездомного бродягу. Идем в аул!

- Идем! - согласился я, безропотно проглотив этот особенный комплимент.

- Мы все это здесь оставим... это наше будет складочное место. Много накопим, а потом купим ишака и повезем все к нам, в горы. Только тогда уже опять пойдем ночью, украдкой. Ту дорогу им показывать не годится. Только вот что: ты не говори, ни слова не говори... я скажу, что ты немой, отроду так уродился... язык есть, а говорить не можешь, так и скажу, а то тебя поговору урусом признают. Так-то будет лучше. Я даже скажу, что ты ногами слаб... Мы пойдем тихонько; только вот теперь надо осторожно выползти, чтобы кто не заметил, откуда мы вышли!

Покуда было нелюдно, мы и выползли, пробираясь за могилами кладбища, вплоть до первой садовой стенки, принимая всевозможные предосторожности, и наконец выбрались на дорогу, но все-таки пошли стороною, дерзко держа путь прямо к кишлаку.

IX. В караван-сараяе

Немного не доходя до въезда в селение, мы встретили три одноконных, тяжело нагруженных арбы. Сытые, отдохнувшие за ночь лошади бодро шли по мерзлой дороге, побрякивая своими наборными уздечками. Верховые арбакеши весело болтали между собою и на нас не обратили ни малейшего внимания. Потом, минутой спустя, попался нам старик, шедший за своим навьюченным ишаком. Этот окликнул:

- Откуда Бог несет, вы, убогие?

- А идем из Божьей стороны в Божью сторону добрых людей искать: не подадут ли нам что-нибудь, бедным! - уклончиво ответил Таук.

- Эге! - утвердительно мотнул головою старик и почему-то сплюнул сквозь зубы в сторону.

- Видишь, ничего! - толкнул меня карлик.

- Ничего! - согласился я.

И действительно, я чувствовал себя в прекрасном, самом беспечном состоянии духа. Все это теперь казалось мне таким естественным, ну положительно не внушающим никакого подозрения. Мне казалось даже, что я сам отлично вхожу в безобидную роль нищего бродяги, чуть не забывая даже, что я из себя представляю такое в действительности.

Вошли в улицу. Тут сломалась арба и задержала путь остальным. Собралась толпа, шумящая на все лады. Мы протеснились осторожно, даже помогли поддержать ось, покуда арбакеши крепили колесо, и снова очутились на просторе. Пройдя еще несколько уличных поворотов, мы заметили вправо крытый туннель базара, место наших ночных подвигов. Там теперь слышался неумолкаемый гомон, и пестрел народ. Несколько нищих сидело при входе, поставив перед

собою деревянные чашки для подаяния. Эти посмотрели на нас недружелюбно, один даже ком грязи пустил вдогонку. Таук огрызнулся и ответил тем же.

Кое-кто из толпы громко засмеялся, а пекарь, в выпачканном мукою халате, сунул в руку карлика целую горячую лепешку.

Таук идиотски засмеялся, пробормотал какую-то молитву, должно быть, показал нищим обидно сложенные пальцы правой руки, разломил лепешку надвое, одну половину начал с аппетитом есть, другую - подал мне.

- Ишь, добрый, делится! - заметил кто-то из глубины ближайшей лавки.

Мы, однако, в базарный свод не нырнули, а своротили к караван-сараяу, ближе к выезду на большую дорогу, смело вошли под его ворота.

- Хозяину благословение Божие! - крикнул Таук, присев перед огнем на корточки.

- Спасибо! - отозвался хозяин, пожилой сарт, в хорошем суконном халате и другом, бараньем, внакидку.

- Очень озябли, вот и он тоже. Всю-то ночь шли... дорога длинная, а он ногами слаб. Шли тихо! - начал жалобно Таук.

- Грейся! - лаконически ответил хозяин.

Таук и мне приказал мимикою погреться.

- Немой! - сожалительно почмокал он губами на вопросительный взгляд хозяина.

Нам дали маленький кунганчик с чаем и две чашечки из зеленой глины, да еще лепешку впридачу.

- Только сядьте там, где подальше, - приказал хозяин, - ишь, со своею грязью, на чистый ковер лезут!

- Ковер грязный вымыть можно... душу грязную нескоро отмоешь. Ты хороший... ничего... у тебя душа чистая. Аллах тебе много золота пошлет за наш чай и за хлеб... а мы не заплатим! - заговорил Таук, впадая в роль и тон бродячих юродивых "дуване". - У меня много денег, много золота, а за чай не плачу... я коплю деньги...

- На что же ты копишь деньги, лавку, что ли, открыть хочешь, купцом станешь? - спросил один из посетителей чай-хане и толкнул соседа локтем: послушаем, дескать, что будет молоть горбатый дуване, должно быть, шут-забавник.

- Ишака хочу купить, моего безногого дурака возить, а то у него ноги плохи... идет, а все ох да ох!

- А много же накопил?

- Много! Вот!

Таук долго рылся в своих лохмотьях и вытащил, наконец, оттуда две медные чеки да костяную пуговицу.

-Ого-го-го! - загоготал он, встряхивая на ладони свое богатство.

Все заготовали тоже.

- Что же, теперь немного уже собирать осталось! - снисходительно улыбнулся и сам хозяин.

Таук замурлыкал песенку. Я свернулся в темном уголке навеса, за плетеной корзиной со снопами клевера, и скоро все общество занялось своими делами, позабыв даже о нашем существовании.

А мы сидели и наблюдали.

Высокий человек, в рваном халате, пришел откуда-то из внутренних отделений двора и принес большое деревянное блюдо с дымящимся жирным пловом. Человек этот поставил кушанье перед посетителями, а сам принялся раздувать громадный самовар, стоящий на специально для сего устроенном глинобитном возвышении. Внешность этого человека крайне меня заинтересовала. Это не был ни сарт, ни узбек, ни горный киргиз - совсем не те черты... это, положительно, был русский. Моя догадка обратилась в полную уверенность, когда он, недовольный, должно быть, поведением самовара, вслух выругался:

- А чтоб ты разорвало, окаянного!

Это было произнесено и русским языком, и чисто русским тоном.

- Узнай, кто это! - шепнул я Тауку.

- Узнаю! - отозвался тот также шепотом. - Хозяин, - крикнул он громко, - у тебя скотины много?

- А тебе что? - отозвался тот.

- Здорова скотина?

- Ничего, Бог милостив!

- А я такие слова знаю, что Албасты (горный дух) не любит и прочь бежит. Когда скотина больна, это Албасты ее мучит, а я всякого черта прогнать могу. Я слово такое знаю...

- Это бывает, - заговорил оживленно один из гостей, - это действительно бывает, и вот такие божьи люди, не все, конечно, а слова знают!

- Ну вот увидим, - усмехнувшись, согласился хозяин, - у меня есть одна кобылица, корм перестала есть и второй год ходит яловая, попусту... Ну-ка, попробуй!

- А что дашь? Дашь ишака? - стал торговаться Таук.

- Ого, как много запросил! - захохотал кто-то.

- Да ты прежде вылечи! - заметил другой.

- Отчего не дать, - кивнул головою хозяин, - дам, если поможет твое слово!

- Не возьму с тебя ишака... Ты добрый, ты чистый человек... тебе даром сделаю! - польстил Таук.

Хозяин караван-сарая, видимо, был и польщен, и тронут этою лестью.

- Иван, - крикнул он, - покажи ему рыжую кобылу!

Теперь мы знали, что того, заинтересовавшего нас человека звали Иваном.

- Пойдем! - сказал Иван.

Таук пошел, а я остался в своем уголке. Остался один - и мне стало неловко, все стало казаться, что люди смотрят как-то особенно внимательно и подозрительно в мою сторону. Но мне это только казалось: в сущности же никто и не думал о моем присутствии.

Помог или нет с первого раза Таук рыжей кобыле, не знаю, но, вернувшись через полчаса, он сообщил мне, что Иван пленный солдат, урус, взяли его три года тому назад из-под Токмака, когда большое сражение было, продали сюда, Шарипу-баю, - хозяину здешнего караван-сарая, - за триста тенег, потому что очень хороший работник, сильный и старательный, умелый очень, и что хозяин им очень дорожит и ему верит, а бежать солдату Ивану нельзя: дороги не знает и все ждет, не выкупит ли их генерал или не разменяют ли пленных... Захочет бежать, все равно поймут и зарежут за такое дело... Лучше уже, порешил, как сам Бог укажет... Может быть, и пошлет ему милость повидать свою родину... Вот что узнал Таук, пока лечил рыжую кобылу Шарипа-бая.

Грустно стало на душе, а еще грустнее, когда я вспомнил про злосчастную судьбу моего товарища, которого ждал уже не простой томительный плен, а неслыханные мучения пыточной казни.

Все пока шло хорошо и вполне благополучно для нас. Нам даже дали вволю поесть горячего плова с бараниной, чего же лучше!.. Ждали ночи для новых подвигов по сбору продовольствия, для отступления на нашу горную стоянку, но незадолго после полудня свершилось событие, изменившее резко все наши планы, событие, взволновавшее все население кишлака.

Часа в два пополудни перед воротами караван-сарая остановилась конная группа путешественников. Они прибыли из Нарынского кишлака, из того самого, где квартировали ханские сарбазы.

Группа состояла из двухколесной арбы и сопровождавших ее трех всадников, в темно-красных халатах, в бараньих черных шапках и с фитильными ружьями, мултуками, за плечами. Это были ханские сарбазы. Арба остановилась у ворот, и из нее вытащили измученного донельзя человека, с крепко связанными назад руками. Я узнал несчастного сразу: это был бедняга Кутаев. Несмотря на то, что он и так был связан довольно надежно, его все-таки привязали к столбу навеса, и один из сарбазов остался при нем на часах. Не прошло и десяти минут, как все население кишлака густою толпою собралось перед караван-сараем. Азиатское любопытство выказалось здесь во всей красе и полноте: пестрые халаты, цветные чалмы буквально лезли один на другого, чтобы поближе рассмотреть пленника. Все соседние крыши, заборы, даже ветви деревьев усеялись зрителями. Шум, крик поднялся такой, что нельзя было разобрать ни слова. Об этом пленнике, вероятно, уже знали по слухам, и в говоре толпы ясно слышалось озлобление. Комья грязи полетели в несчастного со всех сторон, но сарбазы пригрозили стрелять, - и толпа немного притихла...

Кутаева напоили чаем и покормили немного из рук. Тот смотрел апатично вокруг, словно в каком-то забытье, и по временам стонал, вздрагивая и поводя плечами: очевидно, что веревки на локтях и кистях затекших рук причиняли ему невыразимые мучения...

- Хозяин, - ломая кое-как татарский язык, заговорил Иван, подойдя к Шарипу-баю, - попроси их хоть развязать-то его... Неужели же их столько одного боятся?!

- Ну его, собаку!.. - отозвался хозяин. - Там хуже будет!

Из своего угла я с Тауком видели и слышали все ясно.

-Ты что? - нагнулся близко к моему лицу мой карлик. - Ты никак плачешь?..

И он обтер мне лицо рукавом своего халата. Я крепко сжал его руку...

- Ц... ц... - зачмокал он. - Спасибо Аллаху, что не ты на его месте... Ой, ой, беда!.. Лежи здесь, смиренно-смирно. Пойду я опять к Ивану, еще пошепчу шалду-балду на рыжую кобылу...

Опять я остался один с тяжелою тоскою на сердце и не в состоянии был оторвать глаз от этой измученной фигуры у столба, в неестественной позе не то сидящей, не то лежащей на своей привязи.

Видеть товарища в беде, в таком ужасном положении, без всякой возможности ему помочь, - пытка нестерпимая... Казалось, легче было бы самому разделить с ним его участь... Хоть бы уйти отсюда поскорее! Но Таука нет, без него страшно, да и волнение мое может выдать... А Таук, как нарочно, замешкался... Охота ему пришла дурачить хозяина со своим знахарством!.. Час прошел - его нет, другой, мучительный час без конца тянется... Темнеть начинает, и солнце к краю гор давно спустилось, а я все слушаю, что говорят сарбазы, не успевающие отвечать на сыплящиеся со всех сторон вопросы.

А рассказывали сарбазы вот что:

"Одного захватили, другого скоро поймают. Юсбаши с отрядом на следу стоит; тем не миновать влопаться, купцы приезжие говорили, что за теми шли; сами пришли, а тех собак из глаз упустили... Должно быть, в горах где, поблизости, слоняются. Назад через Суок ходу нет, там застава поставлена конная, а сюда должны выбраться непременно. Юсбаши на переправе смотрит, куда же деться?.. Хотели было этого пойманного в Кокан, к хану, везти, да теперь поджидают, чтобы всех зараз... Джигита, проводника казнили и за ноги на виселицу вздернули. Пускай висит, пока птицы не склюют, пусть все видят, как по воле ханской казнят предателей... А что этому будет, так этого и рассказать нельзя... Для этого и бережем, живьем везем... Юсбаши приказал им сюда перебраться и здесь ожидать его приказаний; четверых их послал, да четвертый все дорогою хитрый пистолет разглядывал, что у русского за поясом был, все хотел узнать, как из него шесть раз стрелять можно, а пистолет как выпалит у него в руках, да в самую печенку, так насквозь и пробил; теперь лежит бедняга, умирает у муллы в мечети... Как доложить юсбаши теперь, не знают, как бы не осерчал: человек на счету, из ханского конвоя, и десятник к тому же".

- А долго ли ждать здесь будете? - спросил хозяин.

- А сколько придется! - отвечают. - Может быть, день, а может быть, и три. Как тех поймают, так сейчас и поведут в Кокан!

- А вы бы и вправду его развязали... Ослабел человек очень, смотрите, не выдержит дороги... Взяли, мол, живого, а привезете к хану на расправу падаль... Тоже за такие дела не похвалят...

- Да как же его устережешь несвязанного?

- А очень просто!.. У меня вон сакля крепкая, я в ней зерно берегу, и дверь одна всего, да и та с замком, а стены толстые, надежные... Опять же, и посматривать будете... Вас же трое да и наши помогут!

- А покажи саклю! - спрашивают сарбазы.

- Да вот, с воротами рядом, а дверь вовнутрь, во двор выходит. Я и засов дам здоровый!

Отвязали пленника, отвели в указанное место, а тот едва ноги переставляет; чуть живой и в самом деле. Развязали, стали руки от плечей до кистей натирать, спрашивают: "Можешь поднять кверху?.." Попробовал пленник - трудно... "Ну, ничего, - говорят, - скоро отойдет, на воле кровь найдет свою дорогу, отмашется!.."

Лошадей сарбазовых во двор ввели, расседлали и на руки работнику сдали, а работник, сам Иван, пришел за конями, взглянул мельком в мою сторону и опять быстро отвернулся, потом на дверь сакли, куда посадили уруса, посмотрел и вздохнул тяжело.

- Что же, колдун наш горбатый, - спросил мимоходом хозяин, - вылечил, что ли, рыжую кобылу?

- Вылечит небось! - ответил Иван. - Все рассказал мне как следует. Все, что эту ночь надо делать, что завтра...

"Зачем он так громко сказал это? - подумал я. - Все говорил тихо, а эти последние слова громко... "

Стал народ расходиться к ночи. Да что и смотреть, когда уруса от них спрятали?!.. Под воротами два фонаря засветили, а ворота толстою жердью перегородили, чтобы кто из скотины или лошадь какая-нибудь, сорвавшись с привязи, не вышла бы на улицу... Темно стало, и в кишлаке стало все тише да тише... Только в темном базаре, под навесом, фонари бумажные мелькают, купцы свои лавки запирают и ко сну готовятся.

Неслышно подошел ко мне Таук, прилег рядом и шепчет на ухо:

- Задумали мы дело с Иваном и порешили попытать еще раз милость Господню... Уж коли Аллах нас над Орлиным гнездом перенес, значит - Он к нам еще милостив... Ты лежи, да не спи... В полночь я опять уйду ненадолго... Увидишь огонь - не шевелись, не поднимай тревоги. Как только того уруса выведут сарбазы из сакли, ты вплотную подойдешь и стреляй из твоего пистолета, шуму не бойся, а то лучше первого ножом пырни, вот этим, - Аблаевым ножом, хорошим, - а там уже слушай Ивана, он остальное сделает, а тут и я подоспею. Мне ведь далеко

обежать надо... Смотри же, помни все, что я говорил, а я опять уйду, базар запалю с того конца... Вот они, спички, мне Иван дал целую коробку...

Я слушал эту тираду, и сердце мое словно биться перестало, голова заработала ясно, усиленно. Все мелочи предстоящего, безумно смелого и рискованного предприятия ясно, отчетливо складывались у меня в мозгу. Ставилась ва-банк роковая карта... Удастся, о Господи, пошли ты нам эту светлую радость! Не удастся - и ему, и себе в лоб по пуле. Пускай потом над трупами издеваются сколько угодно...

А ночь брала свое - и скоро мертвая тишина воцарилась в ауле.

У дверей сакли-тюрьмы сидел, прислонившись, часовой-сарбаз, держа поперек колен своей мултук, неподалеку улеглись остальные двое, покрывшись с головами общею кошмою.

Показался работник Иван с маленьким фонарем... Посмотрел, все ли в порядке, и стал неторопливо приготавливаться к ночлегу на своем обычном месте, у подворотни... Он долго стоял на коленях, все крестился и шептал что-то, и я ясно слышал его вздох:

- О Господи! Да будет Твоя святая воля!..

Вдруг далеко за базаром вспыхнуло красное зарево. Это зарево разгоралось быстро; через минуту показались даже длинные языки пламени... Еще бы! Все эти навесы, зонты для тени, камышовые заслоны, все это сухое, чудный, горючий материал... Громадный пожар разрастался с невероятной быстротою... слышались испуганные вопли, усиленный бой сторожевых бубнов, рев животных... поднималась отчаянная тревога...

Шарип-бай выскочил, полураздетый, и криком собирал работников... Сарбазы быстро поднялись на ноги и не растерялись нисколько...

- Выводи уруса скорее, а я за лошадьми пойду! - крикнул старший и бросился во дворик.

Другие двое бросились в саклю и чуть не на руках вынесли Кутаева...

Настоящий момент наступил. Я должен исполнить свое дело; те должны знать свое...

Одним прыжком очутился я около сарбаза, державшего за шиворот моего несчастного, обезумевшего товарища, и всадил ему Аблаев ножик в бок по рукоятку... Тот выпустил пленника, кинулся было на меня, потом отшатнулся от второго удара в грудь и упал навзничь.

Второй сарбаз, видимо, не сразу понял, в чем дело: мы были в тени ворот, и разглядеть, что именно происходит, было трудно... Я не дал ему опомниться, и Аблаев нож снова сделал свое дело: я поберег выстрел... Не надо, когда можно сделать все без шума.

Но меня толкнуло что-то очень сильно, - я еле устоял на ногах... Это была высокая, мощная фигура Ивана...

- За мною, ваш благородие! - проговорил он и, схватив Кутаева буквально на руки, исчез в темноте двора.

Я кинулся за ним...

А пожар обхватил уже половину базарной улицы, и огненная стена, с ужасным ревом и шипением, шла по направлению к караван-сараю...

- Иван! - слышался отчаянный призыв Шарипа-бая...

Мы пробежали двор, через калитку выскочили в сад, а там уже ждали наготове все три сарбазских лошади, храпя и боязливо глядя на пожарное зарево... На одной из них уже сидел Таук и торопил нас в путь... Иван взял Кутаева к себе на седло, и мы погнали вслед за Тауком, показывавшим нам настоящую дорогу...

- Как это просто... как это легко!.. - думалось мне... - Видимая помощь Господня... Да нас и не скоро хватятся: где тут, когда весь кишлак скоро будет в огне... Когда все растерялись, охваченные паникою, и не сообразят ни что, ни откуда...

Но мы выскочили уже на ярко освещенную полосу дороги... мы неслись по ней... и нас, верно, заметили... Судя по изменившимся крикам, кажется, что заметили... Топот погони... нет... кому же гнаться?.. Это стадо испуганных пожаром верблюдов ураганом вынеслось из-под пылающих навесов и с диким ревом сокрушало все встречное на своем пути... Ужасная картина!

Х. Погоня

Мы скоро повернули по направлению к прибрежной полосе. Лошади хороши, свежи и выкормлены сыто... Их понуждать не надо; только лошадь под Тауком навьючена изрядно: наскоро привешенные, тяжелые коржумы болтаются, бьют по бокам и затрудняют бег.

- Гайда, гайда! - весело кричит мой горбун.

И мы несемся полным галопом, этим типичным, размашистым галопом аргамаков, от которого на карьере отстанет любая лошадь...

Таук весел необычайно, хохочет, и даже петь принимался... Он, видимо, опьянел от этой необычайной удачи.

- Хозяин Шарип обещал ишака! - кричит он. - Аллах нам послал трех аргамаков... и мяса вдоволь, и хлеба вдоволь, и всего много... ха-ха-ха-ха! Гайда! Гони сильнее!.. Скоро прискачем!..

"О каком мясе он вспомнил, о каком хлебе? - подумал я. - Эге, так вот чем у тебя твоя лошадь навьючена!.."

Справа и слева уже поднимаются степи камыша... Слышен теплый пар от реки... Что-то глухо бурлит впереди... Это Нарын... Если поспеем за ночь переправиться, мы в сравнительной безопасности.

Созвездие Ориона высоко поднялось на небе, типичная утренняя звезда ярко горела над горизонтом... Скоро рассвет...

Мы перевалили уже дюны и наконец остановились на самом берегу...

- Теперь саллы строить! - засуетился Таук.

- Верхом переплывем, может, ваше благородие?

Это было первое слово солдата... Всю дорогу он не проронил ни звука.

- Господи, что же это? - простонал Кутаев. - Ты? - он назвал меня по имени. - Я твой голос узнал... Какое чудо!..

- После, после! - успокоил я его. - Можешь теперь стоять на ногах, можешь двигаться?.. Помогай нам... После все узнаешь!..

Тем временем Иван с Тауком резали камыш и вязали в пучки...

- Эй вы там, расседывайте коней, снимайте вьюки! - повелительно обратился к нам горбун.

- Ты, что же это, леший, на господ кричишь, - нешто можно?! - по-русски упрекнул его Иван, надсаживаясь над громадной охапкою.

- Только бы джул-барс не пришел... Придет джул-барс, беда будет! - опять забеспокоился Таук.

Но джул-барс не пришел, и в час времени саллы было сложено. Связали мы коней цепочкою, уздами к хвосту, Таук сел на переднюю, сложили багаж на плот, сами уселись и тронулись на ту сторону, но теперь нас сносило еще больше того раза: должно быть, плот сидел глубже. А рассвет все усиливался и усиливался... Мы были уже почти у берега, когда Таук испуганно вскрикнул...

Он замахал руками, говоря торопливо:

- Смотри, тюра, смотри туда... Вот беда будет... Светло станет, пропадем... Смотри!..

Я взглянул по указанному направлению и заметил в тумане несколько темных точек, быстро приближавшихся к месту нашей высадки.

- Юсбаши со своими сарбазами! - вскрикнул Таук.

- Что же, нас теперь четверо, пусть сунется! - ободрил я своего верного слугу.

Но все-таки серьезное беспокойство закралось и в мою душу. Мы уже уцепились за крутизну берега, задержали саллы и торопливо стали сбрасывать груз на твердое место. Таук уже выбрался на сушу, бросив лошадей на произвол судьбы, - большая, непростительная оплошность: свободные кони заметили тоже приближающихся всадников и наострили уши... Иван бросился было к ним и только что ухватился за узду передней лошади, как громадное полосатое тело с страшным ревом выскочило из чащи и надело на заднего аргмака. Тот рухнулся на землю, жалобно застонав, и задрыгал ногами... Таук припал ничком и стал творить молитвы...

- Не стреляйте, ваше благородие, этот не страшен!.. Вот уже поволок коня в кусты, нас не тронет... берегите патроны... Берегись!..

Пуля с унылым визгом пролетела над моею головою... Из тумана ясно выдвинулась конная фигура, стремительно несшаяся прямо на нашу группу. Я прицелился наверняка, шагов на пятьдесят, не более, и выстрелил... Всадник взмахнул в воздухе обеими руками и повалился с седла.

Еще слышались выстрелы, еще показался близко конный сарбаз. Светло было настолько, что ясно можно было рассмотреть красный цвет его халата. Я приготовил револьвер и ждал его вплотную. Мою винтовку заряжать было некогда.

Наскочивший сарбаз, видимо, не ожидал такого большого общества. Ему, может быть, показалось число врагов большим, чем есть на самом деле. Он пригнулся к седлу, выругался и круто повернул назад... Я понимал необходимость беречь патроны и не стрелял ему вслед... Убегающий стал что-то кричать своим, отставшим...

- Их только трое... не посмеют! - заметил Иван. - Куда же теперь дальше?

Выстрелы вывели моего Таука из оцепенения, в котором он находился все время по милости уже забытого джул-барса. Одна только лошадь осталась в нашем распоряжении, - другая сорвалась и куда-то исчезла... Мы наскоро навьючили ее коржумами, добытыми Тауком... Кутаев уже мог идти сам, и мы стали забираться в самую глубь густых зарослей, по направлению к предгорьям.

К нашему счастью, эти заросли все сгущались и сгущались, и к полному свету, за полчаса до восхода солнца, мы были у подножья первого ската.

Теперь вся забота была в том, чтобы убедиться, продолжается ли преследование, и если да, то какие принять меры. Как только мы вышли из джунглей, Таук вошел в свою роль... Боязнь тигров сменилась прежнею находчивостью и умением пользоваться всеми обстоятельствами.

Он первый всполз на утес и стал осматриваться...

- Один ускакал! - докладывал он со своего обсервационного пункта. - Двое далеко стоят, - чуть видно... Они убитого поднимают... Их только и было всего четверо...

Первый подъем был не крут. Можно было воспользоваться ложем вымерзшего потока. Кутаева все-таки пришлось посадить на коня, а тот тяжело поводил боками и спотыкался под двойною ношею.

Мы еще сделали один подъем, свернули направо и часа через четыре выбрались на знакомую Тауку кабанью тропу, по которой мы спускались с гор на первую нашу переправу.

Здесь мы решили сделать маленький привал, заняв уступ, спускающийся в сторону долины отвесною стеною... По карнизу этого уступа высокою грядою накопились валуны, отлично нас прикрывавшие. Конечно, мы оставили за собою весьма заметный след; по этому следу могла безошибочно направиться погоня, но мы понимали, что надо много времени, чтобы эту погоню организовать.

Пожар произвел в ауле панику... Он еще даже не утих... Отсюда очень далеко, а все-таки виден дым пожарища. Два сарбаза убиты мною, участь третьего неизвестна. Военные лошади уведены, пленника нет. Пока соберут частных людей, да и соберут ли еще охотников гоняться за проклятыми, а главное, опасными урусами?! О нас, то есть о двух нищих бродягах, никто и не спохватится, разве хозяин видел мое участие в побеге и выручке пленника, да до того ль ему

было... Нет, из кишлака погони ждать пока не следует, а вот тот сарбаз, что ускакал после перестрелки, тот представляет опасность, довольно солидную... Он всполюшит отряд юсбаши, и тогда дело станет значительно серьезнее. Но пока он доскачет до места бивуака, это верст тридцать отсюда, если не более, да юсбаши со своими придет сюда на наш след, - пройдет не менее суток, время, с лишком достаточное для того, чтобы мы далеко ушли в горы к нашей неприкосновенной пещере, куда ведут только *дороги Божьи*.

Удача придает смелости, доходящей даже до нахальства. Таук на этом привале решил варить чай и жарить мясо. Он уверял меня настойчиво, что Кутаеву надо хорошенько подкрепиться...

- Увидишь, - сдохнет, если кормить его плохо... Пускай жрет... Ушел, хорошо, от смерти, пускай теперь лопает...

И мы все, действительно, очень усердно принялись за подкрепление своих сил перед тяжелою многотрудною дорогою.

- Не ждал... не ждал... Все уже счета с жизнью покончил! - бормотал Кутаев, запихивая в рот мясо большими кусками.

- Хорошо, хорошо! - ласково гладил его Таук по спине.

- И как же вы, ваше благородие, сами сюда попали и в каком таком виде?! Ах, ты, Господи!.. - суетился Иван, быстро входя в роль настоящего, бывалого вестового при господах офицерах.

Однако времени все-таки терять нечего, - поели, и в путь.

Подниматься гораздо труднее и медленнее, чем спускаться... То пространство, что мы несколько дней тому назад сделали в одну ночь, - теперь не одолеешь и в двое суток.

Первую вольную ночь мы провели, не доходя и половины пути до нашей пещеры.

XI. Возвращение

На втором переходе наш аргамак окончательно выбился из сил и отказался от дальнейшей службы. Нежный сын степей и равнин не вынес бескормицы и трудностей горного похода; он остановился, зашатался и слег.

Мы его бросили, разобрав вьюки на свои собственные плечи; здоровый силач Иван принял на себя добрую половину. Весь день шли мы, одолевая кажущиеся с первого взгляда непреодолимыми препятствия, и все-таки стали опять на ночлег, не решившись рисковать на последний подъем к карнизу пещеры. Таука очень интересовала участь оставленных нами лошадей, и он пустился в путь один, обещая встретить нас завтра утром... Он ушел, как я его ни уговаривал подождать утра и идти всем вместе.

- Да ведь ты, тюра, теперь сам знаешь дорогу... Вот сейчас, как обогнете тот трехголовый камень, - там мягко, и следы наши, я думаю, еще видны, - так прямо наверх, а дальше будет все лед поперек лежать; где треснуло, - оттуда подальше держи, а потом опять твердо пойдет, а я сам там буду и голос подам... Ты ведь знаешь?..

Пришлось отпустить Таука.

Ночью мы спали крепко, дерзко разложив большой огонь, а то, действительно, в нашей рваной одежде можно было замерзнуть. Иван взялся постеречь и поддерживать костер.

Благополучно дождались утра, быстро собрались в путь, нашли и трехголовой камень, и отрог ледника, переход по которому оказался гораздо опаснее, чем я предполагал, - и едва сделали с десяток шагов по твердому месту, как ясно услышали веселый призыв нашего доброго гения Таука, крохотной точкою видневшегося на краю карниза.

Часа через два были *дома*. В пещере горел уже костер, и обе лошади стояли тут же, приветствуя нас веселым ржанием. Хорошо было у всех на душе, и о предстоящих лишениях будущего похода, похода по совершенно неведомым горным пустыням, зимою, в самый разгар снежных мятелей, мы и не думали.

Здесь мы решили сделать дневку, отдохнуть как следует и привести в порядок путевые запасы: узнать, не больно ли мы роскошничали в течение истекших двух суток.

Да, мы немножко перехватили: у нас осталось около двух пудов лепешек, пуд сырой баранины, мешок, около фунта, чаю и мешок пшеничной муки пуда в два, если не больше.

- А у нас еще мясо есть и мешок рису! - заметил Таук.

- Где?

- А там, в мазарке, помнишь, под святого зарыли... Сходить, что ли... или, может быть, ты, тюра, за ним сбегашь?

Сказал и сам расхохотался, довольный вполне своею шуткою.

- А мы-то думали, - продолжал он, - чего-чего не наворуюем! Всю зиму думали жить в ауле да воровать, а потом все сюда бы перетащили и зажили бы совсем как горные беки... Чем мы их хуже!..

Справился я по своим заметкам и стал соображать наивыгоднейшее направление к отступлению. Кутаев предполагал, что лучше идти на Сон-Нор, - озеро такое есть, на запад отсюда, в горах. Там, мол, можно будет у местных немногочисленных, а потому совершенно мирных инородцев застись и провизией, и сведениями. Таук говорил, что надо идти к большому озеру Иссык-Кулю на северо-запад, что он знает немного туда дорогу, даже отсюда найти ее может, и что там есть речка Кара-Годжур, а по ней мы дойдем до другой реки побольше - Кочкур, а дальше не знает, но думает, что до урусов уже немного останется, потому что покойный Аблай на Кочкуре часто краденых лошадей откармливал на подножном корму и потом уже водил их к урусам, в Токмак, на продажу... Поведет - продаст, а через шесть дней назад пригонит других, - тех, что у урусов накрадет... А его, Таука, он к урусам не брал, и потому Таук урусов только нас троих в первый раз видит, и очень этими урусамы много доволен.

- Ну и спасибо на добром слове!

- Только вот что, - добавил он, понизив несколько тон, - ведь урусы Аблая повесили за то, что коней воровал и разбойничал, а что же Тауку будет, когда узнают, что он тоже из Аблаевой шайки?!

Наперерыв мы все трое принялись успокаивать его насчет его будущей участи, а солдат Иван уверял, что медаль ему повесят золотую, на Георгиевской ленте, халатов цветных надарят, видимо-невидимо, и денег отсыпят столько, что и коней воровать не надо больше будет.

Насчет медали Таук ничего не понял, а к другим посулам остался довольно равнодушен, он только долго и пытливо старался уловить взгляд моих глаз, а так как я сам догадался наконец помочь ему в этом, - то мой карлик весело рассмеялся и порешил:

- Нет, вот что: мне Иван говорил ночью, что ты большой тюра... Ты возьми меня в старшие и почетные джигиты... Возьмешь, не прогонишь?..

Я поклялся ему Аллахом, что, если сам он не захочет уйти, оставлю при себе хоть на всю жизнь, и мой горбун, совершенно довольный и успокоенный, принялся за приготовление к отъезду.

Выступили мы рано утром, когда уже совершенно рассвело. Впереди Таук, как знающий дорогу, за ним Иван с вьючными лошадьми, а сзади, в виде арьергарда, мы с Кутаевым... Патронов было у нас достаточно, и кроме опасностей, представляемых самую суровую горною природою, никаких других не предвиделось более.

Однако, и знакомая Тауку дорога, если можно назвать дорогою то, почему мы шли, прокладывая след впервые!.. Это все сплошь тянулась дорога Божья, и мы по ней подвигались верст по 5-6 в целый день, если еще не менее. На седьмые только сутки, почти окончательно выбившись из сил, мы перевалили главный гребень отрога и стали спускаться в долину, правильнее, лощину Кара-Годжура... Узкая горная речка, замерзшая только у берегов, стремительно неслась по острым камням частых обвалов, образовав довольно большое кишашее пеною озеро там, где недавний, должно быть, скатный обвал временно перегородил ей дорогу... Надо было, спустившись с гор, переправиться ниже этой ненадежной плотины - выше ее было невозможно, - и надо было совершать такую переправу под страхом ежеминутного прорыва плотины...

На переправу мы рискнули только на другой день по прибытии в долину. Утомлены мы были окончательно, хоть ложись да помирай, да и припасы наши стали подходить к концу. Таук уверяет, что в этих местах попадаются горные бараны, а дальше, по Кочкуру, есть и свиньи в прибрежной заросли... только кто же будет есть эту погань?.. "Вы, говорят, урусы, это жрете, а нам на то закону не положено"!

Каждый день варили мы горячую пищу: разбалтывали горсть муки в снеговой воде, крошили туда же одну лепешку и пробавлялись этим незатейливым супом. Но кто пострадал более людей, это наши лошади: от сытых и бодрых горцев остались одни еле двигающиеся скелеты.

Буланый совсем захирел, и я думал, что нам с ним придется расстаться навеки. Таук, однако, говорит, что бросать не надо, - а что по Кочкуру пойдет много хорошего конского корма, и там лошади поправятся живо.

- Ведь Аблай поправлял же своих, а гнал табун этою же дорогою!

Ходили осмотреть плотину... Местами внизу вода проложила себе ходы и вырывалась с ревом, ворочая громадные камни, расшвыривая эти громады по берегам... Казалось нам, что завал еще продержится...

На косогоре, да еще с подветренной стороны, долго мешкать было неудобно. Необходимо переправляться...

Выбрали место поудобнее и помельче и перебрались вброд... Бог помог...

Намокшая одежда намерзла и стояла колом... Опять костер, опять остановка... но странно, едва только мы очутились на той стороне Кара-Годжура, стало теплее: таково влияние горных заслонов с севера. Уже тут мы нашли весьма порядочное пастбище; трава была хотя прошлогодняя, но все-таки этой буроватой, сухой растительности достаточно выбивалось из-под неглубокого снега. На откосе ближайшей горы я заметил даже стаю горных куропадок-кеклуков, для нас соблазнительных, но недосыгаемых, не бить же их пулями из винтовки или револьверов?.. А дробовика с нами не было.

Дня через два мы добрались и до Кочкура... Здесь уже был сравнительный рай... Шли мы все по берегу, против течения. Дорога была почти ровная. Нам только изредка приходилось обходить стороною, горами, те места, где вода плотно прижималась к береговым утесам, перегораживая нам путь.

Таук сообщает, что скоро придем совсем к бывшим Аблаевым стоянкам, а дальше он дороги не знает.

Но мы сами сообразили уже, в чем дело. Я отчетливо видел на той стороне Кочкура знакомые мне очертания хребта и узнал типичное седло перевала Шамси... За этим перевалом мы уже дома. Там наша сторона - долина Токмака... Токмак уже год как занят нашими войсками, - он на боевом пути нашего наступления, через Кастек, из Верного, на Мерке и Аулиэ-Ата.

Я сообщил свое открытие товарищам. Все пришли в восторг, в какую-то детскую, живую радость. Только Таук стал задумываться... Он как будто чувствовал, что его роль доброго гения сама собою кончается...

Я удвоил свои ласки относительно моего преданного горбуна, и тот немного успокоился...

На половине перевала мы нашли маленькую стоянку калмыков, - три семьи с небольшим стадом коз, - и этой группе рваных, жалких, прокопченных дымом, вонючих и полных паразитами кибиток обрадовались, как роскошной столице... Это было все-таки человеческое жилье, и населяющие его были все-таки люди.

С трудом успокоили мы перепуганных нашим неожиданным появлением дикарей и добыли у них козу на жаркое.

Лукулловское пиршество!..

До верхней точки перевала Шамси можно добраться в один только переход. С той стороны я поднимался и дорогу знаю теперь отлично. Мы отлично устроились на ночлег, нам очистили одну из кибиток. К утру меня разбудил Таук тревожным криком:

- Тюра... беда!.. Сарбазы!

- Откуда?.. Не может быть... Неужели гнались за нами по следу?

Все трое мы вскочили и выбежали из кибитки, К нам рысью, действительно, приближался небольшой отряд всадников, и приближался со стороны перевала. Это были действительно сарбазы, только для нас неопасные, наши. Это были оренбургские казаки из Токмака, гнавшиеся по следу за какой-то, Бог весть куда исчезнувшей, воровскою шайкою.

Наша опасная и многострадальная одиссея наконец окончилась.